

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

6

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Е.В. Падучева (Москва). Лексическая аспектуальность и классификация предикатов по Маслову – Вендлеру	3
А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский (Москва). Принципы семантического описания фразеологии	21
К.И. Поздняков (Париж). О природе и функциях неморфемных знаков	35
Т.Б. Агранат (Москва). Дискурсивные маркеры в водском языке.....	65
А.Л. Шилов (Москва). Субстратная топонимия Русского Севера в свете работ А.К. Матвеева	76

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

О.И. Завьялова (Москва). Китайские диалекты и современное языкознание в КНР	102
---	-----

Рецензии

В.А. Плунгян (Москва). <i>Reciprocal constructions</i>	109
А.М. Белов (Москва). <i>J. Clackson, G. Horrocks. The Blackwell history of the Latin language</i>	114
С.А. Бурлак, И.Б. Иткин (Москва). <i>T. Nessel. Abstract phonology in a concrete model: Stem alternations in Russian verbs and cognitive grammar</i>	119
Т.Н. Молошная (Москва). <i>O. Mladenova. Definiteness in Bulgarian: modelling the processes of language change</i>	123
В.А. Виноградов, К.Я. Сигал (Москва). <i>Е.И. Диброва. Избранные работы по русскому языку</i>	127
Е.А. Парина (Москва). <i>A. Falileyev. Welsh Walter of Henley; Le Vieux-Gallois</i>	130
Д.А. Эршлер (Москва). <i>G. Aygen. Kurmanji Kurdish</i>	134

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

Е.А. Парина (Москва). III Международный colloquium общества Celto-Slavica	138
В.С. Степанова (Москва). Международная конференция «Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры»	140
А.Н. Куклин (Йошкар-Ола). XI Международная научная конференция «Ономастика Поволжья»	142
С.Х. Шихалиева (Махачкала). Международная научная конференция «Кавказские языки: генетические, типологические и ареальные связи»	144
С.Н. Борунова, О.Е. Кармакова (Москва). Сидоровские чтения	146
П.М. Аркадьев (Москва). Международная конференция по формальному описанию славянских языков	148
Н.Н. Занегиная, Ю.С. Капитанова (Москва). Виноградовские чтения 2009 г.	151
Т.Г. Скребцова (Санкт-Петербург). Конференция «История когнитивной лингвистики»	153
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 2009 г.	156

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева (главный редактор), В.А. Плунгян (отв. секретарь), Е.В. Рахилина

Зав. отделами: *Н.В. Вострикова, О.А. Казеннова, М.М. Маковский, Г.В. Строкова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

© Российская академия наук, 2009 г.
© Редколлегия журнала «Вопросы языкознания» (составитель), 2009 г.

© 2009 г. Е.В. ПАДУЧЕВА

ЛЕКСИЧЕСКАЯ АСПЕКТУАЛЬНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДИКАТОВ ПО МАСЛОВУ – ВЕНДЛЕРУ*

Классификация русских глаголов, предложенная в статье [Маслов 1948], обнаруживает принципиальное сходство с известной семантической классификацией английских глаголов, предложенной З. Вендлером. Возросшее внимание к этим классификациям поставило на новую ступень изучение лексической аспектуальности, в ее противопоставлении грамматической. Существенно, что сопоставление классификаций Ю.С. Маслова и З. Вендлера возможно лишь при условии, что совершенный и несовершенный вид глагола в русском языке рассматриваются как формы одного слова.

1. ЛЕКСИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ И ВИДОВАЯ ПАРНОСТЬ

Странным образом, в русской аспектологии до сих пор не делалось попыток сравнить две «великие» лексико-семантические классификации глаголов – классификацию З. Вендлера [Vendler 1967] и классификацию Ю.С. Маслова [Маслов 1948]. (Лишь одно частное сходжение – между *achievements* Вендлера и двумя классами русских моментальных глаголов, описанных Масловым, – выявлено в [Апресян 1988].) Между тем эти классификации обнаруживают чрезвычайную близость. Наша работа имеет целью показать, что можно прямо наложить классификацию Маслова, предназначенную для русского языка и откровенно аспектуально ориентированную, на классификацию Вендлера, которая разрабатывалась вне связи с аспектуальной проблематикой славянских языков, и что возможность соединить эти две классификации повышает значимость каждой из них.

В классической статье [Маслов 1948] были выявлены глубинные связи грамматической семантики русского вида с лексической семантикой глагола. Глаголы были разделены, по формальному признаку, на следующие три разряда:

- I. Непарные глаголы несов. вида;
- II. Непарные глаголы сов. вида;
- III. Глаголы, которые входят в видовые пары.

Ю.С. Маслов показал, что принадлежность глагола к тому или иному из этих грамматически охарактеризованных разрядов предопределена его лексической семантикой. Установление этого факта лишь много позднее было осознано в аспектологии как открытие.

Классификация Ю.С. Маслова существенно опирается на понятие видовой пары. И в той же статье Ю.С. Маслов дает определение понятию видовой пары – без него, естественно, деление глаголов на разряды повисло бы в воздухе. Глаголы СВ и НСВ образуют видовую пару, если НСВ может «заменять» СВ в контексте наст. исторического и в контексте многократности¹. Так, *чувствовать* – *почувствовать* – пара: *Я каждый*

* Работа финансировалась грантом РГНФ, проект № 08-04-00181а.

¹ В число лингвистических контекстов, где парность играет роль, можно добавить отрицание, но тут автоматизмы мены видов не столь просты (см. об этом [Падучева 2008]); в число внешних контекстов входит еще контекст сценических ремарок.

раз это чувствую – и сейчас почувствовал. А любить – полюбить такого контекста не выдерживают и парой не являются, ср. [Зализняк Анна, Шмелев 2000: 49]. Не соответствуют критерию Маслова пары *явиться* – *являться* или *счесть* – *считать*. Так, (1в) не является результатом перевода (1а) в настоящее историческое, поскольку НСВ *являться* не составляет пары к *явиться*. Между тем приблизительный синоним *оказаться* дает такую возможность, поскольку *оказаться* – *оказываться* все-таки составляют пару, см. (1б):

- (1) а. Присутствие посторонних *явилось* для него полной неожиданностью, и он *ушел*;
 б. Присутствие посторонних *оказывается* для него полной неожиданностью, и он *уходит*;
 в. Присутствие посторонних *является* для него полной неожиданностью, и он *уходит*.

Аналогично, в примере (2) нельзя перейти в режим наст. исторического, поскольку НСВ *считать* не пара для *счесть* – хотя синоним *решить* позволяет это сделать:

- (2) а. Он посмотрел на меня, *счел*, что я недостойн его внимания и *отвернулся*;
 б. Он *смотрит* на меня, *решает*, что я недостойн его внимания и *отворачивается*.

Определение Маслова – это, на сегодняшний день, единственная прочная основа осмысленности отделения парных глаголов от непарных: единственное общее свойство всех парных глаголов НСВ – это способность иметь событийное значение в контексте «исторического» значения наст. времени (*выходит* Петр, <его глаза сияют> = ‘вышел Петр, <его глаза сияли>’) и в контексте многократности, когда НСВ обозначает повторение ситуации, обозначенной соответствующим глаголом СВ. Эти общие видовые значения всех парных (по Маслову) глаголов НСВ были названы тривиальными. Пары, в которых форма НСВ способна иметь значение события (или многократного события), обозначаемого формой СВ, можно назвать функциональными – поскольку они играют роль в грамматическом функционировании языковых форм, см. [Гак 1996]. Пары морфологически соотнесенных глаголов СВ и НСВ, которые не соответствуют критерию Маслова (такие как *явиться* – *являться* в (1) или *счесть* – *считать* в (2)), не функциональные.

В аспектологии разных языков широко используется классификация Вендлера, [Vendler 1967], первоначально предназначенная для английских глаголов. Возможности применения классификации Вендлера к русскому материалу были убедительно продемонстрированы в [Mehlig 1981] и [Булыгина 1982].

Вендлер выделил четыре (основных) класса глаголов; я сохраняю их английские названия – общепринятых русских названий для вендлеровских классов так и не сформировалось (и дальше будет ясно почему): класс 1 – *states* (стативы), класс 2 – *activities* (деятельности), класс 3 – *accomplishments* (совершения), класс 4 – *achievements* (достижения). Классы Вендлера выделены на базе сочетаемости, см. Табл. 1.

Таблица 1

Классы Вендлера применительно к английскому глаголу

	Прогрессив	Обстоятельство длительности	Обстоятельство срока завершения
Стативы	–	+	–
Деятельности	+	+	–
Совершения	+	+	+
Достижения	–	–	(+)

Отсутствие формы прогрессива отделяет states и achievements от activities и accomplishments:

- (3) a. It was *boiling* [activity]; I was *writing* a letter [accomplishment];
b. *It was *existing* [state]; *I was *finding* a book [achievement].

Сочетаемость с обстоятельством длительности (типа *for two hours*) разделяет states и achievements:

- (4) a. It *existed* for two hours [state];
b. *I *found* it for two hours [achievement].

Сочетаемость с обстоятельством срока завершения (типа *in two hours*) отделяет accomplishments от activities:

- (5) a. I wrote a letter *in two hours* [accomplishment];
b. *I walked *in two hours* [activity].

Для русского языка сочетаемостные тесты еще проще. Главное различие – между states и activities, с одной стороны, и accomplishments и achievements – с другой. А именно, accomplishments и achievements, в принципе, сочетаются, в форме СВ, с обстоятельством срока завершения (achievements хуже, чем accomplishments, но важно, что и для тех и для других ситуаций осмысленно говорить об их завершенности). А states и activities не сочетаются с обстоятельством срока завершения. Далее, между действиями и стативами различие по допустимости значения актуальной длительности (т. е. прогрессива), и тот же параметр отличает свершения от достижений: они различаются по допустимости употребления несовершенного вида в значении актуальной длительности, которое требует синхронной точки зрения на ситуацию.

Таблица 2

Классы Вендлера в русском языке

	Прогрессив	Обстоятельство длительности	Обстоятельство срока завершения
Стативы	–	+	–
Деятельности	+	+	–
Свершения	+(в форме НСВ)	+(в форме НСВ)	+(в форме СВ)
Достижения	–	–	(+) (в форме СВ)

Тест на обстоятельство длительности оказывается в русском языке избыточным, поскольку почти дублирует тест на допустимость значения прогрессива у формы НСВ:

Таблица 3 (сокращенная)

Классы Вендлера в русском языке

	Прогрессив	Обстоятельство срока завершения
Стативы	–	–
Деятельности	–	–
Свершения	+	+
Достижения	–	(+)

Производный НСВ глагола accomplishment принадлежит тоже к классу accomplishments. А производный НСВ глагола achievement – это либо статив (т.е. со-

стояние, как в *мы опаздываем*), либо тенденция (как в *он выигрывает*), либо что-то еще, см. [Падучева 1996: 110–121].

Классификация Вендлера подвергалась многочисленным усовершенствованиям, см. сводку в [Tatevosov 2002]. Близкие, но не полностью совпадающие четыре класса глаголов предлагаются в [Wierzbicka 1980: 181] – states, changes, actions, events.

Вендлер строил классификацию на базе сочетаемости и не предполагал давать семантические обоснования своим классам, т. е. выявлять сходства в структуре лексического значения глаголов одного класса. В [Dowty 1979], в ходе семантической экспликации вендлеровских классов, классы 2–4 были разделены на два по признаку агентивности (приблизительно то же сделано в [Падучева 1996: 107]).

Поначалу использование вендлеровской классификации в русской аспектологии было затруднено тем, что в тот или иной класс Вендлера попадал не глагол как целое (хотя в принципе глагол – это пара форм: СВ и НСВ), а видовые формы по отдельности. Сам Вендлер классифицировал глагол как таковой (а не формы прогрессива или перфекта). Между тем, скажем, в [Wierzbicka 1980] глагол в форме прогрессива, пример (6), отнесен к классу changes, а тот же глагол в Simple Past, как в (7), – к классу events:

- (6) The sauce *was thickening* ‘густел’ [change];
- (7) The sauce *thickened* ‘загустел’ [event].

Обращаясь к русскому языку, мы охотно признаем, что *построить* <дом>, *нарисовать* <кружочек> – это accomplishments; но атрибуция форм имперфектива – таких как *строить* <дом> и *рисовать* <кружочек> – ставит в тупик. В самом деле, классификация Вендлера базируется на сочетаемости, а сочетаемость у формы НСВ глагола *рисовать* такая, как у деятельности, activities (*рисовал* <картину> *два часа*, т. е. *в течение двух часов*, как *гулял два часа*), а не такая, как у совершений, accomplishments (*нарисовал за два часа*). Дело в том, однако, что Вендлер, хотя и учитывал наличие у глагола формы Progressive, но классифицировал глагол, а не его формы. Глагол *to draw* <a circle> проходит по всем тестам Вендлера как accomplishment, поскольку может сочетаться с обстоятельством срока завершения (*drew a circle in a moment*) в своей основной видовой форме.

Сопоставление вендлеровской классификации с масловской возможно только при условии, что русский глагол рассматривается как целое, в обеих своих формах (при этом одна видовая форма рассматривается как основная для глагола и представляющая глагол как таковой, см. [Падучева 1996: 106]). В самом деле, Маслов относил глагол к тому или иному классу именно на основе семантического соотношения между двумя его видовыми формами. Итак, сопоставление двух классификаций возможно при условии, что русский глагол рассматривается как совокупность двух видовых форм (или по крайней мере как видовая пара).

Одно из замечательных открытий в статье [Маслов 1948] – глаголы типа *приходить*, *находить* (сюда же относится *случаться*), у которых несоев. вид не имеет значения ‘длящегося действия’, т. е. актуально-длительного значения, или прогрессива. Как пишет Маслов, глаголы типа *прийти*, в отличие от глаголов типа *открыть*, не поддаются «процессуализации»: их парный НСВ имеет только тривиальные значения.

Принимая во внимание этот факт (т. е. то, что глагол НСВ, парный к СВ, может иметь из всех значений НСВ только тривиальные, плюс, возможно, те, которые основаны на тривиальных), можно, не искажая основной идеи Маслова, разделить русские глаголы не на три класса, а на два, объединив масловские разряды II и III в один². Получаем следующие два М-класса (класса по Маслову).

М-класс I – глаголы, для которых, в силу их лексического значения, семантически исходным является несовершенный вид.

² Сам Ю.С. Маслов заключает свою статью словами: «грань между третьей группой парных глаголов [т. е. глаголами типа *приходить*. – Е.П.] и вторым разрядом непарных оказывается скорее морфологической, чем семантической» [Маслов 1948: 316].

М-класс II – глаголы, у которых исходный вид совершенный – несважно, есть у них парный несов. вид, или нет.

В самом деле, у непарных глаголов НСВ их непарность действительно обусловлена семантически: у глагола *существовать* и ему подобных внутренняя беспредельность – отсутствие временных ограничений на развитие ситуации. Они, по Маслову, «не дают никакой перспективы, кроме перспективы бесконечной себестождественной длительности». Говоря, опять-таки, словами Маслова, эти глаголы описывают ситуацию, которая «объективно не включает в себе возможности [скорее, может быть, необходимости. – Е.П.] своего прекращения».

Между тем, что касается непарных глаголов СВ (которые составляют подкласс в классе II), то нельзя сказать, что их непарность обусловлена семантически. Всякий глагол в форме СВ выражает изменение, и, следовательно, любой глагол СВ, в принципе, т. е. исходя из семантики, может иметь соответствующий ему имперфектив со значением многократного повторения этого изменения (например, *находить* вполне может значить ‘многократно найти’). Так что форма НСВ для глагола СВ не должна быть невозможна по семантическим причинам. У многих из приводимых Масловым непарных глаголов СВ отсутствие НСВ объясняется морфологическими затруднениями (*встрепетываться*); у многих формы несов. вида вообще допустимы в разговорной речи или в диалектах: *ринуться* – *ринаться*, *очнуться* – *очинаться*, *опомниться* – *опоминаться*; много примеров таких окказиональных НСВ приводится в [Mikaelian, Shmelev, Anna Zalizniak 2008]. Глагол *поскользнуться* попал в список Маслова по ошибке: *поскальзываться* просто нормально.

Есть, правда, подкласс непарных глаголов СВ, у которых непарность обусловлена грамматической семантикой. Это глаголы, у которых в семантику словообразовательной формулы входит значение сингулярности: **семельфактивы**. «Обратное словообразование» дает для СВ семельфактивного обычный НСВ³, но здесь возможны два варианта:

- 1) глагол НСВ может иметь значение многократного повторения события, обозначенного глаголом СВ (обычно это приставочные глаголы): *вздоргнуть* – *вздрагивать*;
- 2) глагол НСВ обозначает многоактную деятельность (как *махать* от *махнуть*) или просто деятельность (как *дуть* от *дунуть*, *кричать* от *крикнуть*), а СВ на -ну- – отдельный акт или даже некий квант этой деятельности.

В этом втором случае глагол НСВ считается непарным (такое решение принято в словаре [Зализняк 2003: 136]) – и тот же ответ дает критерий Маслова⁴.

Итак, классификация Маслова позволяет провести принципиальное деление между глаголами, для которых исходным является несовершенный вид (это стативы и деятельности), и такими, для которых исходный вид совершенный (это совершения и достижения). Непарные глаголы СВ (разряд II) с семантической точки зрения входят в один ряд с глаголами типа *приходить*, у которых парный НСВ есть, но имеет только тривиальные значения (подкласс масловского разряда III). Получаем два М-класса:

М-класс I – исходные имперфективы, с семантикой неизменности, которая предсказывает отсутствие парного СВ.

М-класс II – исходные перфективы, с семантикой происшедшего изменения. Парный НСВ может а) отсутствовать; б) иметь только тривиальные значения; в) иметь, помимо тривиальных, также и нетривиальные (сингулярные) значения, в том числе – актуально-длительное.

Сомнения относительно принадлежности глагола к М-классу I или II могут возникать в случае стативов, поскольку различающий их критерий лексико-грамматический, а не чисто семантический. Так, *понимать* – *понять* – это видовая пара, и глагол НСВ

³ Обратное словообразование здесь понимается условно, поскольку СВ-семельфактив и морфологически соответствующий НСВ часто образованы не одно от другого, а оба от чего-то третьего.

⁴ У многих других способов действия тоже нет НСВ, который мог бы употребляться в значении многократного осуществления ситуации, обозначенной СВ. NB псевдо-видовую пару делимитатива *погулять* – *гулять*.

Классификация глаголов по Вендлеру – Маслову (с добавлением агентивности)

Классы Вендлера	Деление вендлеровских классов на подклассы по признаку агентивности	
1. States	1) стативы , в том числе: – свойства и соотношения (<i>весить, существовать, зависеть</i>); – устойчивые состояния (<i>презирать</i>) – временные состояния (<i>бредить</i>)	несагентивные
2. Activities	2.1) деятельности , т.е. неопредельные действия (<i>гулять, беседовать, идти по берегу</i>), в том числе: – обобщенные деятельности , generic states (<i>руководить, питаться</i>) 2.2) несагентивные процессы неопредельные (<i>кипеть, гореть, расти, увеличиваться</i>)	агентивные несагентивные
3. Accomplishments	3.1) действия (т.е. деятельности, ограниченные внутренним пределом: <i>открыть, встать</i>), в том числе – с накоплением эффекта (<i>покрасить <крышу></i>) – конативы (<i>догнать, уговорить</i>) 3.2) несагентивные процессы предельные (<i>лед растаял, дед одряхлел, крепость разрушилась</i>), в том числе: – воздействия (<i>река разрушила набережную</i>) ⁵	агентивные несагентивные
4. Achievements	4.1) действия моментальные (= с акцентом на результате) (<i>выиграть, подумать, что</i>) 4.2) происшествия (= несагентивные моментальные изменения состояния) (<i>случиться</i>)	агентивные несагентивные

в этой паре производный, так что глагол *понять* (вместе с парным НСВ) относится к М-классу II. А *сомневаться – усомниться* не пара, поэтому глагол НСВ *сомневаться* должен быть признан исходным имперфективом и попасть в М-класс I. Возможные осложнения рассматриваются в разделе 3.

Теперь соотношение между М-классами и классами Вендлера (В-классами) становится абсолютно прозрачным, а именно.

Вендлеровским классам 1 states и 2 activities соответствует М-класс I, с семантически исходным несов. видом. Парного СВ нет – сов. вид у глаголов В-классов 1 и 2 может быть только тем или иным способом действия (для *говорить* это *поговорить, заговорить, договорить* и т. д.), т.е. это соотношение в рамках лексической деривации – словообразования.

В-классам 3 accomplishments и 4 achievements соответствует М-класс II, с семантически исходным сов. видом, обозначающим ситуацию, ограниченную в своем протекании во времени – терминативную (terminative, bounded).

В Таблице 4 все классы Вендлера, кроме стативов (всегда неагентивных), разделены на два по признаку агентивности. Теперь видно, что именно из-за того, что в В-классах accomplishments и achievements отсутствовало деление по агентивности, нельзя было найти разумных переводов этих терминов на русский язык. Следуя Вендлеру, пришлось бы называть, например, *умереть* (achievement) достижением, наряду с *выиграть*;

⁵ «Воздействия» (термин из [Апресян 2006]), т.е. каузативные процессы, отличаются от некаузативных процессов на строевой компонент «каузативность», см. о строевых компонентах [Падучева 2004а: 45].

а *выздоревть* относить к классу accomplishments, совершения, наряду с *нарисовать* <кружочек>. Единственный разумный русский перевод для accomplishments – ПРЕДЕЛЬНЫЕ глаголы, для achievements – МОМЕНТАЛЬНЫЕ. Но главное то, что только после введения параметра агентивность в классификации нашлось место для действий, которые у Вендлера были незамеченными подклассами двух разных классов – accomplishments и achievements.

Если применять термин «процесс» только к неагентивным процессам, то эпитет *неагентивный* при слове *процесс* можно опускать. Однако и Вендлер, и Маслов иногда используют слово процесс как обобщенное название для неагентивных процессов и деятельности, т.е. агентивных процессов⁶. Очевидно, приходится смириться с необходимостью употребления термина «процесс» в двух смыслах: процесс в узком смысле – это неагентивный процесс, процесс (непредельный) в широком смысле – это обобщающий термин для процессов и деятельности.

Вендлеровские (и пост-вендлеровские) классы называют акциональными, очевидно, от слова *action* – действие (в [Падучева 2004а] используется термин «таксономическая категория»). Несов. вид глагола действия – это, по определению, тоже действие, только в другом ракурсе: это «действие в развитии». Глагол действия в совершенном виде обозначает «действие в целом». Внутренняя форма термина «акциональный класс» основана на том, что действие является основным в системе классов, определяющих лексическую аспектуальность глагола.

Идея о том, что глаголы accomplishments в русском языке могут быть совершенного и несовершенного вида, была интересным образом развита в работе [Braginsky, Rothstein 2008], где показано, что эти две формы глагола совершения имеют общую сочетаемость – наречие *постепенно*, см. примеры из Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru).

- (1) ...которые все эти годы *постепенно восстанавливали* свою мощь [«Завтра», 2003.07.25]; Но при внимательном взгляде на ряды борцов этот праведный пыл *постепенно угасает* [«Завтра», 2003.07.25]; Взаимоотношения власти и крупного бизнеса *постепенно переходят* на контрактную основу [«Итоги», 2003.02.25].

Весьма показательно толкование, которое Вендлер дает прогрессиву глагола совершения (т. е. действию в развитии), в противоположность прогрессиву глагола деятельности.

Для деятельности: *A was running at time t* означает, что момент *t* принадлежит неопределенному временному отрезку, на протяжении которого *A бежал* [НСВ].

Для совершений: *A was drawing a circle at time t* означает, что момент *t* принадлежит тому временному отрезку, за который *A нарисовал / нарисует* [СВ] кружочек.

Интересно, что пренебрежение агентивностью в классификациях Вендлера и Маслова одинаковое. Между тем, +/- агентивность не только важна для толкования глагола, но и имеет непосредственную аспектуальную значимость. Взять, например, глагол *окружать*. В (8а) он агентивный, и обозначает событие; в (8б) – неагентивный, и обозначает состояние:

- (8) а. Мальчик показывает белогвардейцам фокусы, и, пока те смотрят его выступление, красные *окружают* станцию и потом занимают ее [пример из Корпуса];
б. Дачу *окружают* леса.

Глагол *размышлять*, типичный глагол деятельности, см. [Маслов 1948], отнесен в [Апресян 2006] к глаголам действия; между тем действием, по определению, является глагол, который входит в видовую пару или, как минимум, имеет форму СВ.

⁶ Так, про глаголы типа *искать* говорится, что они «обозначают процессы, сознательно направляемые действующим лицом к достижению цели и длящиеся до тех пор, пока она не достигнута» [Маслов 1948: 309]. Заметим, что это толкование годится только для предельных глаголов; для моментальных, таких как *выстрелить*, деятельность (прицеливание и нажатие курка) заканчивается раньше достижения цели (попадания в мишень).

Итак, что же дает нам акциональная классификация глаголов по Маслову – Вендлеру?

1. Получает семантическое объяснение непарность глаголов *imperfectiva tantum* – это глаголы классов *state* и *activity*, которые в (единственно возможной для них) форме НСВ выражают ситуацию неизменности.

2. Предсказываются границы возможной процессуализации глаголов, которые в своем исходном значении являются перфективами. Иначе говоря, объясняется возможность понимания производного имперфектива глагола СВ в значении актуально длящегося процесса или деятельности. У Маслова эта возможность отличает предельные глаголы СВ от моментальных; в терминах Вендлера это различие между *accomplishments* и *achievements*.

Установив сходство на уровне двух самых крупных делений, мы можем теперь рассмотреть различия. В самом деле, в классификации Маслова в каждом из крупных классов различается много мелких подклассов.

Маслов выделяет среди предельных глаголов конативы, т. е. глаголы, у которых НСВ и СВ различаются как попытка – успех; иначе говоря, конативы – это глаголы с пресуппозицией попытки (типа *добиваться* – *добиться*, *догонять* – *догнать*); они противопоставляются глаголам постепенного накопления эффекта (типа *красить* – *по-красить*); ср. развитие этой идеи в [Апресян 1980; Гловинская 1982]. У Вендлера такого подкласса нет.

В то же время и Маслов, и Вендлер выделяют в отдельный подкласс глаголы обобщенной деятельности, типа *царствовать*, *править* <страной>, *руководить* (в классификации Вендлера это *generic states*, см. [Vendler 1967: 109]), которая имеет место на сверхдолгих интервалах [Падучева 2004а: 38].

Маслов различает среди моментальных глаголов такие, которые образуют перфектные пары (типа *увидеть* – *видеть*, *обрадоваться* – *радоваться*, см. [Падучева 1996: 157]). Вендлер тоже подробно останавливается на семантике глаголов типа *see* ‘видеть’.

Маслов выделяет внутри акциональных классов тематические – если они имеют общие аспектуальные свойства; например, перформативы (*посоветовать* – *советовать*), глаголы поведения (*баловаться*), глаголы положения (*стоять*). О различии между акциональными и тематическими классами см. [Падучева 2004б].

В работе Маслова невозможность процессуализации у глаголов СВ типа *пожить*, *прожить* (делимитативов и пердуративов) связывается с заключенной в их семантике идеей количественной ограниченности протекания действия. Это объяснение можно распространить на любой вид количественной спецификации дополнения при глаголе в НСВ, см. раздел 5.

Итак, Вендлер классифицирует глаголы в их исходной форме, не предусматривая особых классов для маркированных видовых форм – прогрессива и перфекта. И для того, чтобы сопоставить классификации Вендлера и Маслова, надо и русские глаголы представить, в случае наличия видовой пары, какой-то одной из видовых форм. При этом для одних глаголов исходной (и единственной) является форма НСВ, для других – форма СВ. Об этом пойдет речь в разделе 3: остаются частные вопросы, касательно того, какие из двух морфологически коррелятивных форм надо сводить к одной лексеме, а какие считать разными лексемами, которые связаны друг с другом как лексические дериваты. Производные формы (это всегда имперфективы) либо находят себе место в классификации (например, несов. вид от глагола совершения – это совершение; перфектные состояния – это состояния), либо нет. Так, итеративы (типа *вздрагивать*, *вскакивать*) не принадлежат ни к какому классу Вендлера – Маслова: это частное видовое значение формы имперфектива; принадлежностью к классу обеспечены только исходные перфективы *вздвогнуть* и *вскочить* – происшествия.

В статье [Смит 1998] к классам Вендлера добавляются пунктивы. В русском языке соотношение между пунктивом (*кашлянуть*) и многоактной деятельностью (*кашлять*) – это лексическая деривация (см. выше); такие два глагола не составляют видовой пары по Маслову: *кашлянуть* – происшествие, *кашлять* – деятельность.

2. ОСНОВНОЕ ЧАСТНОЕ ВИДОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДНЫЕ

Один и тот же глагол может допускать употребления, соответствующие нескольким разным классам. Принадлежность глагола к классу возможна благодаря тому, что одно из его видовых значений принято за исходное. Так, Ю.С. Маслов, говоря о процессах (классы 2.2; 3.2 Таблицы 4), оговаривает возможность употребления глаголов процесса, типа *гореть*, *тонуть*, в контексте родового субъекта (*Кислород не горит*, *Железо тонет в воде*), когда эти глаголы оказываются стативами. Однако за эти употребления отвечает парадигма частных видовых значений глагола – это потенциальное значение; оно никак не компрометирует словарную идентификацию глагола *гореть* как процесса, поскольку в исходном употреблении *гореть* – процесс.

Приведем другие примеры производных употреблений видовых форм – для многих глаголов они складываются в парадигму частных видовых значений.

- (1) а. пахать *поле* [действие, класс 3.1];
б. пахать *землю* [деятельность, класс 2.1].
- (2) а. вяжет *шапочку*; читает *статью* [действие, класс 3.1];
б. <сидит и> вяжет; <сидит и> читает [деятельность, класс 2.1]⁷.
- (3) а. *пахать* *землю* [деятельность, класс 2.1];
б. Мой дед *землю пахал* [обобщенная деятельность, класс 2.1.1; сюда же относится *курить* в значении '<узуально> курить', *пить* в том же значении и проч.].
- (4) а. *Иван укрепляет балку* [действие, класс 3.1];
б. *Витамины укрепляют организм* [статив: свойство-соотношение, класс 1].

Возможность употреблений типа (б) не отменяет словарной характеристики глагола, соответствующей исходному употреблению, как в примерах типа (а).

3. ПРОБЛЕМЫ ВИДОВОЙ ПАРНОСТИ У СТАТИВНЫХ И МОМЕНТАЛЬНЫХ ГЛАГЛОВ

Разница между исконно стативным глаголом М-класса I и происшествием М-класса II, имеющим производный НСВ – статив, в какой-то мере создается лексической системой языка, а не чистым смыслом глагола. Так, *зависеть* не имеет парного СВ и однозначно попадает в класс стативов, тут нет проблем. А как быть с глаголом *составлять*, который имеет парный СВ *составить*? Неужели *составлять* должен считаться производным от происшествия *составить*, т. е. трактоваться иначе, чем *зависеть*? Аналогично для параметрических глаголов *весить* и *вмещать*, а именно: *весить* однозначно идентифицируется как глагол класса *imperfectiva tantum*, статив, класс I; а *вмещать* имеет парный СВ *вместить*, в силу чего должен быть отнесен к классу II. Но это решение явно неудовлетворительное.

Есть другая возможность. Дело в том, что у исконного статива, выражающего постоянное свойство или соотношение, как *вмещать*, парного СВ не должно быть. То, что можно принять за таковой, есть глагол, имеющий иное лексическое значение. В самом деле, глагол СВ *вместить* (и *составить*) предполагает наблюдателя (точнее, субъекта сознания), который засвидетельствовал вместимость сосуда или тем или иным способом получил соответствующую информацию в эксперименте (примерно к этому сводится толкование, которое дается форме *вместить* в [Гловинская 1982: 104]). Этой семантики нет у глагола НСВ. Так что глаголы *составлять*, *вмещать* следует, несмотря на наличие *составить* и *вместить*, считать стативами. В [Гловинская 1982] видовая пара у глагола *вмещать* признана семантически нестандартной, а критерий Маслова не идентифицирует *вмещать* как итератив от *вместить*, т. е. заставляет трактовать *вмещать* – *вместить* как нефункциональную видовую пару. У производного члена

⁷ Это употребление называют абсолютным, см. [Апресян 2006].

видовой пары то же лексическое значение, что у исходного, а у производного способа действия другое лексическое значение.

Особую проблему составляют обнаруженные Ю.Д. Апресяном глаголы типа *дойти, кончиться, начаться, оборваться, повернуть, пройти* в контексте подлежащих, обозначающих протяженный пространственный объект – дорогу, реку, забор и т. д. В [Апресян 1980; 1986] (см. также [Гловинская 1982: 95, 96]) утверждается, что в форме НСВ эти глаголы обозначают пространственное расположение объекта, т.е. положение вещей; а форма СВ дополнительно «сообщает, что это положение вещей было зарегистрировано сознанием перемещающегося наблюдателя» (ср. *Тропа кончается у реки* и *Тропа кончилась у реки*), так что имеет место нестандартное соотношение между формами СВ и НСВ.

Представляется возможной альтернативная трактовка обнаруженного явления. Движущийся наблюдатель входит в лексическое значение глаголов этого типа – как следствие ссемантической деривации, изменяющей исходную актантную структуру и диатезу глагола движения. В исходном употреблении пространственный объект (например, *дорога*) является периферийным участником глагола движения, а идущий (в широком смысле, охватывающем любое перемещение) – подлежащим. В производном употреблении пространственный объект оказывается подлежащим, а идущий остается участником ситуации, но уходит за кадр и становится наблюдателем. При этом меняется таксономическая категория: глагол выражает уже не движение, а пространственное расположение, т. е. является стативным. Так, в (1а) исходное употребление глагола движения, а в (1б) – производное:

- (1) а. Я *шел* в гору;
б. Дорога *шла* в гору.

Конечно, не все глаголы допускают буквально этот анализ, но это общая схема метонимического подхода к описанию динамики той статической ситуации, которая имеет место (возможна метафорическая трактовка, которую мы не рассматриваем).

Что же выражает в этом контексте видовая форма? Совершенный вид в русском языке имеет инвариантное значение события, т. е. изменения, рассматриваемого в ретроспективе (см. [Зализняк Анна, Шмелев 2000: 35–36; Падучева 2004а и литературу там же]). В контексте наших глаголов совершенный вид может найти для себя подходящий, т. е. событийный, «семантический материал» только в виде события с движущимся наблюдателем. Отсюда обязательный эффект движущегося наблюдателя в семантике СВ:

- (2) Тропа *кончилась* у реки ≈ ‘у реки тропа кончается, и это зарегистрировал идущий по ней наблюдатель’.

Что же касается несовершенного вида, то он допускает разные интерпретации. Предложение (3) выражает единичную ситуацию с актуальным наблюдателем, который идет по дороге в определенном направлении – так что у реки находится ее конец:

- (3) Тропа *кончалась* у реки.

То же самое расположение дороги могло бы быть описано предложением (4):

- (4) Тропа *начиналась* у реки.

Ясно, однако, что предложения (3) и (4) не синонимичны, и различаются они только направлением движения наблюдателя. Так что предложение (3), с глаголом НСВ, апеллирует к движущемуся наблюдателю совершенно так же, как (2).

Точно так же можно доказать наличие наблюдателя у словоформ НСВ примера (5) – указание на направление движения (вверх -- вниз) предполагает движение, а двигаться может только наблюдатель:

- (5) а. У реки тропинка *поднималась* в гору;
б. У беседки тропинка *спускалась* к реке.

Глагол *повернуть* в форме НСВ тоже предполагает направление движения, а следовательно, движущегося наблюдателя.

Итак, форма НСВ прошедшего времени в примерах (3)–(5) предполагает, как и форма СВ в (2), актуального наблюдателя. В настоящем времени НСВ, см. (6), наблюдатель (при самой естественной интерпретации, когда имеется в виду соотношение между дорогой и рекой) **н е а к т у а л ь н ы й** – генерализованный или потенциальный; имеется в виду, что дорога **о б ы ч н о** проходит (или будет пройдена) идущим субъектом-наблюдателем в таком направлении, что у реки находится ее конец, а не начало:

(6) У реки дорога *кончается*.

При такой трактовке форма совершенного вида в контексте глаголов со значением расположения пространственного объекта не имеет никакого специального значения: это значение события, а именно, события, происшедшего с наблюдателем.

Как легко видеть, все эти глаголы входят в функциональные, т. е. стандартные видовые пары – например, НСВ заменяет СВ в контексте наст. исторического:

- (7) а. У реки тропа *кончилась*, и мы *пошли* по осыпи вверх;
б. У реки тропа *кончается*, и мы *идем* по осыпи вверх.

Исходным членом видовой пары следует считать, как и в других случаях парных глаголов, форму СВ.

4. ВИДОВАЯ ПАРНОСТЬ И ГРАДАТИВЫ

При делении глаголов на исходные имперфективы и исходные перфективы возникает проблема с глаголами типа *увеличивать(ся)*, *повышать(ся)*, *удалять(ся)*, *расширять(ся)*, *расти* – чрезвычайно интересный класс, введенный в русскую аспектологию в [Гловинская 1982: 86–89]. Эти глаголы выражают изменение некоторого параметра объекта, принимающего значения на потенциально бесконечной шкале. В [Dowty 1979: 88–90] глаголы типа *widen* ‘расширять’, *lengthen* ‘удлинять’, *cool* ‘охлаждать’ были названы DEGREE ACHIEVEMENTS. Этот термин, получивший широкое распространение, имеет внутреннюю форму, которая характеризует одновременно и тематический, и акциональный класс этих глаголов. Между тем исследованию подлежит отдельно тематический и акциональный класс глаголов типа *увеличивать(ся)*. В [Rapaport Hovav 2008] используется термин «gradual completion verbs» – «глаголы постепенного совершения»; тем самым предполагается, что эти глаголы принадлежат к классу accomplishments. В [Падучева 1996: 117] глаголы типа *увеличиваться* названы ГРАДАТИВАМИ (тематический класс), а их акциональный класс подлежит выяснению.

Более широкий класс – глаголы изменения состояния (change of state verbs). Это класс, в который входят по преимуществу глаголы, образованные от прилагательных. Глагол изменения состояния может быть мотивирован **положительной** степенью прилагательного (ср. *высохнуть*, *созреть*, *очиститься*, *опустошиться*) и **сравнительной** (ср. *расширяться*, *увеличиваться*). Градативами являются глаголы, мотивированные сравнительной степенью прилагательных: они ориентированы на параметр с неограниченной шкалой значений и являются непредельными – в отличие от глаголов, типа *высохнуть*, которые мотивированы положительной степенью прилагательного, имеют ограниченную шкалу значений и являются предельными. Разумеется, в классе градативов есть и глаголы, не производные от прилагательных, как англ. *increase* или русск. *расти*.

Глаголы типа *увеличивать(ся)* естественно отнести к классу activities, т. е. к непредельным процессам / деятельности. В [Гловинская 1982] они трактуются как имеющие парный СВ – что противоречит закономерности, которая лежит в основе классификации Ю.С. Маслова и состоит в том, что у исходного имперфектива не может быть парного СВ. (На это противоречие было обращено внимание в статье [Чжан Цзяхуа 2007].)

Глагол СВ *увеличиться* имеет следующую схему толкования [Падучева 2004в]:

X увеличился за W на Q = ‘значение, которое на X-е принимает параметр Величина⁸, в момент речи на Q единиц выше, чем в некоторый момент до момента речи’.

Например:

- (1) За последнее время средний возраст докторов <...> *увеличился на девять лет*.

Из этого толкования видно, что у глагола СВ *увеличиться* есть следующие два участника: Дифферент Q и Временной интервал W (от некоторого момента в прошлом до момента речи).

Ясно, что глагол НСВ *увеличиваться*, с процессным значением, имеет иное лексическое значение, чем СВ *увеличиться*. Взять хотя бы то, что у *увеличиваться* нет участника Дифферент. Таким образом, мы заключаем, что у глагола *увеличиваться* есть два значения: значение *увеличиваться-1*, процессное, и значение *увеличиваться-2*, итератив от СВ *увеличиться*. Синхронное актуально-длительное значение есть только у *увеличиваться-1*.

Важно то, что, как все глаголы с количественным пределом, глагол СВ *увеличиться* (на интервале W на Q) не поддается процессуализации, так что его производный НСВ не может иметь никаких значений, кроме тривиальных. Так, в примере (2) НСВ имеет значение предстояния [Падучева 1996: 115] – ‘должен был увеличиться’:

- (2) Кеннеди не заставил себя ждать. Совет национальной безопасности объявил о повышении боеготовности вооруженных сил США. Шесть дивизий приготовились к броску в Европу. Военный бюджет *увеличивался на три* с половиной миллиардов долларов. Это был тот самый шаг, в котором нуждался Хрущев (Олег Гриневский. Тысяча и один день Никиты Сергеевича (1997)).

Получаем следующую картину:

глагол *увеличиваться-1* – исходный имперфектив: описывает ситуацию, не включающую участника Q, и имеет категорию процесс; не имеет парного СВ;

глагол *увеличиться* – способ действия, т. е. лексический дериват глагола *увеличиваться-1*, с участниками Q и W; его аспектуальный класс – происшествие, degree achievement;

глагол *увеличиваться-2* – производный имперфектив – итератив; тривиальная пара к СВ *увеличиться*; не имеет класса в классификации Вендлера.

Значение *увеличиваться-2* возникает, в принципе, только при наличии у глагола синтаксически выраженных участников Q и W:

- (3) Щель *увеличивается* каждый день на 2 миллиметра.

Если же участника Q нет (W может подразумеваться), то глагол понимается как обозначающий процесс: цены увеличиваются дискретно, щель увеличивается плавно, но глагол *увеличиваться* этого различия не выражает.

В примере (4) (из [Гловинская 1982]) НСВ *увеличиваться* имеет значение *увеличиваться-2*, т. е. понимается как итератив от *увеличиться* при отсутствии синтаксически выраженного участника Q; но для возникновения этого значения нужен контекст ретроспекции:

- (4) Давление в котле *увеличивалось?* = ‘увеличилось ли давление хоть раз <на временном интервале, который имеется в виду> на какую-либо величину?’

Итак, глагол СВ *увеличиться* является с точки зрения тематической градацией, с точки зрения акциональной – происшествием и не образует тривиальной видовой пары с *увеличиваться-1*, процессом. Тем самым термин Даути degree achievement мож-

⁸ Получается, что Величина – это инкорпорированный участник глагола *увеличиться*, см. о семантической инкорпорации [Падучева 2004а: 57].

но считать уместным в применении к событийным контекстам употребления градатива, но не к таким, где градатив обозначает непредельный процесс.

В [Падучева 2004в] отмечено семантическое сходство СВ градатива с делимитативом – у градатива перфективное событие отмерено некоторой величиной, у делимитатива – временным интервалом:

- (5) а. *Х увеличился* = 'Х увеличился на некоторую величину Q';
б. *Х погулял* = 'Х гулял в течение некоторого времени' <'и перестал гулять'>.

Есть, однако, отличие: в семантику делимитатива входит импликация прекращения ситуации. В самом деле, из *я погулял* следует 'сейчас не гуляю': без этой импликации в семантике глагола нет «семантического материала» для совершенного вида – нет семантики изменения. Между тем у градатива, с его участником Дифферент, истинность глагола СВ в некоторой ситуации не исключает того, что ситуация, описываемая глаголом НСВ, тоже имеет место.

Отношение между СВ *achievement* *увеличиться* и НСВ *activity* *увеличиваться*-1 совершенно уникально – предложения с глаголом в СВ и в НСВ могут быть истинны в одной и той же ситуации (сопоставляя, впрочем, этой ситуации разные концепты):

- (6) а. На протяжении трех месяцев инфляция *будет увеличиваться* [activity];
б. На протяжении трех месяцев инфляция *увеличится* [achievement].
- (7) а. На протяжении трех месяцев инфляция *увеличивалась* [activity];
б. На протяжении трех месяцев инфляция *увеличилась* [achievement].

В (6) буд. время, в (7) – прошедшее. Вместо предлога *за*, который сочетается только с глаголами СВ, взят предлог *на протяжении*, который безразличен к виду.

Разумеется, это возможно только при условии, что не упомянут участник Дифферент – как мы знаем, градатив только при этом условии может употребляться (в НСВ) в значении процесса.

У обычных глаголов такого соотношения между СВ и НСВ не может быть; так, из (8б), с глаголом *accomplishment*, никак не следует (8а):

- (8) а. Иван *построил* дом за два месяца;
б. Иван *строил* дом на протяжении двух месяцев.

В [Rapaport Hovav 2008: 19] утверждается, что в предложении (9) глагол *increase* выступает как *accomplishment*.

- (9) The prices will increase in three months.

Этого никак не может быть. У глагола *accomplishment* имперфектив соотносится с перфективом как часть с целым, так что каждый временной отрезок такой ситуации, как, скажем, «Ваня съел яблоко», за исключением «самого последнего», может быть назван глаголом в НСВ: *Ваня ест яблоко*. Между тем в контексте примера (9) инфляция за три месяца увеличилась на некоторую величину, однако неверно, что на протяжении этих трех месяцев она увеличивалась на ту же величину. Поэтому глаголы с количественным пределом, такие как *increase* 'увеличиваться' <предположительно, на некоторую величину>, не могут быть совершенными. Если инфляция увеличилась на 7 % за какой-то промежуток времени, она не увеличивалась на 7 % в каждый момент этого промежутка времени.

5. АКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ И ОГРАНИЧЕННАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (TELICITY)

Вернемся теперь к проблеме, поставленной Ю.С. Масловым, – к лексическим предпосылкам аспектуального значения и к разграничению лексической и грамматической аспектуальности.

В серии аспектологических работ, концентрирующихся вокруг [Krifka 1992; 1998; Dowty 1991], на первый план в семантике вида выходит противопоставление «telic –

atelic». Препежде всего, отметим слооность с переводом этих терминов на русский язык. Их часто переводят как «пределный» – «непределный». Однако термин «telic» используется иначе, чем русское «пределный»: он применяется ко всем ситуациям с ограниченным временем протекания (т.е. temporally bounded). Между тем ограниченная ситуация не значит обязательно пределная: моментальные ситуации тоже ограниченные. Так что ограниченные ситуации отличаются от непределных (т.е. состояний и деятельности), но сами могут быть пределными (постепенно достигающими своего внутреннего предела) и моментальными. Русское деление пределный/моментальный – это деление внутри ограниченных ситуаций. Я перевожу *telic* как «терминативный», а *atelic* – как «(потенциально) неограниченный, нетерминативный».

Один и тот же глагол может быть терминативным и нетерминативным в разных контекстах – в зависимости от характера актантов. Поэтому о терминативности говорят применительно не к глаголу, а к глагольной группе (ГГ). Примеры (из [Rothstein 2004: 2]).

- (1) а. John *built* a house *in* a week [совершение] [терминативность];
 б. John *built* houses *for* a week [деятельность] [нетерминативность].
- (2) а. Mary *ran* to the store *in* an hour [совершение] [терминативность];
 б. Mary *ran* along the river *for* an hour [деятельность] [нетерминативность].
- (3) а. A tourist *discovered* this village *for weeks / *all summer [достижение] [терминативность];
 б. Tourists *discovered* this village for weeks / all summer [итератив] [нетерминативность].

Терминативность в английском языке диагностируется тестом на сочетаемость с обстоятельствами времени: обстоятельство срока завершения (например, *in a week*) диагностирует глагольную группу как терминативную, см. (1а), а допустимое обстоятельство длительности (например, *for a week*) – как нетерминативную, см. (1б).

Там, где в английском языке меняется интерпретация (от терминативной к нетерминативной), в русском меняется видовая форма, например:

- (1') а. Джон *построил* дом за неделю [совершение] [терминативность];
 б. Джон *строил* дома в течение недели [деятельность] [нетерминативность].

Из сказанного ясно, что в английском языке глагол не маркирован в отношении терминативности – один и тот же глагол в одной и той же форме может быть терминативным в одном контексте и не терминативным – в другом, см. примеры (1)–(3). Фраза *He ate these chocolates* вне контекста неоднозначна:

- (4) а. He *ate* these chocolates *for half an hour* [нетерминативность];
 б. He *ate* these chocolates *in a minute* [терминативность].

Что же касается русского глагола, то его терминативность выражена видом: форма совершенного вида маркирует глагол как терминативный, несовершенный вид выражает нетерминативность. В контексте примера (4) по-русски надо сказать либо (5а), либо (5б):

- (5) а. Он *ел* эти конфеты *полчаса* [НСВ, нетерминативность];
 б. Он *съел* эти конфеты *за минуту* [СВ, терминативность].

То, что для славянских языков терминативность (telicity) – то же, что совершенный вид, показано в [Filip 2008]. В этом смысле терминативность, в отличие от вендлеровских классов, оказывается нерелевантной с точки зрения задачи отделения лексической аспектуальности от грамматической. Однако на базе понятия терминативности была поставлена другая задача, которую можно обозначить как исследование лексико-синтаксической аспектуальности.

А именно, для английского языка были предложены (в терминах теоретико-модельной семантики – в работах [Krifka 1992; Dowty 1991] и др.) правила, позволяю-

щие предсказать терминативность глагольной группы, исходя из ее лексико-синтаксической структуры – они были названы правилами аспектальной композиции.

Основная идея здесь состоит в том, что для некоторых глаголов терминативность вытекает как следствие определенного «накопительного» отношения между глаголом и одним из его актантов. У таких «накопительных» глаголов терминативность, т. е. ограниченность временной протяженности, предопределена ограниченностью актанта-накопителя. Например, глагол *eat* <an apple> (или *read* <the article>) накопительный, поскольку протяженность процесса еды предопределена ее количеством – в том смысле, что из конечности количества следует терминативность процесса. А глагол *to buy* не накопительный, поскольку он не предполагает такой зависимости – не предполагает накопления эффекта по какой-то единой шкале значений.

Правило аспектальной композиции формулируется, в терминах теоретико-модельной семантики, следующим образом. Глагольная группа с накопительным глаголом является кумулятивной (нетерминативной, потенциально неограниченной), если ИГ-накопитель в ее составе кумулятивный, т. е. грубо говоря, является именем массы, и квантивной (терминативной), если ИГ-накопитель квантивная, т. е. является именем индивида. Иными словами, кумулятивность глагольной группы предполагает членимость обозначаемого процесса на части, которые могут быть названы тем же именем, что целое; а квантивные глагольные группы исключают такую членимость.

В [Paducheva, Pentus 2008] было показано, однако, что кумулятивность ИГ действительно предопределяет нетерминативность глагольной группы с накопительным глаголом, а квантивность ИГ отнюдь не означает, что глагольная группа обязательно терминативна. Пример (на базе [Rothstein 2004]):

- (6) а. John wiped *dishes* for half an hour (*in half an hour);
б. John wiped *the table* in half an hour;
в. John wiped *the table* for half an hour.

Пример (6а) с кумулятивной ИГ *dishes* показывает, что глагол *wipe* накопительный. Безартиклевая форма мн. числа *dishes* делает интерпретацию глагольной группы однозначно нетерминативной (отсюда запрет на обстоятельство срока завершения *in half an hour*) – что и предсказывается правилом аспектальной композиции. Однако в контексте, где именная группа *the table* квантивная, глагольная группа допускает не только квантивную терминативную интерпретацию (предсказанную правилом), см. (6б), но и кумулятивную нетерминативную (которую правило исключает), см. (6в). В русском языке эта нетерминативная интерпретация выражается несовершенным видом.

Противопоставление терминативный – нетерминативный снимает различие между предельными и моментальными терминативными глаголами. Между тем для русского вида это основополагающее деление, которое ни в коем случае не следует снимать. Для семантики русского вида в его взаимодействии с лексической семантикой глагола существенна не терминативность, а вендлеровский класс. Именно он выражает аспектально релевантные лексические свойства глагола. Так, основное правило аспектальной композиции касается глаголов класса accomplishments.

Ограниченность мерсологического подхода в применении к русскому языку обнаруживается при анализе глагольных групп с количественным накопителем. Изучение этой проблемы в русской аспектологии имеет давнюю традицию, которая идет от Якобсона, см. [Wierzbicka 1967; Падучева 1996: 182–191; Paducheva 1998; Молошная 2007: 110–112]. Ю.С. Маслов тоже неоднократно возвращается к идее о том, что если в перфективной глагольной группе ограничение на длительность ситуации задано в количественных терминах, то такая группа не поддается процессуализации, т. е. не переводится в несов. вид. Это положение Маслов демонстрирует на примерах *Он погулял полчаса*, *Он проспал два часа*; но тут допустимо обобщение и на случаи, когда количественное ограничение содержится в составе ИГ накопителя. Так, в предложении (7) несов. вид не может интерпретироваться как прогрессив, единственное допустимое

значение – узуальное; а пример (8), где для узуального значения контекст недостаточен, заставляет принять странную картину поедания двух яблок одновременно.

(7) Он *ест* много шоколада;

(8) Он *ест* два яблока.

Запрет на интерпретацию формы НСВ в контексте *ест два яблока* в значении актуально развертывающегося процесса оставляет в качестве единственной возможности ретроспективный ракурс, выражаемый совершенным видом. Нетерминативность исключается не квантивностью именной группы, а тем, что она содержит показатель количества, который в некоторых контекстах (скорее всего, заданных прагматически) исключают синхронную точку зрения на ситуацию, тем самым делая ретроспекцию и совершенный вид единственной возможностью. Так, *вытирать два стола* менее одиозно, чем *есть два яблока*.

Все сказанное означает, что терминативность не сводится к классу, приписанному глаголу в словаре, а вычисляется по синтаксическому контексту.

* * *

Итак, представляются важными две идеи – принципиальное сходство классификаций Маслова и Вендлера и принципиальное различие акциональной и тематической классификации глаголов того или иного языка. Принцип фасетности, принятый в лексико-семантических классификациях Национального корпуса русского языка, позволяет добавлять новые классификации (мереологическую, топологическую, аксиологическую и другие), при этом в каждой отдельной классификации сохраняется иерархичность, со всеми вытекающими из нее многочисленными удобствами.

Сопоставление классификаций Маслова и Вендлера позволяет провести границу между глаголами, для которых исходной (и единственной) является форма несовершенного вида, и такими, для которых исходный вид совершенный. При этом непарные глаголы совершенного вида с семантической точки зрения входят в один ряд с такими, у которых производный имперфектив есть, но имеет только тривиальные значения.

Двухкомпонентная концепция вида [Smith 1991], различающая акциональный класс (лексическая аспектуальность) и ракурс (грамматическая аспектуальность), служит подтверждением отечественных теорий взаимодействия лексической и грамматической аспектуальности. Так называемые правила аспектуальной композиции (намеченные еще в работе [Verkuyl 1972]) отражают тот факт, что вендлеровский класс глагола зависит от контекста – глаголы accomplishments (и, реже, achievements) могут в определенном контексте вести себя как глаголы activity.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1980 – Ю.Д. *Апресян*. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл ⇔ Текст». Wien, 1980 (Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 1).
- Апресян 1986 – Ю.Д. *Апресян*. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986. С. 5–33.
- Апресян 1988 – Ю.Д. *Апресян*. Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке // Русистика сегодня. Язык: система и ее функционирование. М., 1988. С. 57–78.
- Апресян 2006 – Ю.Д. *Апресян*. Фундаментальная классификация предикатов // Языковая картина мира и системная лексикография / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М., 2006. С. 75–109.
- Булыгина 1982 – Т.В. *Булыгина*. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов / Отв. ред. О. Н. Селиверстова. М., 1982. С. 7–85.

- Гак 1996 – В.Г. Гак. Функциональные видовые пары в русском языке // Словарь, грамматика, текст. М., 1996. С. 62–71.
- Гловинская 1982 – М.Я. Гловинская. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
- Зализняк 2003 – А.А. Зализняк. Грамматический словарь русского языка. 4-е изд. М., 2003.
- Зализняк Анна, Шмелев 2000 – Анна А. Зализняк, А.Д. Шмелев. Лекции по русской аспектологии. М., 2000.
- Маслов 1948 – Ю.С. Маслов. Вид и лексическое значение глагола в русском языке // ИАН СЛЯ. 1948. Т. 7. № 4. С. 303–316.
- Мелиг 2008 – Х.Р. Мелиг. Взаимодействие между видом и «накопителями» в русском языке // Динамические модели: Слово, предложение, текст. М., 2008. С. 562–593.
- Молошная 2007 – Т.Н. Молошная. Грамматические категории и их некатегориальные значения в славянских языках. М., 2007.
- Падучева 1996 – Е.В. Падучева. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
- Падучева 2004а – Е.В. Падучева. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
- Падучева 2004б – Е.В. Падучева. О параметрах лексического значения глагола: онтологическая категория и тематический класс // Русский язык сегодня. Т. 3. Проблемы русской лексикографии / Ред. Л.П. Крысин, М.: 2004. С. 213–238.
- Падучева 2004в – Е.В. Падучева. О семантическом инварианте видового значения глагола в русском языке // Русский язык в научном освещении. 2004. № 2 (8). С. 5–16.
- Падучева 2008 – Е.В. Падучева. Имперфектив отрицания в русском языке // ВЯ. 2008. № 3. С. 3–21.
- Смит 1998 – К.С. Смит. Двухкомпонентная теория вида (пер. с англ.) // Типология вида: проблемы, поиски, решения / Отв. ред. М. Ю. Черткова. М., 1998. С. 404–421.
- Чжан 2007 – Цзяхуа Чжан. Аспектуальные семантические компоненты в значении имен существительных в русском языке // ВЯ. 2007. № 1. С. 27–43.
- Braginsky, Rothstein 2008 – P. Braginsky, S. Rothstein. Vendler classes and the Russian aspectual system // Journal of Slavic linguistics. V. 16. Pt. 1. 2008.
- Dowty 1979 – D.R. Dowty. Word meaning and Montague grammar. The semantics of verbs and times in generative semantics and in Montague's PTQ. Dordrecht (Holland), 1979.
- Dowty 1991 – D.R. Dowty. Thematic proto-roles and argument selection // Language. V. 67. Pt. 3. 1991. P. 547–619.
- Filip 2008 – H. Filip. Events and maximalization. The case of telicity and perfectivity // S. Rothstein (ed.). Theoretical and crosslinguistic approaches to the semantics of aspect. Amsterdam, 2008. P. 217–256.
- Krifka 1992 – M. Krifka. Thematic relations as links between nominal reference and temporal constitution // I. Sag, A. Szabolcsi (eds.). Lexical matters. Stanford, 1992. P. 29–53.
- Krifka 1998 – M. Krifka. The origins of telicity // S. Rothstein (ed.). Events and grammar. Dordrecht; Boston; London, 1998. P. 197–235.
- Mehlig 1981 – H.R. Mehlig. Satzsemantik und Aspektsemantik im Russischen (Zur Verbklassifikation von Zeno Vendler) // Slavistische Beiträge. Bd. 147. München, 1981. S. 95–151. (Сокращенный русск. пер.: Х.Р. Мелиг. Семантика предложения и семантика вида в русском языке // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985. С. 227–249.)
- Mikaelian, Shmelev, Anna Zalizniak 2008 – I. Mikaelian, A.D. Shmelev, Anna A. Zalizniak. Le concept de couple aspectual, est-il encore utile? // Études offertes à M. Guiraud-Weber. 2008. P. 189–206.
- Paducheva 1998 – E. Paducheva. On non-compatibility of partitive and imperfective in Russian // Theoretical linguistics. V. 24. № 1. 1998. P. 73–82.

- Paducheva, Pentus 2008 – *E. Paducheva, M. Pentus*. Formal and informal semantics of telicity // S. Rothstein (ed.). Theoretical and crosslinguistic approaches to the semantics of aspect. Amsterdam, 2008. P. 191–215.
- Rappaport Hovav 2008 – *M. Rappaport Hovav*. Lexicalized meaning and the internal temporal structure of events // S. Rothstein (ed.). Theoretical and crosslinguistic approaches to the semantics of aspect. Amsterdam, 2008. P. 13–42.
- Rothstein 2004 – *S. Rothstein*. Structuring events. A study in the semantics of lexical aspect. Blackwell, 2004.
- Smith 1991 – *C.S. Smith*. The parameter of aspect. Dordrecht, 1991.
- Tatevosov 2002 – *S.G. Tatevosov*. The parameter of actionality // Linguistic typology. V. 6. 2002. P. 317–401.
- Vendler 1967 – *Z. Vendler*. Linguistics in philosophy. Ithaca; New York, 1967.
- Verkuyl 1972 – *H.J. Verkuyl*. On the compositional nature of aspects. Dordrecht, 1972.
- Wierzbicka 1967 – *A. Wierzbicka*. On the semantics of the verbal aspect in Polish // To honor Roman Jakobson. The Hague; Paris, 1967. P. 2231–2249.
- Wierzbicka 1980 – *A. Wierzbicka*. *Lingua mentalis*. Sydney, 1980.

© 2009 г. А.Н. БАРАНОВ, Д.О. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ПРИНЦИПЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ*

В статье обсуждаются основные направления исследований в современной фразеологии. Обращается внимание на необходимость использования такого способа анализа, который основывается на изучении множества факторов, влияющих на формирование и функционирование феноменов фразеологической системы. Подчеркивается роль внутренней формы, влияющей на синтаксические, семантические и прагматические особенности поведения идиом.

1. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ

Один из универсальных методов анализа сложных феноменов – факторный анализ, используемый как в естественных науках (в биологии, физике и химии), так и в гуманитарных – например, в социологии при исследовании социальных групп или в психологии для изучения феноменов сознания. Суть этого метода заключается в том, что явление анализируется с различных точек зрения – с помощью разных параметров, – отражающих разные аспекты его структуры и функционирования. Эти параметры на начальном этапе анализа не обязательно должны быть связаны друг с другом. Скорее наоборот: они выглядят как самостоятельные. На втором этапе исследования выявляются возможные взаимосвязи выделенных параметров, проявляющиеся в повторяемости сочетаний значений параметров, что позволяет описывать явление системно, выявляя несочетивные и теоретически непредсказуемые взаимосвязи¹.

Язык и его фразеологическая система по сложности ничем не уступают тем объектам, к которым обычно применяют метод факторного анализа. В качестве параметров описания фразеологии мы предлагаем выбрать характеристики следующих феноменов, часто представляющихся исследователю совершенно независимыми:

- Актуальное значение;
- Внутренняя форма;
- Синтаксис, в том числе варьирование;
- Стил (в широком понимании).

Актуальным значением фразеологизма естественно считать ту часть его семантики, реализующейся в некотором типе контекстов, которая необходима для правильного понимания этих контекстов (при этом игровые и нестандартные употребления исключаются). Актуальное значение лишено образа, и в этом смысле оно близко значениям слов обычной (неметафорической) лексики. Так, актуальное значение идиомы *отдать концы* можно описать как 'умереть'. Иными словами, в обычном случае образная составляющая в актуальное значение идиомы не входит. Знание того, что идиома *отдать концы* значит 'умереть', достаточно для понимания типовых контекстов с этим выражением.

Частью плана содержания идиомы *отдать концы* является, однако, и ее образная составляющая – внутренняя форма, – которую можно описать как *что осмысливается*

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 07-04-12117в.

¹ Основные положения факторного анализа см. в [Харман 1972]; применение факторного анализа в гуманитарных науках см., в частности [Митина, Михайловская 2001].

как прекращение контактов с окружающим миром и описывается как начало процедуры отчаливания корабля². Таким образом, внутренняя форма идиомы – это образный компонент плана содержания, который часто проявляется в нестандартных употреблениях, формируя игровой слой семантики. Ср. *Делается все не просто, а очень просто: достаточно одной рукой заткнуть рот жертве... то есть потерпевшему, а другой рукой зажать нос. Если потерпевший через несколько секунд не вскочит, значит, вы можете со спокойной совестью отправлять его в морг. Некоторые уверяют, что так можно оживить даже покойника. Ну, это, доложим вам, явный перебор. Если уж человек отдал концы, то сколько б вы ему их не протягивали... Такой уж покойники упрямый народ* (Корпус русской прозы). В отличие от актуального значения, которое должно быть единым или очень близким у разных носителей языка, понимание внутренней формы менее унифицировано. Это и составляет одну из проблем в описании семантики идиом. Выявление инварианта внутренней формы и фиксация этого инварианта в модели значения³ идиомы – одна из важнейших задач семантического описания фразеологии.

Отметим, что первый опыт пояснения в толковании внутренней формы представлен в словаре М.И. Михельсона, в котором прием экспликации образной составляющей используется почти регулярно. Ср. толкование идиомы *подставить ногу*: «подгадить кому (как поступают в борьбе, чтобы повалить противника)», или устаревшей идиомы *под освещением*: «представлением чего-либо в известном виде – в известном свете (намек на освещение картин краской и на изображение света и всех изменений и оттенков его; а также на вид предмета в зависимости от более или менее удачного освещения его)» [Михельсон 1902–1903]. В последующей лексикографической практике эта идея была прочно забыта, а соответствующая техника толкования – потеряна.

Еще одна проблема – соотношение актуального значения и внутренней формы между собой. Принято считать, что внутренняя форма – это периферийный слой семантики, как правило, не охватывающийся толкованием и другими типами семантических экспликаций. Иными словами, актуальное значение и внутренняя форма неравноценны, причем в том смысле, что внутренняя форма «слабее», менее существенна и даже факультативна – либо отсутствует вообще, либо воспринимается носителями языка по-разному. На материале фразеологии эта идея часто подтверждается. Однако в целом ряде идиом актуальное значение, наоборот, элементарно, а внутренняя форма образует наиболее существенную часть плана содержания. Таковы, например, идиомы-речевые формулы, указывающие на неуместность предшествующего речевого акта собеседника: [– Ну?] – *Баранки гну!*; [– Где?] – *У тебя на бороде*; [– Откуда?] – *От верблюда!*; [– ...товарищ...] – *Тамбовский волк тебе товарищ. / Твои товарищи в Брянском лесу бегают, хвостами машут*; [– Куда?] – *На кудыкину гору*; [– ...товарищ...] – *Гусь свиные не товарищ*; [– Кто?] – *Дед Пихто*; [– Ну?] – *Когда запряжешь, тогда и будешь нукать*; [– Ну?] – *[Не нукай,] не запряг [ещё]*; [– Потом.] – *Суп с котом*; [– Куда?] – *На улицу Труда*; [– Почему?] – *[Потому что «почему»] кончается на «у»*. В семантическом поле идиом, обозначающих речевые акты с семантикой несогласия и возражения, представлено порядка пятидесяти выражений такого типа.

Собственно актуальное значение этих выражений сводится к идее неуместности реплики собеседника, а способ указания на это – внутренняя форма – оказывается чрезвычайно разнообразной. Именно это и оправдывает существование такого большого количества речевых формул указанного типа с идентичным актуальным значением. Рассматриваемая особенность семантики идиом хорошо видна на примере толкования речевой формулы *баранки гну*: [– Ну?] – *Баранки гну!* = ‘оценка неуместности речевого поведения собеседника как ответная реакция на его реплику, содержащую частицу «ну» и настоятельно и, тем самым, невежливо побуждающую говорящего сделать что-л., в форме указания на собственную занятость абсурдным действием придания круглой

² Здесь и далее внутренняя форма отражается в семантических экспликациях курсивом.

³ О понятии модели значения см. [Баранов, Добровольский 2008: 160–212].

формы одному из видов хлебобулочных изделий, уже имеющему круглую форму, причем выбор названия действия определяется исключительно тем, что оно рифмуется с первой репликой собеседника и тем самым утрированно имитирует его речевое поведение'.

В приведенном толковании внутренняя форма, вводимая оператором 'в форме указания на', выделена курсивом. Видно, что удельный вес внутренней формы в семантике идиомы *баранки гну* существенно выше, чем актуального значения⁴. Следствия внутренней формы обнаруживаются и в реальном употреблении данной идиомы (и других идиом такого типа) – крайняя невежливость (почти грубость), передразнивание собеседника, нежелание продолжать коммуникацию (по крайней мере в этом направлении). Все эти эффекты невозможно объяснить, если ограничиваться только актуальным значением. Таким образом, для случаев рассматриваемого типа метафора «слоеного пирога», часто используемая для описания и объяснения феноменов значения, непригодна: она мало что объясняет. Скорее, можно было бы говорить о метафоре айсберга: верхушка айсберга – актуальное значение, а его подводная часть – внутренняя форма.

Синтаксис идиом – также сфера действия различных факторов. В частности, синтаксическое поведение идиом тесно связано с их семантикой. Это касается не только актуального значения, но и внутренней формы, которая, в частности, определяет семантическую членимость идиомы. Стилистические характеристики идиомы – это сложный параметр, который состоит из ряда самостоятельных аспектов. Сюда относятся временные характеристики идиомы (устаревшее, устаревающее и пр.), собственно стилистические характеристики (высокое, сниженное, грубое и пр.), дискурсивные параметры (журналистское, книжное, жаргонное, просторечное, народное), регистровые операторы (эвфемизм, дисфемизм). Выделенные сферы описания фразеологии и связанные с ними параметры исследованы в имеющейся литературе в разной степени. Однако совершенно за пределами рассмотрения осталось взаимодействие этих факторов, влияние каждого из них на какие-то другие. **Современная теория фразеологии уже подошла к такому этапу, когда постановка задачи исследования взаимодействия различных факторов представляется не только осмысленной, но и необходимой.**

Рассмотрим на конкретных примерах возможные типы подобных взаимодействий и взаимовлияний. Сначала обратимся к феномену внутренней формы, к типам описывающих ее моделей, а также к тому влиянию, которое образ оказывает на актуальное значение (раздел 2). Затем мы рассмотрим различные факторы, которые значимы для стилистической характеристики идиом (раздел 3). Внутренняя форма влияет и на игровые употребления идиом (раздел 4). Взаимодействие семантических и синтаксических параметров рассматривается в разделе 5.

2. ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ИДИОМЫ

2.1. Модели внутренней формы

Способ указания на актуальное значение, фиксированный во внутренней форме идиомы, можно назвать **моделью внутренней формы**. Значительная часть моделей внутренней формы основана на метонимии, понимаемой в широком смысле. В **метонимических моделях**⁵ во внутренней форме фиксируется часть процедуры, действия, общей ситуации, хотя имеется в виду целое – вся процедура, все действие, вся ситуация. Указание в метонимических моделях может основываться на описании невербального поведения, часто представленного в ритуализованных процедурах выражения

⁴ Следует иметь в виду также, что в часть толкования, не выделенную курсивом, попадает не только актуальное значение, но и иллокутивная составляющая 'как ответная реакция на его реплику...', эксплицирующая иллокутивное вынуждение со стороны собеседника.

⁵ Названия моделей даются по различным основаниям: ниже разбираются и метафорические модели, в частности, модель пространства, модель времени и пр.

соответствующей коммуникативной интенции (в том числе на жесте): *поклониться в ноги / ножки; памятник поставить; бить поклоны; склонить голову; [взять] под козырёк; ударить по рукам; по рукам; щёлкать каблуками; повернуться лицом (к кому-л. / чему-л.); во фрунт*. Метонимическими можно считать и такие модели, в которых фиксируются характерные признаки ситуации, связанной с выражаемой коммуникативной интенцией, ср. *семь футов [воды] под килем; барабан на шее, флаг в руки*. Метонимическими по природе являются модели, основанные на псевдоисчерпании, т. е. на частичном перечислении элементов множества, представляющих все множество, ср. *ни сват ни брат; ни кола ни двора*. К метонимическим моделям относятся также такие способы указания на актуальное значение, которые предполагают выбор одного из элементов некоторой последовательности или процедуры: *до гробовой доски, по гроб жизни, до гроба / могилы, с / от молодых / молодых ногтей, со школьной скамьи*.

Синонимическая модель характеризуется тем, что в качестве указания на актуальное значение используются два квазисинонима: *целиком и полностью, любо-дорого смотреть*. В этом же ряду можно рассматривать **модель редупликации**: *чин-чинарём, чин-чином*. Довольно часто во внутренней форме идиом встречается **модель множества**. В ряде случаев она реализуется как отрицание наличия даже одного элемента некоторого множества: *ни звука, ни пылинки / соринки, ни копейки / гроша, ни души, ни капли, ни грамма, ни крошки, ни грамма, ни грана, ни на йоту*. Отрицание может отсутствовать, что приводит к модификации актуального значения в противоположную сторону – *до копейки*. Модель множества может реализоваться и в ровно противоположной стратегии, когда во внутренней форме указывается на все множество (*всем миром*); все множество и каждый из его элементов (*всем и каждому; все и каждый; ты да я, да мы с тобой*); все множество и отдельный его элемент (*все до последнего, все до единого*) или несколько разных множеств (*все / всё и вся*). Множество может задаваться последовательным перечислением (*по капле, шаг за шагом, капля за каплей, день ото дня, изо дня в день*), представляться формулой, полностью исчерпывающей его содержание – **модель взаимодополняющих подмножеств** (*душой и телом*), множество может указываться по своим крайним членам (*от А до Я, альфа и омега, [и] стар и млад, от мала до велика, [и] нашим и вашим*). С моделью множества тесно связана **модель счета** элементов множества: *потерять счёт, для ровного / круглого счёта, сбиться со счёта / счёту, ровным счётом, не в счёт, сбрасывать со счёта / счетов, на раз, на счёт раз; в два счёта*.

Модель пространства близка модели множества в том смысле, что пространство можно осмыслять как множество точек на поверхности. Модель пространства представлена такими частными моделями, как **нерархическое пространство** (*на край света, край земли; на краю земли; на край земли*), **неиерархическое пространство** (*вдоль и поперёк, от края [и] до края*), **отрицание конечной точки / области пространства** (*без конца и без края, конца-края нет, ни конца ни края*). **Модели времени** также концептуально близки модели множества, поскольку моменты времени естественно осмысляются как элементы упорядоченного множества (кортежа). Ср., например, указание на начальный и конечный момент некоторой временной последовательности (*от зари до зари; от темна до темна; с утра до вечера / ночи*), описание взаимодополняющих интервалов общего временного интервала (*денно и ночью, день и ночь, днями и ночами, днём и ночью*).

Образная часть семантики идиомы часто основывается на сравнении. **Модель эксплицитного сравнения** широко представлена в русской идиоматике. Ср. идиомы как *снежный ком, как по команде, как с куста, [как] по мановению волшебной палочки, [как] по мановению руки, лететь... как на крыльях, нестись... как сумасшедший, бежать как крысы с [тонущего] корабля, стоять / сидеть... как истукан* и т.д. Эта модель может использоваться для указания на самые различные смыслы – ‘быстро’ (*как из пушки, как штык*), ‘много / тесно’ (*как сельди в бочке; как кильки в банке / бочке*), ‘медленно’ (*ползти... как черепаха*), ‘неожиданно’ (*как чёртик / чёрт из табакерки*), ‘окончательно / полностью’ (*разойтись как в море корабли*). Внутри этой модели можно

выделить модель притворного сравнения, которая регулярно реализуется в идиомах для кодировки смысла 'ненужности'. Ср. *нужен как зайцу стоп-сигнал / бубен / триппер / модная болезнь / колокольчик...*; *нужен как козе баян*; *нужен как пятое колесо в телеге*; *нужен как попу гармонь*; *нужен как рыбе зонтик* и т.д.

В русской идиоматике представлены и другие модели внутренней формы. В данном случае существенно, что модель указания на актуальное значение может рассматриваться как важная эвристика для выбора способа описания образа в толковании. Например, модель семантически немотивированного фонетического уподобления основана на случайном фонетическом сходстве лексического компонента реплики собеседника и компонента ответа говорящего. Она используется для указания на неуместность речевого акта собеседника. Ср. речевые формулы [- *Ну?*] – *Дышло гну*; [- *Почему?*] – *По кочану*; [- *Где?*] – *В Караганде*; [- *Кто?*] – *Конь в пальто*; [- *Говорят.*] – [*Где-то*] *кур доят*. Намек на образ в толковании таких форм должен во всех случаях содержать указание на фонетическое сходство. Ср. толкование речевой формулы [- *Ну?*] – *Баранки гну!* в разделе 1.

В образной части толкований идиом *дырка от бублика* и *от жилетки рукава* [*получить...*] (модель несуществующей части объекта) должно указываться, что в метафоре происходит сравнение с чем-то несуществующим:

дырка от бублика = 'полное отсутствие ресурса как результат его несправедливого распределения, сопоставляемое с несъедобной – и более того, нематериальной – частью хлебобулочного изделия, при том что другим досталась съедобная';

от жилетки рукава [*получить...*] = 'не получить ничего от ожидавшегося ресурса из-за его несправедливого распределения, что осмысляется как получение несуществующей части чего-л.'

Описание семантики идиом требует представительной типологии моделей внутренней формы идиом. Идиомы с одинаковыми моделями внутренней формы должны иметь сходные черты в структуре толкования – в отображении внутренней формы.

2.2. Внутренняя форма как предвосхищение актуального значения

Образная составляющая слов и фразеологизмов в целом ряде случаев позволяет предсказать набор их актуальных значений, а также некоторые черты семантики этих значений. Образ в этом случае действует как когнитивная схема – структура знаний, содержащая в свернутом виде опыт взаимодействия человека с окружающим миром. Например, в основе семантики предлогов *кроме* и *помимо* лежат когнитивные схемы движения и пространства, соответственно. В основе *кроме* лежит идея 'нахождения вне пределов чего-либо': в древнерусском языке для аналогичной формы фиксируется значение 'вне, снаружи'. Исходно это местный падеж ед. числа от *крома* (то же, что *кромка*) – 'перегородка' [Фасмер 1964–1973]. Тем самым речь идет о некоторой перегородке, разделяющей пространство (возможно, замкнутое) на две области. Перегородку можно поставить, а можно убрать – отсюда два значения *кроме*: *Единственными свидетелями исторического мгновения, кроме официальных лиц, были тележурналисты* (перегородка снята), *Все вопросы были сняты, кроме одного* (перегородка поставлена). В основе семантики *помимо* лежит идея движения, поскольку он образован от глагола *миновать*. Проходя мимо чего-л., минуя его, мы выводим это из поля зрения (фокуса внимания), однако оно не исчезает вообще. Тем самым, значение «исключения», представленное в семантике *кроме*, у предлога *помимо* отсутствует, поскольку когнитивная схема передвижения допускает появление лишь «объединительного» значения: *Помимо финансовых затрат, реконструкция потребует еще и значительного времени*.

Идиоматика дает еще больше примеров такого рода. Ряд идиом (*про*)чистить мозги, полировать мозги, промывать мозги, сушить мозги основан на образе воздействия

на орган мышления человека – мозг (в варианте *мозги*⁶). Однако характер воздействия влияет как на набор значений этих идиом, так и на содержательные характеристики этих значений. Идиома *(про)чистить мозги* имеет три значения:

1. Говорить что-то адресату, стремясь изменить у него представление о чем-л. и создать нужное субъекту представление об этом, чтобы достичь своих целей. Ср. следующий пример: *Либерал. Хуже нет либералов. Чистить и чистить ему мозги следовало. К примеру, высказывался против индустриализации, против автомобильного транспорта* (Д. Гранин. Картина).

2. Высказывать свое недовольство какому-л. человеку в связи с тем, что он совершил что-то нежелательное, требуя, чтобы он не делал этого в будущем. Второе значение реализуется в таких контекстах: *Алехин отвел Таманцева в сторону и тихо сказал: – Сейчас нет времени, а потом я тебе прочищу мозги! Пора уже повзрослеть!.. В семнадцать ноль-ноль начнется войсковая операция...* (В. Богомолов. Момент истины).

3. Ощущая проблемы с мышлением или осознанием действительности, использовать какой-то стимулятор – алкоголь, сигареты, холодный душ и т. п., – пытаться сделать восприятие более ясным и адекватным. Ср. следующий пример: *Глотнул еще маленько – мозги прочистить от заковырочных вопросов* (Юз Алешковский. Синенький скромный платочек).

Внутренняя форма в первом и втором случае «работает» похожим образом, а в третьем – иначе. В первом и втором случаях манипуляции с органом мышления приводят к удалению нежелательных мыслей адресата – той грязи, которая как бы покрывает мозг: «что описывается как удаление нежелательного содержания, осмысляемого как грязь, с органа адресата, отвечающего, согласно обыденным представлениям, за рациональное мышление». В третьем значении внутренняя форма высвечивает семантику удаления грязи как преграды к нормальному мышлению: «как бы удаляя грязь, мешающую нормально думать и воспринимать, со своего органа, отвечающего, согласно обыденным представлениям, за рациональное мышление». Ни одна из других приведенных идиом этого ряда не имеет такого набора значений. Казалось бы близкая по образу идиома *промыть мозги* имеет только одно значение, почти идентичное первому значению идиомы *(про)чистить мозги*, при этом у нее не развилось ни второе, ни третье значение идиомы *(про)чистить мозги*. Нельзя сказать ^{??}*Сейчас нет времени, а потом я тебе промю мозги!* или ^{??}*Глотну маленько – надо промыть мозги*. Все дело в том, что промывание не обязательно предполагает удаление с помощью воды именно грязи. Промывать можно рыбу от песка или травы, промывают золотоносную породу, вода может промыть протоку и т. д. Таким образом, промывание от грязи в принципе возможно, но не обязательно. Именно это становится ограничителем для образования второго и третьего значений, аналогичных значениям идиомы *(про)чистить мозги*.

Идиома *полировать мозги* основана на образе такого воздействия на объект, которое лишает этот объект неровностей и придает ему гладкий и блестящий вид. Такой образ допускает возникновение значения, похожего на первое значение идиомы *(про)чистить мозги*, однако, в отличие от *(про)чистить мозги*, идиома *полировать мозги* не предполагает обязательное изменение уже существующих представлений у адресата. Она, скорее, фокусирует внимание на создании нужных представлений: «Говорить что-то адресату, стремясь создать у него нужное субъекту представление о чем-л., чтобы достичь своих целей». Это опять-таки связано с образом, лежащим в основе этой идиомы: полировка не предполагает удаление чего-то, что могло отождествляться в

⁶ Для простоты абстрагируемся здесь от проблемы соотношения между концептами, стоящими за словами *мозг* и *мозги*: если в первом случае имеется в виду «орган мышления», то во втором для некоторых идиом что-то вроде «мыслящей субстанции в голове человека» (ср. *сушить мозги*), а для других – «устройство, механизм с функцией мышления» (ср. *прочистить мозги*, *полоскать мозги*, *промывать мозги* и т. п.).

образе с нежелательными мыслями. По той же причине у идиомы *полировать мозги* не возникли второе и третье значения, аналогичные соответствующим значениям идиомы *(про)чистить мозги*.

Образ, заложенный в идиоме *сушить мозги*, радикально отличается от внутренних форм только что рассмотренных идиом. В нем высвечивается идея лишения необходимой жидкости, что делает невозможным появление значений, возникших у идиом *(про)чистить мозги*, *полировать мозги*, *промывать мозги*. Лишение мозга необходимой жидкости в первую очередь приводит к расстройству мышления и возникновению негативно оцениваемого эмоционального состояния:

Сушить мозги (кому-л.) = 'Бессмысленными долгими нудными или неуместными размышлениями, рассказами, претензиями, наравоучениями, враньем и т. п. приводить других людей (или самого себя) в негативное психическое состояние, характеризующееся заторможенностью и затрудненностью мышления, отрицательными эмоциями и т. п., как бы лишая необходимой жидкости орган, отвечающий, согласно обыденным представлениям, за рациональное мышление'.

Из сказанного следует, что образ влияет как на состав развивающихся у идиомы значений, так и на характер этих значений. К настоящему времени во фразеологии отсутствуют какие бы то ни было инструменты, которые позволяли бы предсказывать и объяснять хотя бы на относительно регулярной основе связь между внутренней формой и актуальными значениями идиом. В идеале хотелось бы иметь набор правил вида «Удаление плохого [образ] → Изменение ситуации к лучшему [актуальное значение]». По такой схеме устроено взаимодействие между внутренней формой и актуальным значением не только идиомы *(про)чистить мозги*, но и таких фразеологизмов, как *сбросить / снять камень с плеч* или *пелена упала с глаз*. Выявление типичных способов взаимодействия образа и актуального значения – одно из важнейших и перспективных направлений исследований.

Потенциал образа – возможность разнообразных интерпретаций ситуации, соответствующей образу – задает и возможности развития значений идиомы, то есть структуру ее полисемии. Изучение структуры полисемии идиом – еще одна важная задача семантического описания фразеологии.

3. СТИЛЬ: ФОРМА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА

Как показывает анализ материала, на стилистические характеристики идиомы влияют, как минимум, три фактора: актуальное значение, внутренняя форма (образ) и лексический состав. Очевидно, что существуют смыслы, которые больше «тяготеют» к стилистически нейтральному способу выражения, и смыслы, для которых более естественно использование сниженных или, наоборот, высоких регистров речи. Так, таксон хорошо-плохо содержит довольно значительное количество сниженных идиом, в том числе обценных. Ср. *будьте-наше* прост., *будь-будь* прост., *разлюли-малина* снижен., *[ещё] хоть куда* прост., *чин-чинарём* прост., *остатки сладки* прост., *чёрт бы побрал (кого-л./что-л.)* снижен., *всё чики-ники* снижен. жарг., *всё чих-ных* снижен. жарг., *не ахти* прост., *жуть с ружьём* снижен., *не того* снижен. Аналогично с точки зрения стиля организован таксон ненужность-бесполезность, ср. *не пришей кобыле хвост* снижен., *[толку/проку] как от/с козла молока* снижен., *на кой* снижен.

С другой стороны, обнаруживаются смыслы, которые тяготеют к более нейтральному и высокому стилистическому регистру. Типичным примером такого типа следует считать идиомы с семантикой выражения временных отношений. Здесь на фоне нейтрального для идиоматики разговорного регистра большое количество книжных и высоких идиом. Ср. идиомы *от века* устар. высок., *во время оно* высок., *пыль веков* высок., *сдать в архив (кого-л./что-л.)* книжн., *уходить [своими] корнями (во что-л.)* книжн., *с быстротой молнии* книжн., *[как] по мановению руки* книжн., *до второго*

пришествия книжн., до скончания века книжн., до гробовой доски книжн., золотой век книжн., [ещё] на заре (чего-л.) книжн.; на заре туманной юности книжн., с колыбели книжн., час... между волком и собакой; час... между собакой и волком книжн., младое племя высок., бальзаковского возраста книжн., во цвете лет книжн. Велико в этом таксоне и содержание нейтральных идиом: в разгаре нейтр.; в разгар (чего-л.) нейтр., с утра до вечера / ночи нейтр., медовый месяц нейтр., бархатный сезон нейтр., шаг за шагом нейтр., от случая к случаю нейтр.

Второй фактор – внутренняя форма, образ, лежащий в основе актуального значения идиомы. Внутренняя форма идиомы может содержать какие-то специфические компоненты, влияющие на прагматические условия ее употребления – ср. пару идиом *имя им легион* vs. *их как грязи*, выражающих один и тот же смысл «большого количества». Первая получает помету *книжн.*, а вторая – пометы *снижен. жарг.* Очевидно, что стилистическое противопоставление этих форм объясняется, с одной стороны, библейским происхождением первой, а с другой – явно сниженным образом грязного, заложенным во второй.

Третий фактор – лексический состав идиомы. Понятно, что если в состав идиомы входят стилистически окрашенные лексемы, то их стилистические особенности распространяются на всю идиому в целом. Например, *по пьяни* – просторечная идиома, поскольку слово *пьянь* просторечно. Следует иметь в виду, что хотя связь между лексическим составом и образом часто присутствует, это совсем не обязательно. В идиоме *по пьяни* никакого ясно ощущаемого образа нет вообще. К лексическому составу относится и наличие рифмы. Так, в идиоме [– ... муж?] – *Муж объелся груш.* ни одно из слов не является стилистически сниженным. Важным стилеобразующим фактором здесь является рифма.

Установленные факторы, влияющие на дискурсивные характеристики идиом, очевидно, не исчерпывают все существующие возможности. Необходимо исследовать стилистические особенности идиом для выявления новых факторов, а также исследовать значимость отдельных факторов при их конкуренции. Так, для некоторых идиом выявить причины их стилистической сниженности не удастся, ср. *с концами, сделать ноги*, при том что идиома *унести ноги* просто разговорная. Выражение *переть на рожон*, будучи исходно библеизмом (ср. слова Иисуса, обращенные к Савлу: *жестокости есть противу рожна прати* – Деяния 26, 14), относится, тем не менее, к сниженным идиомам. Очевидно, это происходит из-за глагола *переть*. Почему стилистические характеристики именно этого глагола оказываются более значимыми, чем этимологический фактор, остается не вполне понятным и требует дополнительного изучения.

4. ФАКТОРЫ ВАРЬИРОВАНИЯ И ИГРОВОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ИДИОМ

Одна из характерных особенностей идиоматики – нестандартное употребление, проявляющееся, в частности, в варьировании формы и контекста языковой игры. Как и в предшествующих разобранных случаях, феномен нестандартного употребления представляет собой равнодействующую от множества разнообразных факторов, по большей части почти не изученных. Очевидно, что мощный фактор, способствующий нестандартным употреблением идиомы – это живой и богатый образ, фиксированный во внутренней форме. Так, образный компонент идиомы *ни в какую* почти не осознается носителями русского языка. Как следствие, хотя эта идиома довольно употребительна, игровых контекстов в имеющейся базе данных не обнаружено: на 21 контекст употребления нет ни одного нестандартного контекста. Совершенно иная ситуация с идиомой *вешать лапшу на уши* – из 60 употреблений этой идиомы в базе данных 20 относятся к нестандартным: *сидит весь в этой лапше по самые уши, что она свешивается у него с плеч; Вешал на уши злую лапшу / Ходокам и английским фантастам; покачала лапшой на ушах; Ты мне на мозги макароны не вешай.* Живой – отчасти сюрреалистический – образ стимулирует творческие потенции носителя языка, заставляя его расширять горизонты языковой способности.

Не все, однако, в феномене нестандартных употреблений идиоматики объясняется образной составляющей. Например, идиома *поезд ушел* основана на живом образе. И действительно, в контекстах с семантикой 'констатация того, что нечто нужное и важное, что можно было бы с успехом сделать раньше, в настоящий момент сделать невозможно или не имеет смысла, поскольку это не даст нужных результатов' обнаруживается 8 игровых употреблений. Ср. контексты следующего типа:

А мода-то, вот она, уж двенадцать лет, как прошла, опоздала, милая, *скорый поезд ушел!* (В. Делоне. Портреты в колючей раме); – *Этот поезд от нас ушел, забудь. Зато нас ждет белоснежный лайнер с местами в каюте первого класса! Вот ради чего стоит прожить остаток жизни* (В. Валущий. Зимняя вишня); *Поезд ушел, промахнул на слепой скорости все станции с любезными сердцу названиями, назад не воротись...* (Ю. Семенов. Межконтинентальный узел).

Однако эта идиома имеет и другое употребление с семантикой 'указание на то, что нечто, вызывавшее беспокойство и опасения – события, происшествия, чьи-л. действия и т. п., подобно ушедшему поезду, закончилось и, тем самым, не должно более вызывать опасений.' Ср. примеры типа – *Папочка, поезд уже ушел, все нормально, а тебе сейчас надо спать*. В этом значении нестандартных употреблений в имеющейся базе не зафиксировано вовсе. Конечно, отчасти это объясняется меньшей употребительностью данного значения. Однако вряд ли это единственная причина полного отсутствия нестандартных контекстов при очевидной живости образа. Наверное, это связано и с тем, что второе значение, в отличие от первого, отражает положительно оцениваемую ситуацию. В любом случае понятно, что описание таких особенностей нестандартного употребления идиом требует дополнительных исследований.

5. СИНТАКСИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИДИОМ

5.1. Отрицание в идиомах

Как известно, фразеология – это сфера нерегулярного, демонстрирующая, впрочем, свои особые закономерности. Отрицание идиом в этом отношении неуникально: его введение в идиому не всегда дает предсказуемый результат. В ряде исследований было показано, что глагольные идиомы по отношению к отрицанию разделяются на несколько подгрупп: 1) **сильные эксплицитно-негативные идиомы**, включающие отрицание как составную часть словарной формы и не допускающие его элиминации (ср. *Работа у него не бей лежачего* при неправомерности **Работа у него бей лежачего*); 2) **слабые эксплицитно-негативные идиомы**, включающие отрицание как составную часть словарной формы и допускающие его элиминацию в некоторых видах контекстов (ср. идиому *не тронуть [и] пальцем (кого-л.)*, теряющую отрицание в контекстах угрозы и в предложениях условия: *Если ты тронешь его хоть пальцем, смотри!*); 3) **сильные эксплицитно-позитивные идиомы**, не содержащие отрицания в словарной форме и не допускающие введение отрицания (ср. *Он тебе в отцы годится* при невозможности **Он тебе в отцы не годится*); 4) **слабые эксплицитно-позитивные идиомы**, не содержащие отрицания в словарной форме, но допускающие введение отрицания (ср. идиому *вешать лапшу на уши*, в принципе не пропускающую отрицания, но требующую его в определенных формах, например, в императиве: – *Вы, говорю, змеи, не вешайте мне лапшу на уши!* (Абрам Терц. Голос из хора)) [Баранов, Юшманова, 2000; Баранов, Добровольский 2008: 289–323].

Контексты пропускания отрицания для слабых эксплицитно-позитивных и эксплицитно-негативных идиом обсуждались в литературе. К ним относятся, например, речевые акты запрета и предостережения, ср. *Не крути мозги!*, *Не забивай себе голову!*; контекст цитации (<...> *редакции стали настоятельно советовать «не гнать волну» и «притушить» дискуссию по поводу пограничного (Известия)*); контекст будущего

времени (*Ты как хочешь, но я за целковый на задних лапах ходить не буду!*); условные конструкции (*Если Россия не возьмется за ум, она останется на обочине*); придаточные предложения с семантикой цели (*<...> я просился на строгий режим или в тюрьму как раз с той самой целью, чтоб грех на душу не брать* (В. Делоне. Портреты в колючей раме)); некоторые типы вопросительных предложений (*– А за изменение текста сценария на озвучивании нам по мозгам не дадут?*).

За пределами обсуждения остались семантические и синтаксические характеристики сильных эксплицитно-позитивных и эксплицитно-негативных идиом. Судя по всему, полный запрет на пропускание отрицания (или его снятие) непосредственно связан с их семантикой – с актуальным значением и внутренней формой. Некоторые закономерности выявляются сравнительно легко на первом этапе анализа. Так, не пропускают отрицания сентенциальные идиомы типа *а ларчик просто открывался, бабушка надвое сказала, вернемся к нашим баранам*. Во многом это объясняется фиксацией структуры идиом такого типа: в них просто не предусмотрено место для введения отрицания. Как правило, не сочетаются с отрицанием идиомы, в поверхностной структуре которых представлен союз *как* и его аналоги: *бежать как черт от ладана, беречь как зеницу ока, везет как утопленнику, будто в воду смотреть, будто ветром сдуло, врать как сивый мерин, расти как грибы*. По-видимому, это связано с противоречием между актуальным значением и внутренней формой этих идиом. Обычные сравнения проницаемы для общего отрицания, которое синтаксически связывается с *как*: *Неверно, что он делает все как я → Он делает все не как я*. Аналогично изменяется и семантическая структура, в которой представлен предикат сравнения. Однако актуальное значение идиом рассматриваемого типа сравнения, как правило, не содержит: *Х бежит от Y-а как черт от ладана* $\approx$ '*Х не желает иметь дело с Y-ом и предпринимает для этого активные усилия*'; *Х-ы растут как грибы* $\approx$ '*Х-ы очень быстро количественно увеличиваются*'. Отрицание в идиомах такой структуры должно было бы вводиться по стандартной схеме, то есть к союзу *как* во внутренней форме, однако в актуальном значении этому союзу ничего не соответствует, поскольку сравнительный оборот – это лишь способ указания на высокую степень проявления признака – *Magn*. Именно это и оказывается причиной непропускания отрицания.

Отметим, что и в других случаях, где присутствует идея высокой степени проявления признака, введение отрицания существенно затруднено, ср. *беречь пуще глаза / глазу, бить ключом, бить через край, покраснеть до корней волос, выдать с головой*. Здесь действует общее правило: отрицание, будучи не только семантическим, но и синтаксическим феноменом, «работает» с внутренней формой, а внутренняя форма идиом – это лишь способ кодирования актуального значения. Если способ кодирования актуального значения во внутренней форме и само актуальное значение образуют композиционную структуру, то отрицание пропускается более регулярно. В тех же случаях, когда идиома семантически нечленима, введение отрицания осложнено, ср. *медведь на ухо наступил (кому-л.)*. Появление отрицания в этом случае может дать эффект материализации метафоры, фиксированной во внутренней форме. Понятно, однако, что свойства сильных эксплицитно-позитивных и сильных эксплицитно-негативных идиом, влияющие на невозможность введения или элиминации отрицания, требуют особого обсуждения, причем, как и в других рассмотренных случаях, здесь требуется учет разнообразных факторов – характера актуального значения, характеристик внутренней формы, степени членимости идиомы, семантики контекста.

5.2. Пассивизация идиом: взаимодействие семантики и синтаксиса

Идея взаимодействия различных факторов функционирования фразеологии и, соответственно, необходимость факторного анализа хорошо видны на примере пассивизации идиом. Для пассивизации могут быть сформулированы условия, соблюдение которых позволяет осуществлять эту трансформацию, не нарушая требований узуса.

Глаголы и глагольные фразеологизмы могут пассивизироваться только в том случае, если они осмысляются как лексемы с **агентивно-переходной семантикой**. Специфичным для идиоматики оказывается требование агентивно-переходной интерпретируемости не только относительно актуального значения, но и относительно образной составляющей. Иными словами, идиома, прочитанная буквально, также должна допускать агентивно-переходную интерпретацию. Например, идиома *быльем поросло* в принципе не может образовывать пассив, так как ни ее актуальное значение, ни ее внутренняя форма не интерпретируемы как агентивно-переходные. Идиома *мерить всех на свой аршин*, взятая в буквальном значении, обладает агентивным значением, но ее актуальное значение описывает не действие, а некоторое ментальное состояние субъекта (нечто вроде 'будучи неспособным встать на точку зрения других людей или не желая это делать, руководствоваться в своих суждениях исключительно собственными ценностными представлениями'), поэтому вряд ли возможно сказать *?? всё мерилось (им) на его аршин*.

Помимо общего семантического требования агентивно-переходной интерпретируемости идиомы, существуют и другие – семантико-синтаксические – предпосылки пассивизации. В компонентном составе идиомы или в ее актантной рамке должна присутствовать именная группа, способная к продвижению в позицию подлежащего. Эта общая предпосылка реализуется в сфере идиоматики в двух вариантах:

1) в валентностной структуре идиомы должна присутствовать валентность, актант которой способен взять на себя функцию подлежащего; ср. *связать по рукам и ногам кого-л.* → *кто-л. был связан по рукам и ногам, стереть в порошок кого-л.* → *кто-л. был стерт в порошок, взять на abordаж кого-л.* → *кто-л. был взят на abordаж, предать анафеме кого-л./что-л.* → *кто-л./что-л. был(о) предан(о) анафеме, размазать по стенке кого-л.* → *кто-л. был размазан по стенке, встретить в штыки что-л.* → *что-л. было встречено в штыки*;

2) именная группа, перемещаемая в позицию подлежащего, является компонентом самой идиомы (а не просто ее валентностью) и должна в этом случае обладать относительно самостоятельным значением; ср. *спутать все карты* → *все карты были спутаны, испортить всю обедню* → *вся обедня была испорчена, дать зеленый свет* → *зеленый свет был дан, взять барьер* → *барьер был взят*.

Само собой разумеется, что предложенное здесь правило пассивизации регулирует лишь принципиальную возможность образования соответствующих форм. Реальная употребительность этих форм зависит от ряда причин, выходящих за рамки соотношения семантики и синтаксиса в точном смысле – в первую очередь от коммуникативной целесообразности пассивизации в каждом конкретном случае и от узуса каждого конкретного языка на данном этапе его развития. Это становится особенно очевидным при сопоставлении разных языков. Лингвоспецифические аспекты узуализации пассивных конструкций становятся очевидными, например, при сопоставлении русской идиомы *взять быка за рога* с немецкой *den Stier bei den Hörnern packen*. Ср. сомнительное выражение *?? Бык снова был взят за рога, задача была решена* и совершенно узуальное немецкое выражение *Der Stier ist auch heute wieder bei den Hörnern gepackt worden; man hat die Aufgabe gelöst* (пример В. Фляйшера [Fleischer 1997: 50]).

В целом использование семантического потенциала, заложенного во внутренней структуре идиомы, до известной степени индивидуально – зависит от языковой компетенции каждого конкретного говорящего. Иными словами, поскольку степень членимости идиомы может быть различной, в случаях ее слабой выраженности остается место для индивидуального варьирования в интерпретации. Видимо, важным фактором, влияющим на синтаксическое поведение идиомы, оказывается степень узуализованности грамматической формы пассива для выражения тех или иных смыслов в разных языках и в разных типах дискурса. Известно, что пассив как грамматическая категория в английском языке более регулярна, чем в немецком, а в немецком – более регулярна, чем в русском. Понятно, что это влияет на пассивизацию идиом, но в какой мере и как – не вполне ясно.

Имеются и другие примеры нарушения сформулированного принципа пассивизации идиом. В некоторых случаях очевидной семантической нечленимости идиомы пассивизация тем не менее оказывается возможной. Ср. *вылить ушат холодной воды (на кого-л.)* → *(на кого-л.) был вылит ушат холодной воды*, *поставить крест (на ком-л./чем-л.)* → *(на ком-л./чем-л.) был поставлен крест*. Значение идиомы *поставить крест* в силу устройства лежащей в ее основе метафоры плохо членится на семантически самостоятельные фрагменты, изоморфные компонентам *поставить* и *крест*. Ср. недопустимость трансформаций типа **крест, который был на нем поставлен* или **какой крест был поставлен на нем?* Одно из возможных объяснений состоит в том, что здесь имеется рассогласование синтаксиса и семантики. В топиальную позицию выносятся не компонент *крест*, который формально становится подлежащим, а актант, заполняющий пациенсную валентность (или какой-либо другой семантически прозрачный член предложения); ср. нейтральное высказывание *На Иване Ивановиче был поставлен крест* без контрастивного выделения, с одной стороны, и высказывание *Крест был поставлен на Иване Ивановиче*, явно требующее специальных контекстных условий и специфической просодии, – с другой. Окончательный вывод о причинах подобных отклонений от общего правила можно будет лишь сделать на основе обобщения достаточно представительного языкового материала.

5.3. *Пойти поразительным прахом или дать коммерческий мах* (ввод определения в структуру идиомы)

Еще одна лексико-синтаксическая трансформация, которая встречается при употреблении идиом – это введение определения. Для одних идиом эта операция тривиально осуществима (*попасть в переплет* → *попасть в жестокий / крутой / жуткий переплет*). Для других идиом она либо вообще невозможна, либо допустима только в случае языковой игры или в специальных контекстах (*ходить ходуном* → *ходить отъявленным ходуном*).

Анализ показывает, что данная модификация стандартно допустима при соблюдении двух условий.

1. Идиома должна быть семантически членимой, причем чем большей семантической автономностью обладает именная группа в составе идиомы, тем более нормальной оказывается данная модификация (**условие семантической членимости**).

2. Вводимое в структуру идиомы прилагательное не должно вступать в семантическое противоречие ни с ее актуальным значением, ни с ее буквальным прочтением, т.е. с образной составляющей (**условие семантического согласования**)⁷.

Например, в идиоме *бередить раны* именной компонент *раны* явно автономен, а прилагательное *старые* хорошо сочетается и с его буквальным и с его метафорическим значением. Тем самым, выражение *бередить старые раны* оказывается абсолютно нормальным. С другой стороны, выражение *сухая капля в многомиллионном море* ощущается как нарушающее норму. Причина в том, что прилагательное *многомиллионное* не сочетается со словом *море* в прямом значении: такое сочетание возможно только в идиоматическом понимании, т.е. как ‘нечто огромное, насчитывающее многие миллионы сущностей’, но не в буквальном. В целом, чем больше противоречие между актуальным значением идиомы, ее внутренней формой, с одной стороны, и семантикой прилагательного – с другой, тем сильнее отступление от стандарта. Требование семантического согласования градуально еще и в том смысле, что условие сочетаемости, не противоречащей внутренней форме, играет тем большую роль, чем сильнее мотивированность данной идиомы. В тех случаях, когда метафора жива, это требование должно выполняться строже, чем в случаях, когда образ, лежащий в основе внутренней формы идиомы, практически стерт.

⁷ См. подробнее [Добровольский 2007].

Нарушение условия семантического согласования может быть в принципе двух видов. Если вводимое определение семантически согласовано с актуальным значением идиомы, но вступает в содержательное противоречие с ее внутренней формой, результирующие контексты имеют вид типа *расхлебывать эту финансовую кашу*. Вводимое прилагательное привязывает идиому к тематике данного контекста *ad hoc* и соответствующим образом конкретизирует ее значение, т. е. мы имеем дело с контекстно-зависимой модификацией. А если вводимое определение вступает в семантическое противоречие с актуальным значением идиомы, высвечивая тот или иной аспект ее внутренней формы, порождаются контексты типа *милиционеры попали в неприятную прохладную лужу*. Прилагательные в данном случае фокусируют метафору, лежащую в основе внутренней формы идиомы. Поскольку актуальное значение идиомы при этом все равно реализуется, возникает эффект двойной актуализации, когда в силу особенностей контекста в фокусе одновременно оказывается и актуальное значение идиомы, и ее образная составляющая.

Как показывает изучение материала, в текстовых корпусах современного русского языка легко найти значительное количество нестандартных употреблений идиом такого рода. Иными словами, они являются реальной частью современного словоупотребления, отражая языковую компетенцию носителей. Возникает вопрос, почему их так много и что определяет столь широкое нестандартное употребление идиоматики.

5.4. Проблема описания каузативов

Семантическая структура каузативов представляет определенную проблему как с точки зрения лексикографии, так и для теоретического описания семантики идиом. Априори можно было бы ожидать, что каузативы семантически симметричны, т. е. что их значения различаются ровно на один компонент – ‘Р’ vs. ‘сделать так, чтобы Р’. Действительно, во многих случаях подобная симметрия имеет место. Ср. *получить (что-л.) на блюдечке [с голубой каёмочкой]* ‘получить что-л. в готовом для использования виде, не затратив для этого ни малейших усилий, что обычно оценивается отрицательно’ vs. *принести (что-л. кому-л.) на блюдечке [с голубой каёмочкой]* ‘сделать так, чтобы кто-л. получил что-л. в готовом для использования виде, не затратив для этого ни малейших усилий, что обычно оценивается отрицательно’. Однако в сфере идиоматики встречается немало случаев, когда подобная симметрия отсутствует. В частности, каузативы могут различаться набором значений. Ср. идиомы *прийти к общему / единому / одному знаменателю* и *привести к общему / единому / одному знаменателю (что-л.)*. Первая идиома имеет лишь одно значение ‘(о людях) в результате обсуждения согласовать свои, изначально различавшиеся, мнения, представления и т. п. о чем-л.’: *Гипотез о том, почему междоусобица, то затихая, то вспыхивая вновь, тянется вот уже тысячи лет, существует множество. Но ученые все никак не придут к общему знаменателю* (Огонек). Между тем, вторая идиома имеет два значения: 1) ‘сделать так, чтобы некоторые явления, объекты действительности, их свойства и т. п. стали в своей основе иметь много общего’ и 2) ‘сделать так, чтобы какие-л. явления, объекты действительности, их свойства и т. п. приобрели общие для всех усредненные характеристики, что оценивается говорящим отрицательно’; ср. характерные контексты:

Объединение финансовых и художественных усилий – обычное дело в практике СМИ. Точно так же понятно стремление московских телебоссов *привести к общему знаменателю* всю районную кабельную самодеятельность [Корпус Публицистики] (значение 1); Редакторы намеренно не пытались *привести* мнения авторов статей и используемые каждым из них методы исследования *к общему знаменателю*, предпочтя продемонстрировать разнообразную палитру практикующихся в современном музыкознании аналитических методик [Корпус Публицистики] (значение 2).

Важно подчеркнуть, что ни одно из этих значений не может быть представлено как простое производное от значения идиомы *прийти к общему/единому/одному знаменателю* по правилам образования каузатива. Остается непонятным, есть ли какие-то хотя бы относительно универсальные факторы, предсказывающие семантическую нерегулярность образования каузатива в подобных случаях.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очевидно, что термин «факторный анализ» используется нами здесь скорее в метафорическом смысле, т.е. не как формальная процедура, за которой стоит серьезный математический аппарат, а как исследовательская эвристика, исходящая из того, что описание рассмотренных явлений фразеологии невозможно без учета самых разнообразных параметров. На первый взгляд, эти параметры представляются автономными. Однако более внимательный анализ показывает, что многие из этих факторов связаны друг с другом, причем часто в центре этих связей стоит внутренняя форма. Она влияет и на актуальное значение идиомы и на ее прагматику, а также на лексико-синтаксические трансформации ее структуры, на характеристики стиля и даже на сферу нестандартных употреблений.

Исследование намеченных здесь проблемных областей требует привлечения значительного эмпирического материала и обращения к категориальному аппарату современных семантических теорий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Баранов, Добровольский 2008 – *А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский*. Аспекты теории фразеологии. М., 2008.
- Баранов, Юшманова 2000 – *А.Н. Баранов, С.И. Юшманова*. Отрицание в идиомах: семантико-синтаксические ограничения // ВЯ. 2000. № 1.
- Добровольский 2007 – *Д.О. Добровольский*. Лексико-синтаксическое варьирование во фразеологии: ввод определения в структуру идиомы // Русский язык в научном освещении. 2007. № 2.
- Митина, Михайловская 2001 – *О.В. Митина, И.В. Михайловская*. Факторный анализ для психологов. М., 2001.
- Михельсон 1902–1903 – *М.И. Михельсон*. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии: В 2 т. СПб., 1902–1903.
- Фасмер 1964–1973 – *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1964–1973.
- Харман 1972 – *Г. Харман*. Современный факторный анализ. М., 1972.
- Fleischer 1997 – *W. Fleischer*. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen, 1997.

© 2009 г. К.И. ПОЗДНЯКОВ

О ПРИРОДЕ И ФУНКЦИЯХ ВНЕМОРФЕМНЫХ ЗНАКОВ

В статье обобщаются предварительные результаты, полученные автором в ходе многолетних исследований в еще не оформившейся области языкознания. Речь идет, прежде всего, об исследовании субморфов (в якобсоновском понимании этого термина), то есть неморфемных (внеуровневых) языковых знаков типа знака *-аши* в оппозиции *наши – ваши*, обозначающего местоимения-локуторы множественного числа. В наиболее общем виде, в статье рассмотрены разнообразные техники, к которым обращается язык для того, чтобы формально объединить отдельные знаки в парадигму, а отдельные парадигмы – в группу смежных парадигм. Статья могла бы называться совсем иначе, например: «Синхронные функции диахронических изменений по аналогии».

Что общего в словоформах *горилла – говорила, this – that, попытка – не пытка, жить – поживать, туда – куда, стелить – постель, мороженое – *пирожное, редко – метко, приватизация – прихватизация, учить – учитель, древними – поверьями, наши – ваши, упасть – в пропасть, what – where, желток – *белток, глаз – алмаз, подлый – Леопольд?*

На самом деле, общего не так уж и мало:

1) словоформы сгруппированы в пары, члены которых «связаны», – такие слова К. Чуковский точно назвал «двустворчатыми» [Чуковский 2001];

2) члены пар включают как различающиеся, так и одинаковые звуковые сегменты, то есть их объединение в пару маркируется общей формальной приметой;

3) в сознании говорящих для каждой пары отмечается массовая ассоциация между «створками раковины»: название одного члена пары с повышенной вероятностью вызывает ассоциацию с другим ее членом, что фиксируется ассоциативными словарями.

Приведенный список выглядит, по меньшей мере, странно: в нем через запятую приводятся факты языка (*наши – ваши*) и речи (*приватизация – прихватизация*); лексики (*попытка – не пытка*) и грамматики (*туда – куда*); наряду с очевидными парадигмами (*редко – метко*) и с менее очевидными парадигмами (*учить – учитель*, так называемая «деривационная парадигма») приводятся пары, которые составляют синтагмы (*древними – поверьями, упасть – в пропасть*); правильные формы (*this – that*) соседствуют с неправильными (*мороженое – *пирожное, желток – *белток*), а литературные цитаты (*подлый – Леопольд*) – с языковыми (*глаз – алмаз*). Общая формальная примета является в одних случаях морфемной (*упасть – в пропасть, стелить – постель*), а в других случаях – неморфемной (*what – where, горилла – говорила*). Тем не менее, сопоставление этих пар оказывается продуктивным, если предметом исследования является выявление разнообразных техник, которые использует язык для того, чтобы **формально эксплицировать сходство** двух различных знаков.

Сгруппируем приведенные пары по наиболее существенным признакам (1):

(1)	частичное сходство	I. Язык	II. Речь
1. Парадигма	А. неморфемное	наши – ваши, туда – куда	мороженое – *пирожное, желток – *белток
	Б. морфемное	учить – учитель	приватизация – *прихватизация

2. Синтагма	А. неморфемное	редко да метко, глаз – алмаз	горилла говорила, древнее поверие, хрупкий хрусталь
	Б. морфемное	жить – поживать, попытка – не пытка, городить огород	упасть в пропасть, стелить постель

Ячейками этой таблицы занимаются специалисты самых различных профилей: стиховеды (II.2.A), специалисты по детской речи или же по речевым афазиям (II.1.A), лингвисты, интересующиеся паронимией (II.1.B), специалисты в области деривации (I.1.B), специалисты в области фразеологии (I.2.A и I.2.B). В фокусе самых разнообразных лингвистических дисциплин (когнитивистика, лингвистика текста, социолингвистика и др.) оказывается сам переход слов и синтагм из колонки II (Речь) в колонку I (Язык), в тех случаях, когда индивидуальные речевые употребления закрепляются в языке и начинают фиксироваться в словарях.

Только для ячейки I.1.A (неморфемное сходство членов парадигмы в языке) не существует конкретной области. В определенном смысле приведенными в I.1.A примерами интересуется фонология, хотя бы потому, что здесь часто встречаются минимальные пары. Но ведь методика выявления фонем по минимальным парам ориентируется на **различающиеся** сегменты в *какой – такой* (/к/ ~ /т/) или *тело – дело* (/т/ ~ /д/), а не на **совпадающий** сегмент – **-акой** или **-ело**. Исследованием же неморфемных и внеуровневых сегментов, которые являются **общими** для членов парадигмы, **субморфами**, занимались и занимаются отдельные лингвисты (на материале русского языка – прежде всего, Р.О. Якобсон, А.А. Зализняк, Вяч.Вс. Иванов, А.А. Реформатский). Речь, однако, не идет здесь о конкретной области языкознания. Такой области нет.

Данная статья подводит предварительный итог наблюдениям, которые были изложены в предыдущих публикациях автора, посвященных этой несуществующей области. Сконцентрируемся на этой загадочной ячейке I.1.A, то есть на неморфемных унификациях в парадигмах. План статьи определяется следующими задачами: 1) показать на новом материале, не использованном в предшествующих публикациях, что мы имеем дело не с маргинальными экзотическими фактами, а с феноменом, который системно проявляется в большинстве языков на всех языковых уровнях; 2) выявить некоторые функции этого явления, главная из которых – интеграция отдельных знаков в систему; 3) обсудить некоторые теоретические положения, связанные с интерпретацией приведенных данных. Нас будут интересовать не только синхронические, но и диахронические аспекты исследования субморфных унификаций.

Статья имеет следующую структуру:

- 1. Субморфы: морфология и лексика.** Рассматриваются многочисленные примеры субморфов в системах местоимений. В отдельном параграфе анализируются субморфы, выделяемые в лексике русского языка по данным Ассоциативного словаря [РАС 2002].
- 2. Субморфы: синхрония и диахрония.** Обсуждается проблема реальности субморфов в синхронии, а также процессы формирования и эволюции субморфов в диахронии. В частности, анализируются синхронные функции диахронических изменений по аналогии.
- 3. Парадигма: нейтрализации и субморфы.** Рассматривается характер парадигматического распределения **субморфов**, с одной стороны, и **морфемных нейтрализаций**, с другой. Аргументируется тезис о том, что эти два распределения имеют дополнительный характер, а следовательно – являются взаимозависимыми.
- 4. Обсуждение.** В заключение обсуждаются теоретические вопросы, связанные с функционированием субморфов, – в частности, функции субморфов в связи с функциями синкретичных морфем и с организацией парадигмы в целом; проблемы, связанные с теорией нейтрализации; разнообразные языковые стратегии сигнализации сходства различающихся знаков.

1. СУБМОРФЫ: МОРФОЛОГИЯ И ЛЕКСИКА

Термин «субморф» здесь и ниже употребляется в том значении, в каком он используется, в частности, Вяч.Вс. Ивановым (см., например, раздел «Субморфы и их диахроническая значимость» в [Иванов 2004]). В концепции В.Г. Чургановой [Чурганова 1973] этот термин имеет принципиально иное значение. Субморфы В.Г. Чургановой, как известно, похожи на морфемы, но, в отличие от последних, не имеют значения (-*ец* в *венец*). По Р. Якобсону и Вяч.Вс. Иванову, субморфы, напротив, характеризуются самостоятельными значениями, не являясь при этом морфемами [так, сегмент [к-] в парах *какой – такой*, *как – так*, *куда – туда* (ср. во французском языке *quel – tel*), приобретает значение вопросительности, а сегмент [т-] – утвердительности]. Отметим, что термин «субморф» используется здесь за неимением лучшего термина. Вопрос о том, почему он неудачен и какие альтернативные термины можно было бы предложить, будет рассмотрен в конце статьи, после того, как будут проанализированы функции такого рода сегментов, приобретающих свойства знаков.

Факты, установленные Якобсоном на материале русского склонения, хорошо известны. Якобсон, в частности, показал, что в русском склонении «...сходство окончаний ограничивается либо одинаковым числом фонем (например, во всех парадигмах мн.ч. реальные окончания падежей определенных содержат по две фонемы), либо общностью одной из фонем (например, в любой парадигме мн.ч. все окончания периферийных падежей начинаются с одного и того же гласного, а в прочих типах склонения все полифонемные окончания периферийных падежей содержат одну и ту же неслоговую фонему; все полифонемные окончания косвенных падежей в женских типах склонения заключают -j-, а в остальных типах склонения все полифонемные окончания Т. и Д., т.е. несобъемных периферийных падежей, содержат губную носовую фонему). ... Выделяя в разнообразных полифонемных окончаниях известного падежа или известного фонемного класса общую примету («*marque*» или «*consonne caractéristique de ces désinences*», как говорил уже Мейс), специфическую для одного падежа или класса падежей, мы превращаем исследование грамматической формы собственно в разбор ее фонологического состава. Открывается связь между падежом и его отличительной фонемой (напр., -v- как показатель Р. падежа, -х- как показатель П. падежа), и, наконец, связь между составными элементами падежного значения и фонемами или составными элементами фонем: -m' - (в автоматической альтернации с /m/) выступает как примета падежного признака периферийности, а щелинность, общий атрибут v- и -х-, служит приметой падежного признака объемности. Фонология и грамматика оказываются неразрывно связаны целой гаммой переходных, межрайонных проблем...» [Якобсон 1985: 195–196].

Якобсон неоднократно использовал термин «примета» для обозначения имеющих самостоятельное грамматическое значение сегментов морфемы или различительных фонемных признаков; при этом, из приведенной цитаты, в которой он отдельно останавливается на терминах, используемых А. Мейс («*marque*» или «*consonne caractéristique de ces désinences*»), видно, что для Якобсона было не очевидно, как следует называть эти новые единицы открытого им нового языкового уровня. Действительно, если, к примеру [м] в формах *зл-ым*, *зл-ому*, *зл-ом* – это примета, то примета чего? В приведенной цитате – «примета признака периферийности», но следует ли трактовать ее как знак, и, если да, как назвать релевантный для этого знака уровень и как именовать единицу этого уровня? И.А. Мельчук использует свою формулировку – в английском варианте изложения – «*carrier of function*», то есть «носитель функции» [Мельчук 1995: 620]. Но этот термин не проясняет главного – о какой собственно функции идет речь? А.А. Реформатский, чьи интереснейшие наблюдения в этой области менее известны, чем наблюдения Якобсона, также предпочитал весьма осторожный термин – «звуковая метка» [Реформатский 1979: 73–74].

Такое разнообразие «терминов-эвфемизмов» свидетельствует о том, что в лингвистической теории нет сегодня вразумительных подходов к описанию интересующего нас

явления. Как справедливо отмечает И.А. Мельчук (в работе, посвященной творчеству Якобсона), «there are still no adequate formal means for the rigorous description of submorphemic form/meaning correspondences, and, most importantly, the place of these correspondences in the models of languages is still far from clear. ...what RJ (Роман Якобсон. – К.П.) did was to give linguistics the following task, complicated but at the same time fascinating: to introduce a new, submorphemic level of discription...» [Мельчук 1995: 620–621].

Подчеркну, что за редкими исключениями, «субморфы», «приметы», «метки» воспринимаются лингвистами как экзотика, ради которой не стоит пересматривать классические постулаты лингвистической теории. Проблема, однако, в том, что субморфные унификации в парадигмах обнаруживаются практически во всех языках. В [Поздняков 2003а] общий характер таких унификаций демонстрируется на примере десятков систем местоимений, а также в разнообразных парадигмах рода / именного класса. В данной статье в качестве новых иллюстраций будут использованы, в частности, парадигмы местоимений в генетически родственных языках. Именно такие парадигмы особенно наглядно показывают, насколько разнообразными оказываются субморфные унификации, которые формируются в каждом отдельном языке независимо.

1.1. Морфология: Фонетическая организация местоименных парадигм

Рассмотрим конкретный пример – парадигму субъектных местоимений языка догон [Calame-Griole 1974] (2):

(2)	sg.	pl.
1	mù	émé
2	ù	é
3	vò	bé

Перед нами парадигма из шести морфем. Как ее описывать? Простого перечисления морфем в данном случае явно не достаточно – бросается в глаза строгая фонетическая упорядоченность таблицы. Сформулируем признаки этой упорядоченности. Интересующие нас морфемы включают согласные, гласные, тоны и при этом характеризуются определенной слоговой структурой (в их означающих ничего больше нет!). И все перечисленные элементы (буквально **все компоненты** означающего) принимают участие в формировании парадигмы. Каждый из двух столбцов, с одной стороны, и каждая из трех строк, с другой стороны, включают общие формальные признаки:

Все местоимения множественного числа характеризуются высоким тоном последнего слога, а местоимения единственного числа – низким;

Все местоимения множественного числа характеризуются конечным гласным -е, (передним гласным), а все местоимения единственного числа – задним: -и, -о;

Оба местоимения первого лица включают согласный **m**, то есть губной носовой;

Оба местоимения третьего лица включают губной не-носовой – **v**, **b**¹;

Оба местоимения второго лица имеют структуру **V**, а все местоимения 1 л. и 3 л. – другую структуру: **CV** или **VCV**.

Таким образом, разнообразные сегменты и признаки сегментов **каждой** из шести морфем парадигмы представляют собой **значащие** единицы: слоговая структура морфем формирует оппозицию по признаку «интерлокутор» (структура **V** – 2 л. в противоположность структуре **CV** в 1 л. и 3 л.); внутри не-интерлокуторов (только губные согласные **m**, **v**, **b** – 1 л. и 3 л.) назальность согласных маркирует 1 л.; категория числа маркируется тоном, а также рядностью вокалических сегментов (высокий тон плюс

¹ В формах **vò** и **bé** легко угадываются показатели нигеро-конголезских именных классов – классы 1 и 2 для одушевленных имен в единственном и множественном числе соответственно (ср. в языке фула, употребление в качестве местоимений 3 л. – маркеров именных классов **o** и **be**), что является сильным аргументом для отнесения языка догон к нигеро-конголезским.

передний гласный *e* – множественное число, низкий тон плюс задний гласный – единственное число).

Почему бы ни выделить в таком случае морфему *e* (высокий тон) со значением «множественное число»? Прежде всего потому, что за такое решение придется дорого заплатить: в частности, придется решать – что делать с «остатком»? Придется выделить для 3 л. мн.ч. морфему *b-*, для 1 л. мн.ч. – морфему *ẽm-*, а для 2 л. мн.ч. – нулевую морфему. Затем придется в составе морфемы *ẽm* выделить морфему *-m* со значением «1 л.», и т.д. В результате, достаточно экономная модель описания, в которой, например, местоимение 1 л. ед. ч. описывалось бы комбинацией носового согласного и заднего гласного с низким тоном, не может быть, на первый взгляд, использована без радикального пересмотра минимум двух фундаментальных теоретических постулатов: 1) постулата о морфеме как минимальной значащей единице языка; 2) постулата об уровненом устройстве языка. Понятно, что для описания одной из местоименных парадигм в малоизученном языке догон (сегодня появились основания говорить о двух десятках языков догон!) это было бы непомерно высокой платой. Проблема, однако, в том, что:

а) подобные значащие сегменты морфем обнаруживаются если не во всех языках мира, то в большинстве из них;

б) они встречаются не только в парадигмах местоимений, но и в парадигмах числа, рода (именного класса) и падежа, в парадигмах глагольной деривации, в парадигмах глагольных времен, видов и наклонений, они характеризуют многочисленные лексико-семантические группы, пронизывают поэзию.

Как было показано в [Поздняков 2003а], в нигеро-конголезских, нило-сахарских семьях, в группе чадских языков необычным является скорее отсутствие такого рода субморфных подстроек, чем их наличие. В этой статье обратимся к иллюстрациям из других групп языков, не рассмотренных в предыдущих публикациях. Приведем одну из местоименных парадигм в эрзянском языке (3):

(3)	sg.	pl.
1	мон	минь
2	тон	тынь
3	сон	сынь

Простая и элегантная система, устроенная практически так же, как в языке догон. Она тоже «зарифмована». Прочитаем этот рифмованный текст: *мон-тон, тон-сон, минь-тынь, тынь-сынь*. Можно поместить схему «рифмовки»: *мон-минь, тон-тынь, сон-сынь*. Такие «рифмованные» системы очень непросто интерпретировать. Если выделять в парадигме шесть морфем (традиционное решение), «за кадром» остается очевидная пропорциональность членов парадигмы. В этой парадигме *-и* – маркер ед. ч., а *-нь* – мн.ч. Задний гласный *о* – маркер ед. ч., а не-задний гласный *и/ы* – маркер мн.ч. В этой парадигме – *м*- маркирует 1 л., *т*- – 2 л., а *с*- – 3 л. Первый же взгляд на эрзянскую систему вызывает ощущение *дежа вю*. Действительно, эрзянские местоимения практически клонируют французские притяжательные местоимения (4):

(4)	sg.	pl.
1	mon	mes
2	ton	tes
3	son	ses

Приведенные в (4) формы интерпретируются во французской традиции как шесть морфем и ни в одной из самых «смелых» лингвистических школ не членятся дальше, несмотря на очевидную значимость **всех** без исключения сегментных компонентов этих

морфем. И это понятно. В лингвистической теории нет инструмента для того, чтобы членить морфемы на значащие составляющие элементы.

Заметим, что очень часто два генетически близких языка (со сходствами по Сводешу 70% и выше) используют не только различные, но и прямо противоположные средства частичной унификации означающих в парадигме морфем. Рассмотрим парадигмы местоимений в трех других финно-угорских языках – в карельском, финском и венгерском (5):

(5)	карельский	sg.	pl.	финский	sg.	pl.	венгерский	sg.	pl.
	1	mie	myö	1	minä	me	1	én	mi
	2	sie	työ	2	sinä	te	2	te	ti
	3	hiän	hyö	3	hän	he	3	ő	ők

В карельском мы видим практически то же, что и в эрзянском. Каждое из трех лиц имеет особую консонантную примету, связанную с тремя различными рядами начальных согласных. При этом, каждое из двух чисел имеет особую вокалическую примету: **iV** – ед. ч., **yö** – мн.ч. Отличие карельского от эрзянского состоит, в частности, в том, что в эрзянском огубленный гласный является приметой морфем ед. ч., а неогубленный – мн.ч., а в карельском – ровно наоборот. А ведь речь идет о родственных языках! Оказывается, что, изменяя (иногда кардинально) общую унаследованную систему, языки сохраняют не столько ее «букву», сколько ее «дух»: независимо друг от друга, карельский и эрзянский сохраняют вокалическую унификацию местоимений ед. ч., с одной стороны, и мн.ч., с другой.

В карельском унификации выражены менее сильно: мн.ч. – одинаковый гласный **ö**, ед. ч. – одинаковый гласный **e** для локуторов, но отличный гласный **ä** в составе местоимения 3 л. В финском унификации выражены более рельефно. Так же, как и в других финно-угорских языках, начальные согласные являются приметами лица, гласный **e** – приметой мн.ч., гласный **ä** – ед. ч. При этом числа маркируются и определенной структурой местоимений: местоимения мн.ч. – короче. Все они имеют структуру **CV**, в отличие от местоимений ед. ч. со структурой **CVC(V)**. И, наконец, местоимения-локуторы ед. ч. маркируются особым сегментом **-nä** и соответственно особой структурой **CVCV**. Как и в других рассмотренных языках, в составе финских местоимений нет ни одного сегмента, который бы не был задействован в сигнализации формальных сходств морфем с общим семантическим признаком!

Следует отметить, что такие системы, в которых формально маркируются практически все оппозиции, выделяемые в парадигме, встречаются достаточно редко. Значительно чаще встречаются системы, организованные по типу венгерской. В соответствующей венгерской парадигме передний средний гласный (**é, e**) является приметой 1–2 л. ед. ч., передний закрытый гласный (**i**) – приметой 1–2 л. мн. ч, а гласный **ő** – приметой обоих местоимений 3 л. При этом, в местоимениях 1 л. и 2 л. морфемы разных чисел также содержат общие (консонантные) элементы: носовой согласный – 1 л., согласный **t** – 2 л.

Параллельно, независимо друг от друга, сотни, если не тысячи, языков стремятся к формальной подстройке сегментов противопоставленных членов парадигмы. Некоторые языки решают эту задачу виртуозно. Сформулируем ее в одном из наиболее экстремальных вариантов. Допустим, что языку очень нужно, чтобы в одной парадигме местоимений, включающей шесть членов, одновременно выражались бы формальные сходства: 1) местоимений обоих чисел каждого из трех лиц, 2) местоимений-локуторов ед. ч. (1–2 л.), 3) местоимений-локуторов мн.ч., 4) всех местоимений-локуторов (1–2 ед. ч. мн.ч.) в их оппозиции с местоимениями 3 л., 5) обоих местоимений 3 л. в их оппозиции с местоимениями-локуторами. Это нетривиальная задача даже для искусственного языка, который можно творить с нуля, а для естественного языка, который жестко связан определенной генетической преемственностью и синхроническими

структурными ограничениями, это запредельная сложная задача, тем более, что местоименные морфемы, как правило, очень короткие. И, тем не менее, многие естественные языки ее решают – и решают ювелирно. Рассмотрим парадигму местоимений в турецком языке (6):

(6)	sg.	pl.
1	ben	biz
2	sen	siz
3	o	onlar

Приметой 1 л. является **b-**, приметой 2 л. – **s-**, приметой 3 л. – **o-**, местоимения-локуторы ед. ч. имеют примету **-en**, локуторы мн.ч. – примету **-iz**, локуторы обоих чисел маркируются структурой CVC в отличие от не-локуторов. Для полной гармонии не хватает, пожалуй, лишь приметы для всех местоимений ед. ч., а также для всех местоимений мн.ч.

Убедимся в том, что каждый язык решает эту головоломку независимо от других – рассмотрим соответствующую парадигму в другом тюркском языке, в чувашском (7):

(7)	sg.	pl.
1	эпĕ	эпир
2	эсĕ	эсир
3	вăл	вĕсем

Приметой 1 л. является **-п-**, приметой 2 л. – **-с-**, приметой 3 л. – **в-**, местоимения-локуторы ед. ч. имеют примету **-ĕ**, локуторы мн.ч. – примету **-ир**, локуторы обоих чисел маркируются начальным гласным **э-**, в отличие от не-локуторов. Таким образом, приметы здесь другие, но характер формальной подстройки абсолютно идентичен.

Обратимся к другой семье и рассмотрим три индоевропейских примера из славянских, кельтских и балтийских языков (8):

(8)	македонский	sg.	pl.	бретонский	sg.	pl.	латышский	sg.	pl.
	1	јас	нис	1	me	ni	1	es	mēs
	2	ти	вис	2	te	c'hwi	2	tu	jūs
	3	тој	тис	3	eñ	int	3	viņš	viņi

В македонском: примета местоимений мн.ч. – **-ие**, примета 3 л. – **т-** (возможно, эта же примета маркирует и 2–3 л. ед. ч.). В бретонском есть общие приметы как минимум для обоих чисел: ед. ч. – **e**, мн.ч. – **i**. В латышском формируются приметы для всех трех лиц: 1 л. – **es**, 2 л. – **u**, 3 л. – **viņ**. Очевидно, что в каждой из трех систем субморфные унификации сформированы независимо друг от друга, и при этом в каждой системе они востребованы.

На самом разнообразном языковом материале мы наблюдаем одно и то же: парадигмы родственных языков, развивающиеся из одного источника, демонстрируют устойчивую тенденцию к субморфному маркированию грамматических категорий, причем характер такого маркирования (распределение субморфов в парадигме) может неоднократно меняться в диахронии. На примере многочисленных креольских языков можно показать, что самые разнообразные формальные подстройки местоименных форм развиваются в языках за предельно малые периоды, ограниченные несколькими веками. Рассмотрим португальскую систему и несколько восходящих к ней креольских парадигм (согласно интерпретации Тейссье [Teysier 1988], крупнейшего авторитета

в области португальского языка). В (9) приводятся две исходные португальские парадигмы и соответствующие дочерние парадигмы в юго-восточном идиоме креольского языка Зеленого Мыса (Sotavento, букв. 'подветренный', ниже – «южный 3М»):

(9)

А) португальский Объектн.			Б) португальский Посессивн.			В) юж- ный 3М			Г) Южный 3М		
	sg.	pl.		sg.	pl.		sg.	pl.		sg.	pl.
1	mi(m)	nós	1	meu	nosso	1	mi	nos	1	ña-, mja-	nos-
2	ti	vós	2	teu	vosso	2	bo	ños	2	bu-	ño
3	ele (M) ela (F) si (réfl.)	eles (M) elas (F) si (réfl.)	3	seu (dele)	seu (de- les)	3	el	es	3	se-, si-	ses-

В португальском обнаруживается типичная индоевропейская система с тремя субморфными унификациями внутри каждой парадигмы: общие приметы обнаруживают 1–2 л. мн.ч. (**ós**, **osso**); 1–2 л. ед. ч. (**i**, **eu**); 3 л. ед. ч.–мн.ч. – структура VCV(C) в противоположность структурам с начальным согласным CV(C) у местоимений-локуторов 1–2 л.; полная унификация возвратных местоимений (**si**, **seu**); конечный **-s** как примета всех трех плюральных форм.

В южном 3М (более архаичном по сравнению с северо-западными идиомами креольского языка Зеленого Мыса) появляются новые элементы: 1) **bo** < порт. **vós**, 2) **ños** < порт. (*os*) **senhores**, 3) **ña-**, **mja-** < порт. *minha* 'моя'. В результате характер унификаций меняется: в исходной системе в 1–2 ед. ч. – общий гласный, в дочерней системе – губной согласный (**m-**, **b-**); сближаются еще больше формы 1–2 мн.ч. (в креольском они различаются только по признаку «палатальность» у носового согласного – **nos** ~ **ños**). В целом же распределение субморфных унификаций остается прежним.

Во многих же других вариантах креольского языка принципиально меняется и сама конфигурация субморфных связей. Рассмотрим лишь четыре примера таких радикальных изменений протосистемы (10), ограничившись серией эмфатических местоимений (северо-западные идиомы креольского языка Зеленого Мыса – *barlavento*, буквально 'наветренный', ниже «северный 3М»; креольский Принсипи; креольский Сан-Томе; креольский Гвинеи-Бисау):

(10)

А) северный 3М			Б) Принципи			В) Сан-Томе			Г) Гвинея-Бисау		
	sg.	pl.		sg.	pl.		sg.	pl.		sg.	pl.
1	mi	nos	1	ami, mi	nó	1	ami/ mu	nõ	1	amí	anós
2	bo	bzotə	2	atši, tši	Ówə	2	bo	(i) ñasé	2	abó	abó(s)
3	el	es	3	éli	ine, ina	3	elc/c	ine	3	él	élis

Если в португальском, как мы видели, общие приметы выделялись в 1–2 л. ед. ч., с одной стороны, и в 1–2 л. мн.ч., с другой, то в северном 3М, благодаря появлению формы **bzotə** (< *vós outros*), сформировалась новая унификация по числу, то есть все унификации организованы по строкам, а не по столбцам: носовой согласный – примета местоимений 1 л., **b-** – примета местоимений 2 л., **e-** – примета 3 л. Прямо в противоположном направлении трансформируется система в (10Б). Передний гласный **-i** является общей приметой местоимений ед. ч., а не-передний гласный – приметой местоимений мн.ч.

При этом в формировании примет по столбцу участвует форма Ówø, имеющая африканское происхождение. Система (10В) – наименее унифицированная: единственной приметой является, возможно, носовой согласный во всех местоимениях мн.ч. Такая примета была в португальском, но она имела другую природу (конечный -s). И, наконец, система (10Г) – наиболее унифицирована: в ней больше примет, чем в португальском. Формы мн.ч. имеют конечный -s; есть все три унификации «по строкам»: 1 л. – -N-, 2 л. – b-, 3 л. – -l-; все местоимения-локуторы имеют общий начальный гласный: a-, а оба местоимения 3 л. – начальный é-. При этом в парадигме отмечена нейтрализация по числу: формы 2 л. ед. ч. и мн.ч. идентичны.

Итак, за несколько веков независимого развития, одни языки формируют унификации «по строкам», другие – «по столбцам». Есть языки, которые утрачивают унаследованные субморфные приметы, но большинство языков либо сохраняют их, либо даже увеличивают их количество, обнаруживая тенденцию к тотальному субморфному маркированию грамматических оппозиций.

Воспользуемся графической моделью, иллюстрирующей такие унификации. Оставим в модели только шесть кардинальных точек, соответствующих трем лицам и двум числам, и будем соединять линией те точки, для которых в парадигме отмечена субморфная примета. В нашей модели линии могут быть только горизонтальные и вертикальные, то есть мы будем соединять только соседние точки. Проиллюстрируем модель следующими примерами из рассмотренных выше систем (11):

(11) Принципи, бретонский		северный ЗМ		догон, французский, эрзянский		турецкий	
sg.	pl.	sg.	pl.	sg.	pl.	sg.	pl.
1		1		1		1	
2		2		2		2	
3		3		3		3	

Возможны, естественно, и многочисленные другие комбинации. Наиболее общая картина такова. Ряд языков тяготеет к унификациям по числу (горизонтальные линии на нашей модели). Другие языки чаще унифицируют лица (вертикальные линии). Многие языки комбинируют эти две техники. Очень часто близкородственные языки обнаруживают принципиально разные стратегии унификаций. Естественно, возникает соблазн просмотреть как можно больше языков и предложить читателю типологию унификаций, в которой будут выделены конфигурации наиболее частые, а также те, которые встречаются крайне редко. Но, по крайней мере, по двум причинам такая типология представляется бессмысленной. Во-первых, в любом языке существует несколько парадигм местоимений, и уже первые наблюдения показывают, что очень часто субморфные унификации в разных местоименных парадигмах одного языка стремятся к дополнительному распределению: если в одной парадигме, например, в серии субъектных местоимений, формируются «горизонтальные» унификации, то в другой парадигме, например, в серии объектных местоимений – «вертикальные». Таким образом, конфигурация схемы характеризует не язык (который стремится, чтобы соединить унификациями члены всех оппозиций), а конкретную парадигму.

Во-вторых, субморфные унификации стремятся к дополнительному распределению с морфемными нейтрализациями, а это значит, что распределение первых во многом зависит от распределения последних. Эти проблемы будут рассмотрены ниже, в отдельном разделе статьи.

Подобные унификации широко распространены в языках практически всех лингвистических семей, и при этом они никогда системно не изучались. Они характерны не только для местоимений, но и для других морфологических парадигм и, в частности, для парадигм именных классов. Многочисленные примеры субморфных подстроек в системах именных классов подробно рассматривались в предыдущих публикациях на эту тему (в частности [Поздняков 1993; 2003б; 2006; Pozdniakov, Segerer 2006]). Поэтому здесь они приводиться не будут. Ограничимся лишь общим выводом: в системах именных классов субморфные приметы грамматических категорий проявляются с такой же монотонной регулярностью, как и в парадигмах местоимений.

Фонетическое структурирование морфологических парадигм часто формируется, как будет показано ниже, за счет целенаправленных диахронических изменений по аналогии. Но это означает, что общие фонетические элементы семантически близких языковых единиц должны восприниматься носителями языка в синхронии.

1.2. Лексика: Фонетические ассоциации в Ассоциативном словаре русского языка

Одним из главных источников для изучения субморфов в синхронии могут служить материалы Ассоциативного словаря [РАС 2002]. Большинство устойчивых ассоциаций, как показывают данные [РАС], являются исключительно смысловыми и никак не связаны с фонетической формой слов. Так, например, одной из наиболее частых реакций на стимул *мост* является *река* («парадигматическая» ассоциация) или *деревянный* («синтагматическая» ассоциация), и фонетика здесь ни при чем. Но, наряду с этими ассоциациями, [РАС] фиксирует системно проявляющиеся реакции на слово *мост*, которые имеют другую природу: *пост*, *рост*, *тост*, *нос*. В данном случае совершенно ясно, что семантика здесь не важна – устойчивые ассоциации возникают исключительно по фонетическому принципу².

Очевидно, что не следует искать семантических оснований и в ассоциациях, массово зафиксированных в [РАС], вроде: *дзюдо* ~ *дзю после*, *ель* – *Ельцин*, *ж/д* – *м/ж*, *костра* – *коза nostra*, *люди* – *леди*, *мало* – *мыла*, *манускрипт* – *скрипка*, *мерку* – *Меркурий*, *минерал* – *генерал*, *министр* – *канистра*, *нельзя* – *зя*, *площадь* – *лошадь*, *попросят* – *поросят*, *признак* – *призрак*, *прическа* – *притча*, *редко* – *редька* / *редиска*, *решила* – *пришила*, *роль* – *рояль*, *самбо* – *Рембо*, *слухи* – *ухи*, *справа* – *расправа*, *страус* – *Штраус*, *Шиллер* – *Мюллер*. Важно, что все приведенные ассоциации не относятся к разряду индивидуальных и встречаются минимум у двух респондентов.

Для того, чтобы проиллюстрировать уникальную роль субморфов в лексике, по материалам [РАС] был составлен список фонетических устойчивых ассоциаций. Под устойчивыми понимаются такие ассоциации, которые даны как минимум двумя респондентами (что практически исключает вероятность случайного объединения двух слов в ассоциативную пару). В нашем списке их оказалось 2600³. Вполне понятно, что критерии составления подобных списков в значительной мере субъективны. Часто затруднительно разделить фонетическую и семантическую мотивацию. Более того, многие примеры заставляют подозревать, что ассоциации плана содержания и плана выражения часто проявляются одновременно: *учитель* – *мучитель*, *хрупкий* – *хрусталь*, *таракан* – *трактор*, *чай* – *чашка*, *яхта* – *бухта* и т.д. Такие примеры (а их оказалось очень много!) включались в список, поскольку они, собственно, и представляют наибольший интерес для исследования субморфов в синхронии.

² Отметим, что три из четырех фонетических ассоциаций в нашем примере образуют со словом-стимулом *мост* минимальные пары.

³ С полным списком можно ознакомиться в [Pozdniakov – <http://pozdniakov.free.fr>].

Большинство фонетических ассоциаций в нашем списке представлены неодинаковыми морфемами в словес-стимуле и в словес-реакции. Исключение составляют однокоренные слова, семантика которых существенно разошлась. Так, например, ассоциация *пойти – выйти* не включена в список, а ассоциация *повод – вывод* – включена, поскольку она имеет скорее фонетическую мотивацию, чем семантическую, так же как и в таких ассоциациях, как *позор – обзор, походка – находка, похожий – прохожий, участие – причастие* и т. п., или же – фонетическую и семантическую одновременно: *стелить – постель, упасть – в пропасть, упразднить – праздник, расческа – прическа* и др.

Остановимся здесь лишь на отдельных особенностях списка фонетических ассоциаций, имеющих отношение к интересующему нас сюжету:

1. Звуковых ассоциаций на порядок меньше, чем семантических. Тем не менее, для 150-ти словоформ-стимулов в [РАС] именно звуковые ассоциации являются наиболее частотными. Приведу некоторые примеры, еще раз подчеркнув, что во многих случаях фонетическая мотивация проявляется параллельно с семантической. Цифры обозначают количество респондентов для каждой ассоциации: *оно – окно* 38, *слог – слово* 13, *упасть – в пропасть* 36, *от – до* 20, *балка – палка* 10, *руки – крюки* 8, *тогда – когда* 19, *как – так* 16, *куда – туда* 13, *нам – вам* 14, *пытка – попытка* 11, *мразь – грязь* 10, *шустрик – быстрый* 10, *сани – едут сами* 8 и др. Напомним, что приведенные ассоциации являются по данным [РАС] наиболее частотными. Рассмотрим еще несколько таких ассоциаций: *Христос – воскрес* 122, *голод – холод* 106, *стол – стул* 86, *весна – красна* 85, *грянет – гром* 85, *глаз – алмаз* 58, *билет – на балет* 53, *правый – левый* 51, *зодиак – знак* 41, *редко – но метко* 30, *фокус – покус* 29, *шик – блеск* 29, *стяг – флаг* 28, *шило – мыло* 24, *сват – брат* 22, *шина – машина* 18, *сполна – получить* 16, *тишь – глушь* 11.

2. Очень важна в фонетических ассоциациях роль классических минимальных пар – они составляют 480 ассоциаций из 2600. Приведем лишь отдельные примеры: *бремя – время, бы – вы, дело – тело, вас – нас, великан – пеликан, вина – вино, воздь – дождь, гам – ГУМ, гну – пну, горб – герб, горб – горы, девица – певица, девушка – бабушка, девять – десять, дым – дом, еда – Ева, жалость – малость, запевай – запивай, кадрили – кадриль, лист – чист, капитал – капитан, кит – кот, коготь – ноготь, король – пароль, мало – мыло, мало – сала, Маша – наша, МГУ – ЛГУ, мода – года, пальцев – Мальцев, паук – наук, пицца – пища, потом – потоп, радость – гадость, река – рука, сват – свят, танцы – манцы (наряду с шманцы), терзание – дерзание, тише – мыши, тише – ниже, Фаустус – маустус, физик – шизик, хвоя – твоя, чадо – чудо, чадо – надо, часть – честь, часть – масть, Шиллер – шулер* и сотни других минимальных пар. Любопытно, что различие места ударения не препятствует образованию минимальных «сегментных» (иногда «графических») пар в устойчивых ассоциациях: *бесы – весы, горох – порох, долото – золото, кафе – кофе, колодец – молодец, некто – никто, щека – щука* и т.д.

3. Наряду с классическими минимальными парами, в ассоциациях выделяется мощный пласт пар, построенных по принципу наращивания / усечения означаемого в словес-стимуле типа *мучитель – учитель*. В них в качестве реакции выступает слово, полностью входящее в словес-стимул или наоборот. 300 звуковых ассоциаций из 2600 представляют именно этот случай. Наиболее часто «дополнительный сегмент» встречается в начале слова: *брод – род, взять – зять, глухо – ухо, жить – дружить / тужить, зал – вокзал, неудачник – дачник, оса – коса / колбаса, остальной – стальной, под – подвал, поживать – жевать, раб – прораб / краб, ролик – кролик, роль – пароль / король, рот – шире ворот, совесть – есть, удочка – дудочка, хоровой – вой, я – свинья / семья* и т.д. Примеры «дополнительных» сегментов в медиальной позиции: *весь – взвесь, вешний – внешний, вранье – воронье, газ – глаз, даром – дам, дворик – дворник, домой – домовый, зенит – звенит, кошмар – комар, кров – коров, лось – лосось, масло – мало, ноги – ногти, она – одна, попросят – поросят, приватизация – прихватизация, редька – редиска, тепло – тело, тюрьма – тьма* и т.д. Несколько реже «дополнительные» сегменты встречаются в конечной позиции: *бы – бык, выбор – Выборг, до – дома, жаль –*

жало, Кент – кентавр / Кентукки, лаконичный – лак, мелкий – мел, мерку – Меркурий, не – нет, пик – пикник, ползать – пол, пруд – пруди, спор – спорт, сыро – сыр, токарь – ток, хобби – хоббит. Начало и конец слова: негодяй – гад, река – перекал. Как и в случае с ассоциативными минимальными парами, разное место ударения не является непреодолимым препятствием для образования ассоциаций: даже – драже, кандалы – скандалы, лечить – калечить, мор – юмор, они – кони, семь – восемь, тупица – ступица, узы – узлы, утра – утрата.

4. Приблизительно 50 ассоциаций из списка построены по принципу метатезы – полной (год – дог, но – он, от – до) или частичной: горб – гроб, конечно – кончено, кто – кот, мизерный – размер, минута – внимания, пива – выпить, положить – на лопатки, почти – точно, правый – поворот, просо – рассыпать, рифма – фирма, сполна – отплатить, тихий – ход, трезво – взгляд, трость – старинная, увидеть – удивиться, чадо – дочь, чему – учат, шалун – малыш, штурмовать – вершину, шум – в ушах, шум – мешает, шуметь – камыш, шутка – штука, щедрый – товарищ, этап – пути, от-пра-вить – к пра-от-цам (слоговая метатеза!) и др.

5. Источником фонетических ассоциаций часто являются конкретные литературные тексты (картина – корзина, буржуй – жуй, древнее – поверие, горилла – говорила, одеяло – убежало, малыш – Кибальчиш и т. п.), фильмы (тюльпан – Фанфан, подлый – Леопольд, хмель – шмель и пр.) и/или песни (песен – тесен, непохожий – прохожий, билет – на балет, нет конца – у кольца и т. п.) – сфера Речи. Еще больше фонетических ассоциаций формируется на основе фразологизмов и устойчивых словосочетаний – в сфере Языка (в [РАС] приблизительно 180 таких ассоциаций, причем 40 из них являются наиболее частотными для слов-стимулов): галопом – по Европам, коза – дреза, старость – не радость, тень – на плетень, шило – мыло, сват – брат, городить – огород, пытка – попытка, руки – крюки, трава – мурава, дружба – служба, рожь – кожа, елка – палка, редко – метко, нараспашку – рубашка, алмаз – глаз, радуга – дуга, маленький – удаленький, рука – владыка, сорока – белобока, конь – огонь, конец – венец, коса – до пояса, опять – двадцать пять, плетень – тень, бор – сыр, кошка – мышка, бы – кабы, взятка – гладка, пух – прах, почему – по кочану, пусто – место, тюрьма – сума, уж – замуж, дверь – Тверь, руки – в брюки, смех – и грех, старуха – проруха, жить – быть, коса – краса, хороша – Маша, сплеча – сгоряча, книга – фи́га, сложно – но можно, трава – трын и т.д.

Этот по необходимости краткий обзор фонетических ассоциаций, как представляется, прямо подводит нас к еще не существующей области лингвистики или – более мягко – к области, где накоплено много данных, но до сих пор отсутствует серьезная теоретическая база, отдельные элементы которой и обсуждаются в этой статье.

Прежде всего приведенные примеры еще раз убеждают в том, что фонические элементы являются мощным инструментом для сопряжения смыслов. За ассоциацией носитель языка обращается или к «базе мини-текстов», фиксируемых словарем (если бы да кабы, маленький да удаленький, семь раз отрежь – один раз отмерь), или к литературным цитатам (корзина, картина, картонка), или же к «звуковым параллелям» – не всегда востребованным словарем, но уже закрепившимся в речи (хрупкий – хрусталь, тархтит – трактор, лист – чист, чадо – чудо, неудачник – дачник, приватизация – прихватизация, шутка – штука, отправить – к праотцам).

Заметим, что устойчивые ассоциации типа хрупкий – хрусталь, тархтит – трактор не фиксируются словарем, поскольку не являются цельными словосочетаниями, но они характеризуются в речи повышенной частотой, в чем легко убедиться, обратившись к поисковым системам, например, к Google. Созвучие слов, связанных с сопряженными смыслами (в нашем примере хрупкий и хрусталь), открывается каждый раз заново носителями языка и включается в тексты: ср. у Черубины де Габриак «...сердце при первой же ласке / Разбилось, как хрупкий хрусталь», которые в свою очередь закрепляют ассоциацию в коллективном сознании. Рискну предположить, что два крупных поэта – В. Высоцкий и И. Бродский – независимо друг от друга открыли длинную минимальную пару оппозиции плавных согласных бутылка ~ Бутырка («Чем в бутыл-

ке, лучше уж в *Бутырке* посидеть!» – В. Высоцкий; «Вспоминаю выпитые *бутылки*, / вологодскую стражу, Кресты, *Бутырки*» – И. Бродский), как и А. Вознесенский («Пляска *бутылок*, *блузок*, *грудей* – / это в *Бутырках*...»), как и тысячи поэтов-любителей, которые самостоятельно открывали эту пару до них и после них. Эту пару открывали для себя и многие заключенные, и их родственники – большие и маленькие: «О своих родителях она говорила “Папа в *Бутылке* (*Бутырках*), а мама в мешке (*Москве*)”» (Н.М. Гершензон–Чегодаева, цит. по [НК]). Вероятно, сам факт повышенной частоты появления в речи сочетаний слов, похожих в звуковом отношении, является одним из доказательств существования фонических единиц, формально сигнализирующих такое сходство в синхронии.

С интересующей точки зрения различия между ассоциациями *еда* – *Ева*, с одной стороны, и *телеграмма* – *от гипнопотама*, с другой, оказываются не столь существенными: в обоих случаях, носители (самостоятельно или по литературной подсказке) «группируют» два слова, благодаря тому, что у этих слов имеются как **различные**, так и **общие** сегменты. Иными словами, в каждом из примеров образуется два контекста: «сильный», разные сегменты («позиция различения»), и «слабый», одинаковые сегменты («позиция нейтрализации?»). Но в этом и состоит проблема: рассматриваемые примеры никак не могут быть охарактеризованы через нейтрализацию оппозиций – в том смысле, в каком мы привыкли использовать этот классический термин. Ниже нам необходимо будет остановиться подробнее на понятии нейтрализации и возможностях его применения к интересующим нас явлениям. Здесь же уместно вернуться к вопросу: если это оппозиции неких единиц, то с какими же единицами мы имеем дело, когда мы пытаемся выделить фоническую составляющую ассоциаций в каждом из приведенных здесь примеров?

«Переплет книги» смысловых ассоциаций соткан из звуков. Паутина созвучий опутывает смыслы (5 респондентов [РАС] дают к слову *паутина* ассоциацию *опутала*). Мы можем гулять по словарю, переходя от одной звуковой ассоциации к другой, а значит, от одного смысла – к другому: *враг* ↔ *овраг*⁴ → *огород* ↔ *огурец* ↔ *молодец* ↔ *колодец* → *палец* → *подлец* → *огурец* ↔ *горький* ↔ *город* → *молод*... При этом, реакция *молодец* устойчиво фиксируется для большой группы слов-стимулов, а именно: *колодец*, *кузнец*, *молоток*, *молчун*, *мудрец*, *огурец*, *отец*, *подлец*, *сорванец*, *умница*, *хитрец*, *Штирлиц*. Это значит, что в приведенную цепочку ассоциаций могут на соответствующем этапе вплетаться другие цепочки, и наоборот – практически на каждом звене цепочка может разветвляться. Так, от того же слова-стимула *враг* строятся и другие ряды фонетических ассоциаций, например: *враг* ↔ *друг* → *круг* ↔ *вдруг* → *испуг* → *недуг* → *вдруг* → *подруга* → *супруга*... В упрощенном варианте трансформации ассоциаций напоминают игру «Сделай из мухи слона», в которой последовательным изменением одной из букв слово *муха* превращается в слово *слон*.

2. СУБМОРФЫ: СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ

2.1. Реальность субморфов в сознании говорящих

Массовый характер фиксируемой фонетической ассоциации может рассматриваться как одно из основных доказательств **реальности** субморфа в сознании говорящих.

Конечно же, в этом плане наиболее убедительны факты языка (фразеологизмы, устойчивые сочетания слов), фонетическая структура которых помогла им «закрепиться» в языке, в ходе диалога между языком и речью: *тень на плетень*; *не в службу, а в дружбу*; *яблочко на тарелочке* и т. п. В частности, в последнем случае вполне очевидна релевантность субморфа *-лочк* для говорящего – настолько очевидна, что ее можно не доказывать.

⁴ Знаком [→] обозначены однонаправленные ассоциации от стимула к реакции, знак [↔] обозначает, что ассоциация имеет двустороннюю направленность: стимул ↔ реакция.

Менее очевидна реальность грамматических субморфов вроде *-аш* в паре *наш – ваш*. Но и их реальность в большинстве случаев можно доказать. Достаточно обратиться к **ассоциативному словарю**, если он существует, или, если его нет, к **Интернету**. Поразительно, насколько привлекательной оказывается комбинация этих слов в рекламе! Вот произвольно выбранные примеры среди тысяч подобных: «Было ваше – стало наше!», «Ни нашим, ни вашим!», «И нашим, и вашим», «Наш товар – ваш купец!», «Ваши вопросы, наши ответы», «Про нашего вашего», «от наших вашим», «Бензин – ваш, идеи – наши» и т.д. Можно поменять язык и убедиться в том, что и для французов субморф *-otre* в *notre – votre* – это вполне осознаваемая реальность: «Votre non est notre non», «Votre commerce, c'est notre affaire», «Notre engagement à votre égard», «Votre maison, notre engagement», «Notre passion à votre service», «Notre passion, votre avenir!», «Notre technologie – votre voyage», «Votre secrétariat, notre engagement», «Notre amour, c'est votre rêve», «Votre Histoire est la notre» и т.д. В данном случае формальным доказательством реальности субморфов может служить элементарная статистика. Можно предложить множество убедительных статистических экспериментов, которые покажут, что частота сочетаний *наши – ваши* или *notre – votre* в разнообразных текстах является безусловно более высокой, чем мы ожидали бы исходя из частоты *наши (notre)*, с одной стороны, и *ваши (votre)* – с другой.

Статистика, как правило, срабатывает и в пограничном состоянии между языком и речью. Как отмечалось выше, опыты с поиском в Google (здесь нет возможности останавливаться на деталях подробно) показывают, что сочетания вроде *хрупкий хрусталь* более значимы для носителя, чем, например, сочетания *хрупкое стекло* или же *хороший/битый хрусталь*. Устойчивые ассоциации типа *хрупкий – хрусталь*, *тарыхтит – трактор* не фиксируются словарем, поскольку не являются цельными словосочетаниями, но они характеризуются в речи повышенной частотой.

Все рассмотренные случаи (*яблочко на тарелочке*, *наш – ваш*, *хрупкий хрусталь*) обречены как на попадание в ассоциативный словарь, так и в статистику повышенной встречаемости слов. По-видимому, наиболее эффективным методом для выявления всех релевантных субморфов являются все же **данные ассоциативного словаря**. Не думаю, что статистика может убедительно показать связь *гость* и *кость*, но 17 ассоциаций между этими словами в [РАС] практически однозначно подтверждают присутствие такой связи в сознании говорящих.

Наряду с рассмотренными выше доказательствами (повышенная частота употребления, массовые ассоциативные связи), существуют и другие – возможно, еще более весомые – свидетельства реальности субморфов. Главное такое свидетельство обнаруживается в диахронии. Так называемые **изменения по аналогии** (а к ним, что ясно было уже Соссюру, относится большинство диахронических изменений) происходят только потому, что субморф (сегодняшний или завтрашний) реально существует: он фиксируется или формируется в речи, а потом – в отдельных случаях – закрепляется в языке. Соссюр, был, по-видимому, первым, кто предложил диахроническое доказательство реальности синхронных неморфемных унификаций (через изменения по аналогии): «...аналогия есть явление грамматического порядка: она предполагает осознание и понимание отношения, связывающего формы между собой. ...Аналогия может, таким образом, служить несомненным доказательством того, что данный формативный элемент в данный момент существует как значимая единица» [Соссюр 1977: 199, 205]. Рассмотрим вопрос о формировании субморфов подробнее.

2.2. Откуда берутся субморфы?

Если субморфы реальны, правомерно задать вопрос, как они возникают? По-видимому, есть три основных способа их формирования:

1) **Субморфы возникают в результате слияния разных морфем** и образования амальгамных форм. Рассмотрим парадигму притяжательных местоимений волоф (12):

(12)

волоф	sg.	pl.
1	sama / suma	sunu
2	sa	seen
3	-am	seen

Происхождение этих форм неизвестно – историческая грамматика волоф еще не написана. Тем не менее, чисто поверхностное сравнение притяжательных местоимений с местоимениями других серий, например, с серией объектных местоимений, прозрачно указывает на существование в прошлом самостоятельной морфемы со значением притяжательности, которая в сочетании с местоименными морфемам образовала амальгамные формы посессивов, формальной приметой которых в синхронии является субморф [s-] (особое маркирование формы 3 л. ед. ч. является типичным для системы волоф). Очень интересные примеры развития субморфов из морфем в индоевропейских языках приводит Вяч.Вс. Иванов, в частности в [Иванов 2004].

2) **Субморфы возникают «случайно».** Формы в морфологических парадигмах, как правило, короткие; инвентарь теоретически возможных фонем ограничен, и всегда существует возможность, что выделяемые лингвистом общие приметы для двух знаков возникли в результате случайных процессов или же процессов, которые не имели никакого отношения к формированию субморфемных унификаций в парадигме. Допустим, что в языке формы местоимений 3 лица включают начальный губной согласный в ед. ч. и во мн.ч., а формы местоимений 1 и 2 лиц не имеют губных согласных. Значит ли это, что у нас есть основание выделять субморф «лабиальность» для 3 лица?

Проведем эксперимент. Откроем любую книгу на любой странице, например [Старостин 2007: 500]. Будем считать, что первый слог на этой странице соответствует местоимению 1 л. ед. ч., первый слог на странице 501 – местоимению 1 л. мн.ч., первый слог на следующей странице – местоимению 2 л. ед. ч. и т.д. В итоге получаем следующие шесть форм нашей искусственно построенной парадигмы (13)⁵:

(13)

*	sg.	pl.
1	фо	все
2	бо	во
3	ре	ис

Перед нами – парад «субморфов». Все «местоимения» – локуторы содержат губной согласный, а местоимения 3 л. – дентальный. «Истинные локуторы» («я», «ты», «вы»), обозначающие реальных участников коммуникации, имеют гласный [o], а другие местоимения – передний гласный (объясняем отнесение «мы» к не-локуторам его возможным эксклюзивным значением – «мы вчера с друзьями..., но не вы»). Если допустить фонетическую интерпретацию форм, то разделятся местоимения 1 л., с одной стороны (глухой губной [ф]), и 2 л., с другой (звонкие губные [б], [в]). Проблема, однако, в том, что в данном случае мы знаем, по какому принципу построена парадигма, и наш случайный принцип не имеет никакого отношения к субморфам.

На первый взгляд, наш эксперимент может служить веским контраргументом против выделения субморфов в реально зафиксированных синхронных парадигмах. Но действительно ли случайный характер соединения сходных фонических сегментов в парадигме препятствует процессу их семиотизации? Скорее наоборот. В семиозисе на всех уровнях мы наблюдаем, как случайному сходству двух знаковых единиц

⁵ На страницах 500–505 опубликована известная статья С.А. Старостина «Заметки о древнекитайском языке». Приведем шесть слов, которые были использованы для эксперимента: *фонологические, все, более, возникновение, ретрофлексные, использовались*.

может быть придан новый смысл, и – подчеркнем еще раз – носителю совершенно безразлично, получает ли он «подсказку» из праязыка или же она возникает благодаря случайному стечению обстоятельств. Созвучие корневых сегментов в *калина – малина* случайно, что не помешало этой минимальной паре закрепиться в речи, а потом и в языке. В исторически случайном сочетании *пух – прах* безусловно выделяется фонетическая основа, как и в *конь – огонь*, как и в сотнях других подобных примеров, в которых очевидна случайность фонетической базы соединения смыслов. Судя по материалам ассоциативных словарей, случайные созвучия – основной источник формирования субморфов.

3) **Субморфы возникают в результате изменений по аналогии.** В тех случаях, когда сходство значений осознается раньше, чем сходство форм, в диахронии может произойти фонетическое сближение двух морфем, то есть произойти изменение по аналогии. В русском языке такого рода изменения происходят значительно чаще на супraseгментном уровне (менее радикальная операция), чем на сегментном (более радикальная операция), а именно в ходе изменения ударения, – изменения, не мотивированного ни фонетически, ни морфологически.

Множество таких примеров собрано в пионерских статьях Зализняка [Зализняк 1977б; 1989]. Так, в прилагательных *лЕвый – прАвый* произошло выравнивание ударения (было **левЫй* и **прАвый*). В украинском языке ударения тоже подстроились, но в обратном направлении: *лівИй – деснИй*. Произошла подстройка ударения и в исходных формах **другОй, *втОрый, *Иный* (> *другОй, вторОй, инОй*). В украинском языке формальная примета этой семантической группы сформировалась в результате противоположно направленного изменения: > *дрУгий*. В формах, развивающих **ше-стОй, *сЕдмый, *Осмый*, в русском языке сегодня во всех формах ударение падает на окончание, а в украинском – во всех формах – на основу – *шОстый, сЁмый, вОсьмый*, как и в белорусском. А.А. Зализняк показал, что у прилагательных, обозначающих физические недостатки и, в целом, связанных с отрицательной оценкой, ударение переходит на окончание и становится формальной приметой данной группы слов: *немой, слепой, хромой* (из *хрОмый*), *больной, седой, плохой, дурной, лихой, бухой, холостой, скупой* (из *скУпый*). За цветонаименованиями закрепилось постепенно ударение на основе – *крАсный, чЁрный, бЕлый*. Единственное исключение, по Зализняку, прилагательное *голубОй*, которое является единственным прилагательным цвета, не имеющим краткой формы м. р. Заметим, что, отличаясь от прилагательных цвета в полных формах единственного числа, а также в кратких формах мужского рода, прилагательное *голубой* подстраивается под них в сравнительной форме и в кратких формах женского / среднего родов и множественного числа. В этих формах ударение у цветонаименований падает на окончание (*краснЕе, краснА, краснО, краснЫ*), отсюда и нестандартный тип ударения 1b в слове *голубой* (*голубЕе, «были дали голубЫ*»). В русском языке 10 односложных прилагательных, имеющих в Грамматическом словаре [Зализняк 1977а] индекс /'/' и предполагающих, в частности, ударение на окончание в кратких формах среднего рода. Четыре из них – названия цвета: *белый, желтый, красный, пестрый*. Таким образом, намечается регулярная тенденция не только унифицировать прилагательные цвета (ударение на основу), но и подчеркнуть значимость этого субморфа контрастным ударением в краткой форме среднего рода (ударение на окончание). Прилагательное *синий* – единственное прилагательное с мягким конечным согласным основы, у которого в сравнительной форме и в краткой форме женского рода ударение падает на окончание: *синЕе, синЯ*. Причина этого отклонения вполне понятна: формальная подстройка семантически близких слов (позиция ударения в парадигме прилагательных цвета) оказывается важнее, чем фонетическая норма для основ с мягким согласным.

А.А. Зализняк приводит и, возможно, самый яркий пример звуковой организации парадигмы в ходе изменений по аналогии. По Зализняку, в парах *высокий – низкий, глубокий – мелкий, широкий – узкий, далекий – близкий* бо́льшая степень качества маркируется «лишним» слогом, что приближает указанные слова к иконическим знакам: в каждой из приведенных оппозиций меньшая степень качества представлена словами

с односложной основой, а бóльшая – двусложной [Зализняк 1977б; 1989]. Этот пример детально рассмотрен в [Батожок 2007]. Опираясь на открытия Зализняка, автор показывает, что фонетическая подстройка парадигм в прилагательных пространственной оценки не исчерпывается приведенными Зализняком признаками. Во-первых, автоматически таким признаком становится ударение: на второй слог в «сильных» словах – на первый слог в «слабых». Во-вторых, у всех «сильных» слов нестандартное ударение отмечено в краткой форме среднего рода: *высок-О/-И*, *глубок-О/-И*, *широк-О/-И*, *далек-О/-И*, причем из 20000 русских прилагательных данное отклонение отмечено **только** в четырех приведенных формах! В результате пропорциональная смена ударения характеризует не только полные формы, но и краткие: *высокО – нИзко*, *глубокО – мЕлко*, *широкО – Узко*, *далекО – блИзко*, при котором ударение на основу чередуется с ударением на окончание (первый слог – третий слог).

Наряду с субморфами, которые формально подчеркивают **оппозицию** форм, выделяются субморфы, **общие** для всех восьми форм, которые интегрируют их в парадигму. В частности, **все** восемь членов парадигмы пространственной оценки включают конечный **-к** основы.

Такого рода подстройки обеспечиваются изменениями по аналогии. В этом плане особый интерес представляют формы сравнительной степени, которые **все без исключения** относятся к нестандартным: *вышЕе*, *нижЕе*, *глубжЕе*, *мельчЕе*, *ширЕе*, *ужЕе*, *дальшЕе*, *блИжЕе* вместо ожидаемых **высОче*, **низОче*, **глубОче*, **мЕлче*, **ширче*, **Узче*, **далЕче*, **блИзче*. У каждой из четырех форм «сильных» прилагательных «незаконно» исчезает один слог – в результате отмеченная Зализняком оппозиция в полных формах по количеству слогов нейтрализуется в контексте форм сравнительной степени (два слога в каждой из восьми форм). Но коль скоро сильные формы подстроились по своей структуре под слабые, все четыре слабые формы претерпели нестандартные фонетические изменения, в результате которых в сравнительной степени сильные формы все же противопоставляются слабым по другому признаку – качеству конечного согласного основы: *выш-е – ниж-е*, *глубж-е – мельч-е*, *шир-е – уж-е*, *дальш-е – ближ-е*.

В статье Н.И. Батожок выделены и другие формальные приметы сходств и различий в этой исключительно интересной парадигме. У сильных прилагательных первый слог открытый (**вы-** в *вы-со-кий*), а у слабых – закрытый (**низ-** в *низ-кий*). У сильных прилагательных второй слог открытый (**-со-** в *вы-со-кий*), а у слабых – закрытый (**-кий** в *низ-кий*). У сильных прилагательных в основе 2 слога (**вы-сок-**), а у слабых – один (**низк-**). У сильных прилагательных в основе 2 гласных, а у слабых один. На супraseгментном уровне, у сильных прилагательных ударение падает на второй слог, а у слабых – на первый [Батожок 2007].

Итак, сопоставляя четыре парадигмы (полные / краткие формы мужского рода, краткие формы среднего рода и сравнительная степень), в каждой из которых по восемь форм, мы видим множество формальных примет, по-разному объединяющих или же противопоставляющих «сильные» и «слабые» формы пространственной оценки, причем большинство этих примет сформировалось в результате **нерегулярных изменений по аналогии**. Отметим, что в одних случаях стратегия языка ориентирована на формирование «объединяющих» субморфов, в других случаях – субморфов, формально эксплицирующих оппозицию. Во втором случае язык стремится **противопоставить** оппозитивные смыслы по максимально возможному количеству формальных признаков. В первом случае – максимально **унифицировать** оппозитивные формы с тем, чтобы немногочисленные различительные приметы выглядели предельно контрастно.

Какими критериями пользуется язык, выбирая либо первую, либо вторую стратегию? Некоторые наблюдения в этой области будут изложены в отдельном разделе о распределении субморфов в парадигме. Здесь же важно отметить два момента:

1) выявлением изменений по аналогии занимаются специалисты в области сравнительно-исторического языкознания и истории языка. Как правило, вопрос «Почему (для чего?) эти изменения происходят?» компаративистов не интересует и, возможно, не должен интересовать.

2) Синхронистов же изменения по аналогии не интересуют по определению.

Таким образом, эта область обречена оставаться на периферии лингвистических исследований.

2.3. Что происходит с субморфом в диахронии?

Субморф может исчезнуть, может сохраниться и продолжать «работать», а может и трансформироваться в морфему. Остановимся на последнем – наименее тривиальном – случае, который может служить еще одним доказательством реальности субморфов в сознании говорящих.

Обратимся к классической статье А.А. Зализняка (она не случайно посвящена Р.О. Якобсону – одному из первопроходцев в открытии субморфов) [Зализняк 1967]. В ней предлагается новая интерпретация парадигм склонения в современном русском языке. В частности, Зализняк пишет, что «в современном русском склонении существуют формальные элементы (выделено мной. – К.П.), которые функционируют как самостоятельные показатели множественного числа, не зависящие от падежа. Такими показателями являются: *i* в адъективном склонении и *a* в субстантивном склонении. Ср. *tojí*, *toj-i-x*, *toj-i-m*, *toj-i-m'i*; *dom-á*, *dom-á-x*, *dom-á-m*, *dom-á-m'i*. ... в соответствии с предложенной трактовкой, например, словоформа Р. Ед. *dóma* должна рассматриваться как содержащая нулевой показатель ед. числа и показатель родительного падежа *a*, а словоформа И. мн. *domá* – как содержащая показатель мн. числа *á* и нулевой показатель именительного падежа» ([Зализняк 1967], цит. по [Зализняк 2002: 545, 549]).

Пример такого «полуагглютинативного» (по терминологии Зализняка) разделения исключительно интересен. Сегменты морфем (*i* в адъективном склонении и *á* – в субстантивном) завоёвывают статус самостоятельных морфем. По Зализняку, формирование новой морфемы *á* является одним из факторов экспансии окончания в формах именительного падежа мн.ч. – по подсчетам Зализняка, приблизительно в 250 словах развилось это окончание, при том, что ни в одном слове не зафиксирована мена окончания *á* на *i*. Перед нами – своеобразный случай грамматикализации, но не лексемы, а субморфа, в результате которой кумулятивный знак, например, морфема *ám*, объединяющая значения «множественное число» и «дательный падеж», разделяется на последовательность двух некумулятивных знаков: вначале *á* со значением «множественное число», а затем – *m* со значением «дательный падеж».

Насколько мне известно, А.А. Зализняк – единственный лингвист, который, развивая наблюдения Р.О. Якобсона о субморфах, описал этот механизм превращения субморфа в морфему. Между тем, рассмотренный пример русского языка далеко не уникален. В некоторых языках Нигер-Конго с развитыми системами именных классов обнаруживаются абсолютно точные аналогии фактам русского языка. Более того, они проявляются значительно ярче, чем в русском языке, где вывод о формальном разделении категорий падежа и числа, сделанный Зализняком, представляет изящное, но не очевидное решение.

Очень любопытен в этом плане пример языков тенда (атлантическая группа), в котором реально видно, как происходит расслоение парадигм именного класса и числа. Это достаточно компактная группа языков, и для праязыка этой группы вполне надежно можно реконструировать не только маркеры именных классов, но и корреляции по числу. Достаточно надежно прослеживается и эволюция системы именных классов вплоть до современных языков группы.

Именные классы пратенда представлены следующими морфемами:

– ед.ч.: *ā*, *ʔa*, *lɛ/dɛ*, *yɛ*, *dyɛ*, *Ø*, *xɔ*, *kɔ*, *tyɛ*, *sɛ*, *ʔa*, *fa*, *kʷɔ*

– мн.ч.: *bā*, *ɔ*, *wa* II⁶, *wa* I, *wa* III, *ma*, *bV*, *wa* + *fa*, *wa* + *xɔ*.

⁶ Три класса мн.ч., имеющие морфему *wa*, различаются степенями чередования начального согласного лексической основы (соответственно – степени I, II, III). В языках тенда за каждым именным классом закреплена одна из трех ступеней чередования – слабая (фрикативные и сонанты), нейтральная (смычные) или сильная (звонкие преназализованные, носовые сонанты или глухие смычные).

Все плюральные маркеры классов содержат лабиальный согласный. Единственный вокалический маркер представлен огубленным гласным (ɔ). Таким образом, признак «лабиальность» становится субморфной приметой множественного числа. Более того, в единственном числе есть только два маркера, для которых релевантен признак «лабиальность» – fa и в меньшей степени – kʷɔ, и множественное число в этих двух случаях (и только в них!) образуется путем **наложения** маркера с лабиальным согласным (wa-) на маркеры ед.ч.: ед.ч. fa- / мн.ч. wa-fa-; ед.ч. kʷɔ- / мн.ч. wa-kʷɔ-. Поскольку наличие одновременно двух префиксов нетипично для системы, префиксы ед.ч. fa- и kʷɔ- включаются в состав лексической основы, и в результате «лабиальные» маркеры ед.ч. выпадают из системы, начиная восприниматься носителями как сегмент лексической основы. В результате все маркеры множественного числа включают лабиальный сегмент, а ни один маркер единственного числа его не включает (детали смотри в [Ferry, Pozdniakov 2001; Pozdniakov 2007]). При этом можно показать, что лабиальность как маркер множественности осознается носителями языка и становится катализатором радикальных изменений по аналогии в системе классов. На определенном этапе в пратенда развивается указанная инновация – множественное число от сингулярных классов сильной степени чередования (ступень III) начинает образовываться путем прибавления лабиального сегмента морфемы b- к маркеру единственного числа, и сегодня в языке бедик: ед.ч. a III (класс 3) – мн.ч. b-a III, ед.ч. ɛ III (класс 9') – мн.ч. b-ɛ III, ед.ч. ɔ/gɔ III (класс 11/15) – мн.ч. b-ɔ III. Таким образом, субморфемный лабиальный сегмент маркеров плюральных классов (в качестве модели был избран лабиальный сегмент плюрального одушевленного класса b-) превращается в морфему. Более того, чтобы закрепить релевантность нового маркера числа, независимого от маркера именного класса, язык отказывается от фундаментального принципа использования мены ступени чередования при образовании плюральных форм: за начальными корневыми согласными словоформ мн.ч. закрепляется та же ступень, что и в формах ед.ч. – ступень III. Таким образом, наличие грамматикализованного лабиального сегмента становится единственным маркером плюрального класса. В языке бадьяранке / джаал, генетически близком к языкам тенда, «грамматикализация» лабиального субморфа b- пошла еще дальше и фактически привела к полному расслоению категорий именного класса и числа: множественное число в этом языке образуется во всех случаях прибавлением морфемы òĚ: ku-na / pl. bĚ-ku-na 'корова', Ý,ÐÐã / pl. òĚ,ÐÐã 'старший брат'.

В одной из самых модных в последние десятилетия лингвистических тем, в исследовании грамматикализации, внимание лингвистов сконцентрировано на формировании грамматических морфем на базе лексических. Не стоит ли, с учетом многочисленных примеров вроде приведенного примера из языка бедик, задуматься о прямо противоположном векторе грамматикализации, при котором новая морфема образуется не в результате грамматикализации лексемы, а «из сора» – в результате превращения в знак элемента, не имевшего значения? Такого рода семиотизация субморфов оказывается возможной, когда в синхронии накапливается определенная «критическая масса» субморфных унификаций в результате диахронических изменений по грамматической аналогии.

3. ПАРАДИГМА: НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И СУБМОРФЫ

Как распределяются субморфы в парадигме? Можно ли, например, с высокой вероятностью предсказать, какие именно члены парадигмы будут объединены общей субморфной приметой, а какие нет? По-видимому, нельзя, и, в первую очередь, как отмечалось выше, потому, что распределения субморфов в конкретной парадигме во многом зависит от его распределения в других парадигмах, а также от распределения по парадигмам морфемных нейтрализаций. Эта зависимость субморфных унификаций от морфемных рассматривалась достаточно подробно в ряде предыдущих публикаций (в частности, [Поздняков 1993; 2003а; 2003б; Pozdniakov 2004]). Остановимся кратко на выводах, касающихся «синкретичных» форм в парадигмах.

3.1. Морфемные нейтрализации

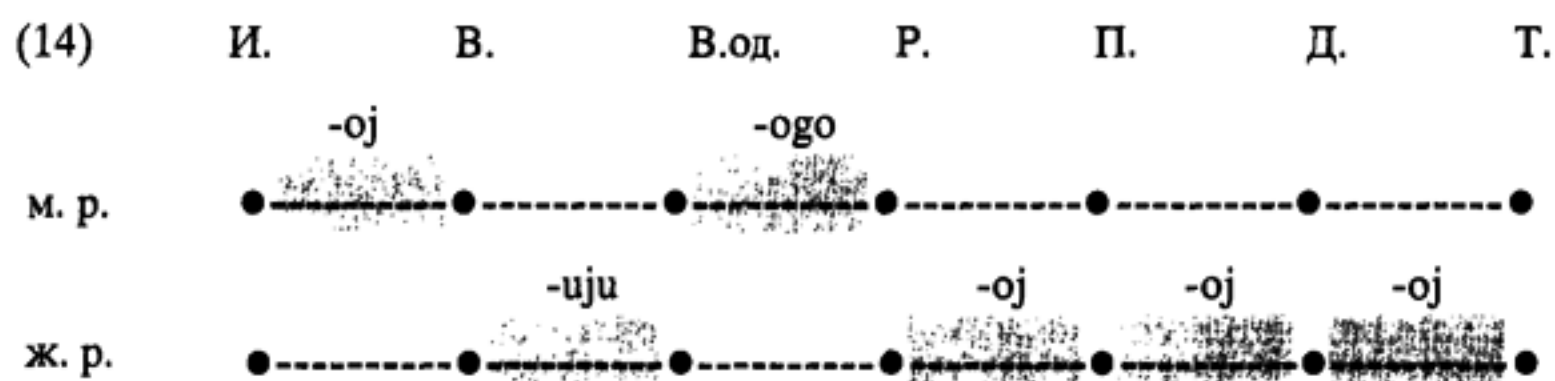
Трудно представить себе язык, в котором было бы, скажем, 15 именных классов множественного числа и 2 именных класса единственного числа. Мы знаем, что обычно бывает наоборот: классов множественного числа всегда меньше. В школе нас учат, что в русском языке «во множественном числе рода нет». Известно, что в отрицательных формах глагола меньше оппозиций видов, времен и наклонений, чем в утвердительных формах. Какие факторы определяют характер распределения нейтрализаций в парадигме? Этот вопрос тем более важен, если учесть, что мы имеем дело (как показывают приведенные примеры) с достаточно общими тенденциями, проявляющимися в большинстве языков мира. Перечислим здесь, не повторяя изложенную ранее аргументацию, ряд ключевых положений.

1) Большинство морфем представляют собой кумулятивные знаки. В кумулятивном знаке (возьмем, например, окончание в словоформе *слон-а*), знак **-а** обозначает одновременно род (мужской), число (единственное), падеж (винительный), одушевленность (положительный признак). Это значит, что у этого знака минимум четыре парадигматических значения, он входит в четыре различные парадигмы и соответственно является членом минимум четырех оппозиций.

2) Граммемы в кумулятивном знаке не равны – некоторые граммемы «равнее», чем другие. В одних значениях знак является маркированным членом оппозиции (то есть носителем значения), а в других, в соответствии с концепцией Карцевского–Якобсона, имеет нулевую значимость: в оппозициях *слон-а* ~ *слон* (падеж, В. ~ И.) и *слон-а* ~ *стол* (одушевленность, Од. ~ не-Од.) мы имеем дело с маркированными членами оппозиций, а в *слон-а* ~ *слон-ов* (ед.ч. ~ мн.ч.) и *слон-а* ~ *стран-у* (м. р. ~ ж. р.) – с немаркированными.

Маркированность / немаркированность кумулятивного знака является главным фактором, определяющим распределение нейтрализаций в парадигмах. Если знак активно работает на одну категорию, являясь признаковым, то он меньше работает на другую категорию, а это значит, что здесь у него больше шансов подвергнуться нейтрализации. Поскольку в словах *мороз-ы* и *роз-ы* окончание активно работает на категорию **числа** (форма мн.ч. является маркированной в оппозиции по числу), оно менее активно в выражении категории **рода** (оппозиция по роду во мн.ч. нейтрализуется (*мороз-ы* ~ *роз-ы*)). Поскольку предложный падеж в русском языке (по крайней мере, в шестичленной модели Р. Якобсона) является маркированным членом наибольшего числа **падежных** оппозиций (по периферийности, объемности и определенности одновременно), именно предложный падеж обнаруживает наибольшее число морфемных унификаций по **роду**: М. *доме* = С. *полотенце* = Ж. *картине*; М. *домах* = С. *полотенцах* = Ж. *картинах* (нейтрализуется 6 оппозиций). В оппозициях по признаку **рода** маркированным членом оппозиции являются формы ж. р., а формы м. р. – нет. Следовательно, количество нейтрализаций по **падежу** в формах ж. р. должно быть выше, чем в формах м. р. Так и происходит. В формах м. р. нейтрализуются оппозиции И. = В. (*стол*), а если учитывать В. од., то и В. = Р. (*брата*). В формах ж. р. нейтрализуются обе эти оппозиции (*картины*; *сестер*), а также оппозиция Д. = П. (*картине*), сохраняющая различительную силу в м. р. К тому же, в мягком склонении нейтрализуется и оппозиция Р. = П. (*тетради*). **Чем важнее знак для одной категории, тем меньше он «работает» на другую.**

4) Нейтрализации в смежных парадигмах стремятся к дополнительному распределению: если, например, в парадигме русского именного склонения м. р. нейтрализуются оппозиции непериферийных падежей: И. = В. *стол*, В. = Р. *слона*, то в парадигме ж. р. они различаются, а нейтрализуются другие оппозиции, а именно Р. = П. *тетради*, и Д. = П. *книге*. Если в парадигме алъективного склонения м.р. нейтрализуются оппозиции И. = В. и В. одушевленный = Р., то в парадигме ж. р. они различаются, зато нейтрализуются все без исключения остальные оппозиции (14):



При этом, в соответствии с правилом, изложенном в пункте 3, нейтрализаций в «маркированной парадигме» (ж. р.) больше, чем в немаркированной (м. р.). В подобных случаях парадигмы используются как контексты: одна из парадигм представляет «сильный контекст», контекст различения (П. ~ Д. *злом* ~ *злomu*), а другая парадигма – «слабый контекст», контекст нейтрализации (П. = Д. *злой*), что позволяет сформировать классическую оппозицию (в нашем случае, П. ~ Д.).

5) Одной из основных креативных функций нейтрализации, наряду с формированием оппозиции, является формальная интеграция разных морфем в общую парадигму, а также интеграция разных парадигм в более общие морфологические структуры. Каскад нейтрализаций скрепляет, соединяет отдельные знаки. В [Pozdniakov 2003] типичный механизм интеграции морфем в систему был продемонстрирован, в частности, на примере французской и русской систем местоимений. Французскую систему можно представить следующей схемой (15):

(15) SUJET TON. DATIF ACCUS. REFLECH. POSS.

1 sg.	je	moi	me	me	me	mon
2 sg.	tu	toi	te	te	te	ton
3 sg.M.	il	lui	lui	le	se	son
3 sg.F.	elle	elle	lui	la	se	sa
1 pl.	nous	nous	nous	nous	nous	notre
2 pl.	vous	vous	vous	vous	vous	votre
3 pl.M.	ils	eux	leur	les	se	leur
3 pl.F.	ils	elles	leur	les	se	leur

В единственном числе «всех» нейтрализаций «сшивает» все функции, кроме possessивных местоимений: субъектные и тонические местоимения (3 л. ж. р. *elle*), тонические и косвенно-объектные (3 л. м. р. *lui*), косвенно-объектные, прямо-объектные и возвратные (1 л. и 2 л. *me* и *te*). Во мн.ч. (поскольку мн.ч. является маркированным в оппозиции по числу) все пять функций нейтрализуются более «агрессивно» – местоимения здесь заняты различием числа, и им не до различения функций. Языку остается подсоединить к системе притяжательные местоимения, а также соединить парадигмы единственного и множественного чисел. Что мы и наблюдаем на схеме. Датив и посес-

сив имеют общую форму: *je leur écris* ‘я им пишу’ и *leur maison* ‘их дом’ (интересно, что именно функция датива интерпретируется в системе как наиболее близкая к функции посессива!). И наконец в серии возвратных местоимений в 3 л. нейтрализуется оппозиция по числу: фонетически *il se baigne* и *ils se baignent* ‘он / они купается / купаются’ идентичны. А это означает, что фонетически оппозиции по числу нейтрализуются и в серии субъектных местоимений в формах *il = ils* (в том случае, если после местоимения употребляется согласный). Такое последовательное распределение нейтрализаций прослеживается в десятках языков и в сотнях парадигм. В случае исчезновения скрепляющей нейтрализации на одном из исторических этапов языка, она может вновь возникнуть позже. В английском местоимение *him* относилось как к единственному, так и к множественному числу, а затем эта нейтрализация оппозиции по числу исчезла после проникновения в язык заимствованной формы *them*. Но в современном английском нейтрализация по числу восстановилась в результате распространения формы *you* на единственное число.

А как же быть с нейтрализациями по лицу? На рассмотренной схеме их нет. Нет ни одной формы, общей для двух различных лиц. Для соединения различающихся во всех контекстах морфем и существуют **субморфы**.

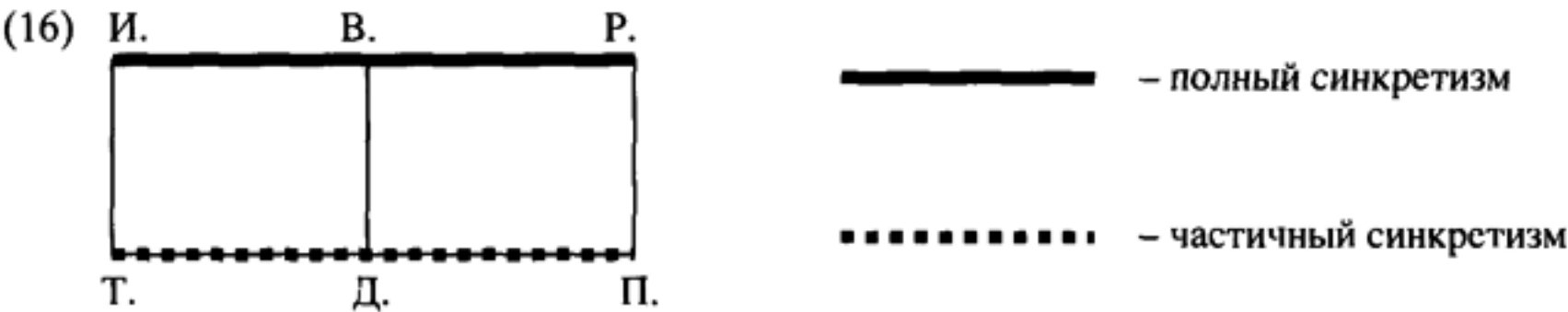
3.2. Субморфные унификации

Полная унификация морфем представляет собой радикальное средство – морфемы перестают различаться. В том случае, когда морфемная нейтрализация не подходит, язык часто прибегает к частичной унификации морфем, которая играет ту же роль, но использует более скупые выразительные средства. Вспомним приведенные выше назойливые цитаты из Интернета вроде *v-otre commerce, c'est n-otre affaire* «ваша коммерция – это наше дело» или *Наш товар – ваш купец!* и *Наша цель – ваша квартира*. Вспомним «рифмованную» структуру эрзянских или французских местоимений и, в частности, *mon- ton, ton-son, mes-tes, tes-ses*. Здесь во французской системе объединяются (благодаря технике частичной унификации) лица, в то время, как функции, а также числа объединяются синкретичными формами, то есть морфемными нейтрализациями.

Итак, частичные унификации призваны дополнить интеграцию морфем в систему в тех звеньях, которые не охвачены полными унификациями. Если же морфемные нейтрализации стремятся к дополнительному распределению по парадигмам, а субморфные унификации охватывают остальные звенья, то из этого автоматически следует, что субморфы: а) будут стремиться к дополнительному распределению с синкретичными формами; б) будут сами стремиться к дополнительному распределению по различным парадигмам.

3.3. Принцип дополнительности в распределении субморфных примет и морфемных нейтрализаций

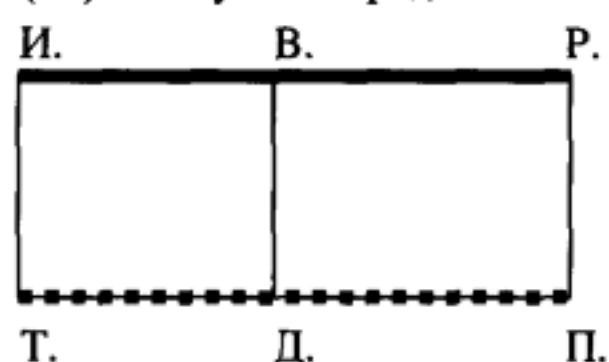
По Якобсону, **-а-** является приметой всех трех периферийных падежей: Т. *слон-ами*, Д. *слон-ам*, П. *слон-ах*. Но, если мы убедились в корреляции субморфных и морфемных меток, можно ли отнести к разряду случайностей тот факт, что морфемы **-а** нет ни в одном из периферийных падежей и при этом она отмечена во всех трех непериферийных падежах: И. *дом-а*, картин-а, В. = Р. *слон-а*? Представим это дополнительное распределение на схеме (16):



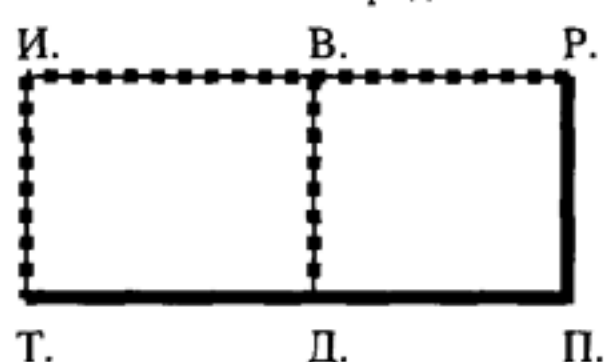
При этом в адъективном склонении нет ни одной морфемной или субморфной приметы, включающей гласный *а*, который в прилагательных отмечен только в именительном падеже (*бел-аја*). Последний факт крайне интересен в связи с бытующим мнением (особенно в традиции описания систем именных классов) о том, что при согласовании зависимые маркеры характеризуются минимальными формальными отличиями от маркера контролера согласования. На примере распределения гласного *а* по флексиям вполне прозрачно просматривается прямо противоположная тенденция: две парадигмы – существительного и прилагательного – стремятся приобрести черты двух контекстов – контекста различения и контекста нейтрализации, с тем, чтобы создать наиболее благоприятные условия для структурирования согласовательной модели.

Если добавить субморфные унификации к рассмотренной выше схеме адъективного склонения в русском языке, мы получим следующее распределение (17):

(17) Мужской род



Женский род



1) М. р.: И. = В. *бел-ый*, В. = Р. *бел-ого*, Т. $\approx$ Д. *бел-ым* $\approx$ *бел-ому*, Д. $\approx$ П. *бел-ому* $\approx$ *белом*;

2) Ж. р.: И. $\approx$ В. *бел-[аја]* $\approx$ *бел-[ују]*, В. $\approx$ Р. *бел-[ују]* $\approx$ *бел-[ој]*, Т. = Д. = П. = Р. *бел-[ој]*, И. $\approx$ Т. *бел-[аја]* $\approx$ *бел-[ој]*, В. $\approx$ Д. *бел-[ују]* $\approx$ *бел-[ој]*.

Схема демонстрирует классическое дополнительное распределение. Прежде всего, мы еще раз убеждаемся в дополнительном характере морфемных нейтрализаций по разным парадигмам (м. р. – ж. р.). Но на схеме отчетливо проявляется и дополнительный характер субморфных меток в разных парадигмах, а также субморфных меток и морфемных нейтрализаций в каждой из парадигм. Принцип дополнительности проведен здесь настолько последовательно, что это дает основания отнести его к одной из важнейших структурных черт русского склонения.

4. ОБСУЖДЕНИЕ

4.1. Субморфы и звуковой символизм

Субморфные приметы традиционно рассматриваются как проявление связи звука и значения (так их рассматривал Р. Якобсон). Они используются как иллюстрация иконического характера языкового знака, позволяющая поставить под сомнение сосюровский постулат о немотивированности знака. Хотелось бы еще раз решительно не согласиться с такой трактовкой, даже если в единичных случаях она и представляется конструктивной.

Во-первых, когда Якобсон говорит о связи «...между составными элементами падежного значения и фонемами или составными элементами фонем: *-m'* (в автоматической альтернации с */m/*) выступает как примета падежного признака периферийности...» [Якобсон 1985: 195], например, в *дом-ом* – *дом-ам*, мы все же имеем дело не с фонемой, а с сегментом морфемы, у которого при этом обнаруживается двусторонняя сущность – у сегмента *[-m]*, в отличие от фонемы */m/*, есть означаемое (признак «периферийность»).

Во-вторых, материальное совпадение некоторых субморфов с фонемами – чистая случайность: они могут быть «меньше фонемы»⁷, а могут быть «больше фонемы» (*-otre* в *notre* – *votre*), а могут быть и больше морфемы: *просят* – *поросят*, *учитель* – *мучитель*. Они могут быть и больше, чем слово: «*В синем небе звезды блещут, / В синем море волны хлещут*» (другой вопрос, что подобные примеры показывают, насколько неудачен сам термин «субморф»). Субморфы могут вообще формироваться не в результате совпадения сегментов, а в результате «операции», в частности, в ходе инверсии сегментов в двух единицах: ср., например, спунсеризмы «*Нельзя ли у трамвала / Вокзай остановить?*», «*перепонные барабанки*» или «*обобрали, подогрели*» в «Иронии судьбы».

В-третьих, и это самое главное, поиск звукового символизма в субморфах уводит нас от сути проблемы: дело не в том, что в качестве субморфов выступают некоторые особые звуковые единицы (очевидно, нет такого фонического элемента, который бы не мог стать субморфом!) – дело в том, что все рассмотренные элементы, вне зависимости от их звучания, выполняют одну и ту же функцию: они материально эксплицируют сходство разных смыслов, соотнесенных с разными знаками.

О субморфе имеет смысл говорить только в том случае, если мы имеем дело как минимум с двумя знаками. Субморф *-аши* выделяется в *наши* только потому, что рядом существует словоформа *ваши*. Это еще один факт, который свидетельствует о том, что субморф характеризуется не значением, а значимостью (*valeur*, в соссюрском понимании этого термина).

4.2. Субморфы и изменения по аналогии

Изменения по аналогии хорошо известны. Им посвящена огромная литература: изучается этимологический аспект этих изменений (как правило существенно затрудняющих проведение реконструкции), исследуется их фонетическая природа и закономерности их протекания (см., в частности, классическую работу Е. Куриловича [Kurjłowicz 1949: 15–37], русский перевод [Курилович 1962: 92–121]). Однако, несмотря на то, что изменения по аналогии (возвращаясь к замечанию Соссюра) представляют наиболее частотный тип диахронических изменений в языке, мне неизвестно ни одной работы, в которой бы системно рассматривался их функциональный аспект. Для чего язык вновь и вновь стремится частично унифицировать означающие близких по значению слов – причем, не только ценой нарушения всех исторических законов звуковых изменений, но и ценой нарушения всех норм, действующих в синхронии (ср. рассмотренную выше форму **белток* по аналогии с *желток*, ср. исторически «неправильные» формы *вЫше*, *нИже*, *гЛУбже*, *мЕльче* и проч.). Все такие изменения направлены на то, чтобы в результате формирования общей метки у слов с близким значением объединить их в парадигму. Метка *[-т-]* превращает слова *желток* и **белток* в минимальную пару и формирует «именной класс яйца». В минимальную пару превратились и слова *девять* и *десять*, и ради этого язык испытал нерегулярное, «неправильное» изменение **n > d* в слове со значением «девять», в результате которого выделилась особая лексико-семантическая группа, состоящая из этих двух числительных. Как следствие, в сознании носителя между этими двумя словами возникает устойчивая связь, что фиксируется ассоциативными словарями. Анализ разнообразных фактов такого рода приводит к выводу, что основная синхронная функция диахронических изменений по аналогии состоит в том, чтобы обеспечить формальное сходство сталкиваемых смыслов и тем самым превратить изолированные знаки в члены парадигмы.

⁷ Ср. в приведенной цитате: «составными элементами фонем» – формулировка, которая понадобилась Якобсону для обоснования положения о том, что «щелинность, общий атрибут *-v-* и *-x-*, служит приметой падежного признака объемности» [Якобсон 1985: 195] (в *дом-ов* – *дом-ах*).

4.3. Креативная роль нейтрализации

В самом термине «нейтрализация» акцентируется идея устранения, снятия, уничтожения чего-либо, то есть проявляется некое разрушительное начало. Креативная же роль нейтрализации в образовании оппозиций, как и ее интегрирующая роль в формировании парадигмы и в объединении парадигм в систему, остаются в тени. Ср., например, следующее определение нейтрализации: «Нейтрализация – это контекстно обусловленное уничтожение оппозиции, такое положение, когда под влиянием контекста, т.е. в слабой с данной точки зрения позиции, утрачивается различие между двумя (или более) единицами, которые в другом контексте, в сильной позиции, противопоставлены» [Касевич 1977: 48]. Это определение едва ли может вызвать серьезные возражения, однако оно не затрагивает функций нейтрализации. Для чего нейтрализация нужна? Сведение функциональной нагрузки нейтрализации к принципу экономии различительных средств служит своеобразной индульгенцией к тому, чтобы роль нейтрализации в функционировании системы всерьез не изучалась. Она практически и не изучается. Между тем, нейтрализация в высшей степени **креативна**, по крайней мере, в четырех отношениях. Она играет ключевую роль: 1) в формировании оппозиций, 2) в формировании новых означаемых, или иначе – в формировании новых знаков, 3) в расширении классифицирующих возможностей системы, 4) в интеграции отдельных знаков и парадигм в систему (подробнее см. [Поздняков 2003а]). Когда в русских говорах, в субстантивном склонении, появляются в предложном падеже формы типа *на сестры*, *в воды* вместо стандартного *на сестре*, *в воде*, в словах ж. р. возникает синкретичное окончание **-ы** для П. и Р. В результате П. и Р. выделяются из падежной парадигмы как падежи сопоставимые, сходные, что и формирует (в данном случае – расширяет) базу для их противопоставления, а не только их различения. При этом, новая синкретичная морфема **-ы** начинает выражать новое грамматическое значение (в таких говорах за ней закрепляется, пользуясь терминологией Якобсона, значение объемности). Члены парадигмы попарно «связываются» синкретичными формами, возникающими в результате диахронических изменений по аналогии, и в итоге морфемная парадигма предстает как единая цепочка соединенных между собой морфем.

Еще один принципиальный момент, касающийся термина «нейтрализация». Выше этот термин неоднократно употреблялся в контекстах, которые не могут не вызвать вопросов у «классических» фонологов. Так, например, предлагалось рассматривать формы *выше – ниже*, *глубже – мельче* (2 слога в каждой форме) как «слабый» контекст, а формы *высокий – низкий*, *глубокий – мелкий* как «сильный» контекст в оппозиции по количеству слогов. Более того, предлагалось рассматривать формы *морозы – розы* как оппозицию, в которой начало слов *мо-* ~ *О* является контекстом различения, а конец слов – *-розы* – контекстом нейтрализации. И наконец, предлагалось в качестве контекстов рассматривать разные **уровни** языка (при этом, в качестве одного из уровней выступал «субморфный уровень»): мы обсуждали, в частности, следующую интерпретацию – оппозиция *notre* ~ *votre*, проявляющаяся на морфемном уровне («контекст различения»), снимается на «субморфном» уровне субморфом **-otre** (контекст нейтрализации). Естественно, все эти формулировки требуют, как минимум, комментария. Хочу поблагодарить анонимного рецензента статьи, который высказал пожелание «соотнести авторское понятие нейтрализации с общепринятыми». Попробую это сделать. «Общепринятое» понятие нейтрализации заложено Трубецким и Якобсоном в фонологии. Якобсон, а позже пражцы, использовали фонологию как полигон, как лабораторию, в частности, и для того, чтобы применить открытые в фонологии механизмы к «знаковым» уровням языка, в том числе, к морфологическому. Проблема в том, что они не успели этого сделать, а в 70-е годы XX века понятия оппозиции и нейтрализации были похоронены под обломками структурализма и практически забыты, изъяты из лингвистической теории, которая увлеклась другим. Так к чему же сводится «общепринятое» понятие нейтрализации применительно к морфологии и лексике? В следующем параграфе рассмотрим этот вопрос подробнее.

4.4. Оппозиции знаков или смыслов?

Проникновение идеи нейтрализации из фонологии в морфологию, а также за пределы лингвистики – в другие гуманитарные науки, складывалось парадоксально. Механизм нейтрализации был выявлен в ходе изучения фонем – языковых единиц, которые не являются двусторонними знаками, то есть не имеют означаемых (нейтрализация оппозиции русских фонем /t/ ~ /d/ в конце слова не предполагает оппозицию смыслов). Когда теория нейтрализации распространилась на **знаковые** уровни языка и, в частности, на морфологический уровень, идея нейтрализации автоматически была применена к оппозициям знаков, имеющих означущее и означаемое (нейтрализация оппозиции морфем *a* ~ $\emptyset$ по роду в парадигме множественного числа – это нейтрализация двусторонних знаков). Естественно, это принципиальное отличие фонемных оппозиций от морфемных было предельно ясным для пионеров: «При всей плодотворности фонологического опыта для разысканий в других языковых планах нельзя автоматически прилагать фонологические критерии к грамматическим элементам, которые в отличие от фонологических, чисто различительных средств наделены собственным значением. ...форма *Nächte*, взятая в отдельности, сама по себе означает “более одной ночи”, тогда как ни /t/, ни /d/ сами по себе воистину “ne sont rien”» [Якобсон 1985: 180]. Тем не менее, несмотря на оговорки такого рода, нетрудно показать, что сам Якобсон, как и его единомышленники, создававшие теорию морфемных оппозиций, наряду с нейтрализацией оппозиции **знаков** («нейтрализация морфем *a* ~ $\emptyset$ »), все чаще писали о нейтрализации оппозиции **означаемых** или об оппозиции **смыслов** («нейтрализация оппозиции женского и мужского рода»). Во многих классических работах Якобсона эти два принципиально различных подхода соседствуют буквально в одной строке, через запятую. Когда Якобсон, анализируя древнеиндийскую падежную систему, говорит, что «противопоставление периферийности и непериферийности снято в отложительном падеже» [Там же: 194] или что в русских говорах «периферийные падежи... могут свестись к противопоставлению объемного падежа (П.) и необъемного (Д. –Т.)» [Там же: 183], он имеет в виду противопоставление означаемых, а не знаков.

Парадоксальность этой эволюции от идеи нейтрализации фонем (незнаковых единиц) к идее нейтрализации смыслов состоит в том, что сегодня именно фонологи, причем, ведущие фонологи, отказывают фонемным оппозициям «в праве на нейтрализацию» и отказывают именно на том основании, что фонемы не связаны со значением: «Если в результате контекстно обусловленной замены фонемы экспонент одной морфемы совпадает с экспонентом другой, иначе говоря, если совпадают варианты разных морфем, то имеет место нейтрализация последних (контекстная омонимия), например, *кот* и *код*. Фонологические единицы в принципе не могут нейтрализоваться, **поскольку** (выделено мной. – К.П.) лишены необходимой для этого двуплановости» [Касевич 1983: 217]; «Перестают различаться **морфемы**: эти морфемы противопоставлены в вариантах *рог-а* *рок-а*, но перестают различаться в варианте /rok/ – *рог* и *рок*. Что касается фонем, то различие между ними вообще не может быть утрачено, так как для этого требуется совпадение означающих при возникающей неоднозначности означаемого, но у фонем нет означающего и означаемого, это единицы незнаковые» [Касевич 1977: 48].

Принятое в данной статье понимание нейтрализации предполагает именно «семантическое» решение: нейтрализуются оппозитивные грамматические значения, единицы плана содержания, а не знаки (морфемы). Такое решение снимает многие «трудные» вопросы, часть из которых была сформулирована выше. В частности, две парадигмы, включающие не алломорфы знака, а разные знаки (парадигма единственного и множественного числа, парадигма субстантивного и адъективного склонения) могут рассматриваться как два контекста с двумя позициями – сильной и слабой. Более того, при таком понимании нейтрализации нет никаких противопоказаний и к тому, чтобы два разных уровня языка (в частности, морфемный и субморфный) интегрировались в систему благодаря тому, что один уровень предстает как контекст различения, а другой – как кон-

текст нейтрализации в оппозиции граммем. Так, рассмотренные в предыдущем разделе факты, свидетельствующие о коррелированности распределения морфемных сходств и «субморфных примет» в русском склонении, не обязательно трактовать в достаточно туманных терминах «полного» и «частичного» синкретизма. Более конструктивной и понятной представляется следующая интерпретация: если члены оппозиции падежных граммем не обнаруживают сходства на морфемном уровне (отсутствие синкретичной морфемы), то их означающие более подвержены диахроническим изменениям по аналогии, которые обеспечивают сигнализацию их сходства на субморфном уровне (формирование общих субморфов).

4.5. Нейтрализация в ряду других средств интеграции знаков

Нейтрализация – одна из важнейших, но далеко не единственная техника сигнализации сходства знаков. Не менее широко распространена их частичная формальная унификация, благодаря формированию **субморфов**, которые стремятся к дополнительному распределению с синкретичными знаками. Но и этими двумя средствами возможности формальной интеграции знаков в парадигму далеко не исчерпываются. Перечислим лишь некоторые из таких средств, которые по своей функции могут быть поставлены в один ряд с двумя техниками, рассмотренными выше.

Добавление общей метки. Рассмотрим в синхронии словоформы *куп-л-ю, руб-л-ю, разграф-л-ю, лов-л-ю, слом-л-ю*. Носитель языка «добавляет» к любому корню с конечным губным согласным один и тот же фонический элемент – согласный [л] и не добавляет его ни к каким корням с не-губным конечным согласным (ср. *хран-ю, круч-у, брож-у* и т.д.). «Статистический» носитель ничего не знает про диахронические процессы, в результате которых сформировалось это правило. Он его автоматически использует, каждый раз присоединяя одну и ту же «метку» ко всем губным согласным, и только к губным. Таким образом, не только в лингвистической, но и в «народной» фонологии (что далеко не всегда одно и то же!) губные согласные объединяются и противопоставляются не-губным. В нашем примере нет нейтрализации, нет и частичной унификации языковых единиц – они остаются различными. Но есть «синтагматически» закреплённая в языке метка, которая используется так же, как она используется человеком, проставляющим крестики и галочки рядом со знаками в длинном списке. К той же технике прибегают языки с именными классами (например, фула или ссерер), в которых категория класса выражается симультанно специальными морфемами и степенью чередования начального корневого согласного. Чередования в корне являются своеобразными синтагматическими метками, которые позволяют дифференцировать значения классных маркеров (подробнее в [Поздняков 2003б]). Интересно в этом плане рассмотреть алломорфы с начальным **н-** в составе личных местоимений 3 л. (ед. и мн.ч.) в формах всех четырех косвенных падежей: Р. *него, ней/нее, них*, Т. *ним, ней, ними*, Д. *нему, ней, ним*, П. *о нем, о ней, о них* (на этот пример субморфной подстройки обратил мое внимание А.Ю. Желтов). В многочисленных русских говорах независимо друг от друга возникает и форма с начальным **н-** в винительном падеже, причем часто без предлога – *нее, нею!* (*Я вижу нее*) [ДАРЯ 1989: карта 67]. Таким образом, в этих говорах **н-** является уже приметой не косвенных падежей, а всех пяти маркированных падежей, в отличие от немаркированного именительного.

Перестановки. Как охарактеризовать технику формального объединения знаков при «обратном течении речи» в палиндромах («искать такси»), «оборотнях» («анатом – за разум!»), в спунеризмах («посетителей не будят»), в разнообразных метатезах, в текстах вроде «Поэзия грамматики и грамматика поэзии»?⁸ Как охарактеризовать ритуальную (и театральную) инверсию людей и животных, мужского и женского? Во всех этих случаях не происходит «нейтрализации» в строгом понимании термина –

⁸ Модель оказалась настолько заразной, что использовать ее в лингвистике становится дурным тоном.

разные сущности, разные знаки остаются разными, но сама возможность их взаимозаменяемости вполне может рассматриваться как еще один ключевой тип проявления субморфов. Очень любопытный пример такого рода дает французское молодежное аргю. В нем, как и во многих других аргю, используется, в частности, прием метатезы: слова *femme* 'женщина' *fête* 'праздник' дают соответственно [mœf], [tœf]. К этим словам подстроилось и [kœf], образованное от *flic* 'полицейский'. Таким образом, от слов, в которых единственным общим сегментом был начальный [f-], образовались, благодаря метатезам, минимальные пары, в которых единственным различающимся сегментом является начальный согласный, а сформировавшийся субморф -œf получил экспрессивное значение. При этом, в слове со значением 'полицейский' качество гласного никак не мотивировано исходной формой, в отличие от [mœf] и [tœf], где огубленность гласного задается спецификой конечного («непроизносимого») гласного в исходных словах.

Текст. Одним из наиболее эффективных средств объединения знаков в парадигму является создание текста. Построение законченного текста предполагает четкое разграничение знаков, которые оказываются внутри текста и за его пределами, говорим ли мы о фразеологизме, о пословице, о стихотворении, о картине, о клипе или о ритуальной маске. Сама замкнутость текста позволяет отделить некоторые знаки от тысяч других, а следовательно, и противопоставить их. В этом плане, в «Хлеб да соль!» и в «Красное и черное» используется одна и та же техника «сталкивания» двух единиц, вступающих в отношения оппозиции без нейтрализации. Текст позволяет противопоставить **любые** знаки, в частности, бузину и киевского дядьку или соссюрговские чернильницу и свободу воли, то есть трансформировать простое **различие** в **оппозицию**.

Поэтический текст потому и является вершиной семиозиса, что в нем значение получает каждый его элемент – от различительного признака вплетенных в текст фонем до неморфемных созвучий и до расположения запятых. Конечно, поэтический текст относится, прежде всего, к области речи, а не языка, но, во-первых, не случайно именно поэтическая речь «поставляет» языку множество субморфов (те же «древние поверия»), а, во-вторых, настроенные на язык рецепторы Поэта позволяют ему эксплицировать такие связи между формами и значениями, которые уже «созрели» в языке или уже зреют в нем. Вспомним замечательную мысль А. Потебни: «О том, имеет ли род смысл, можно судить лишь по тем случаям, где мысли дана возможность на нем сосредоточиться, т.е. по произведениям поэтическим» [Потебня 1968: 483]. Именно об этом говорил И. Бродский в одной из лучших теоретических работ по семиотике – в своей Нобелевской лекции: «...кто-кто, а поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он – средством языка к продолжению своего существования» [Бродский 1967]. И поэтому поэт открывает субморфы, в том числе и в морфологических парадигмах, одновременно с лингвистом, а часто и раньше, чем лингвист. Вернемся к сложной схеме (17), в которой обобщены наблюдения многих исследователей относительно распределения флексии -а и субморфа [-а-] в парадигмах русского склонения мужского и женского родов. Но об этом предельно емко сказано и у Бродского: «Да, русским лучше; взять хоть Иванова: / звучит как баба в каждом падеже».

Существуют и другие приемы формальной сигнализации сходства двух разных знаков. Их очень много. Объединение этих приемов в рамках общей языковой стратегии, обеспечивающей интеграцию знаков в парадигмы, позволяет, в частности, рассматривать под общим углом зрения следующие (внешне разнородные) противопоставления, перечисленные в провокационных примерах в начале статьи:

- полная унификация в одном из «контекстов» – нейтрализация, в частности, в синкретичных формах (Р. = П. *тетради*, но Р. ≠ П. *тетрадей* ~ *тетрадах*);
- частичная унификация в результате формирования субморфов: *наши* ≈ *ваши*; *шире* – *дальше*, *правый* – *левый*; минимальные пары: *бутылки* ≈ *Бутырки*;
- «синтагматическое» добавление одинаковых мсток: *Liberté, Égalité, Fraternité*; в частности, перенесение словообразовательной модели на инородный семантический

класс: жеребенок – жеребята → октябренок – октябрюта; Витек, Санек → Нинок, Людок (ср. разбор этой модели в [Вежицкая 1996: 125–126]);

• разнообразные перестановки элементов при сохранении их общего инвентаря: «Колесо. Жалко поклаж. Оселок», «Воспоминания о войне или война воспоминаний», горб ≈ гроб, мизерный размер, шумел камыш;

соединение единиц в тексте: жить не тужить, жили-были, «Преступление и наказание» и т.д.

Часто встречается и одновременное использование разных приемов объединения знаков. Типологии таких приемов, насколько мне известно, не существует.

Язык разрезает мир на лоскутки знаков. Он «отделяет» одно от другого (например, свет от тьмы), «называет» и иногда – «видит, что это хорошо», в точности следуя первой странице известного текста, на которой классический механизм семиозиса прописан многократно.

Разрезанный мир – язык заново склеивает, и это отдельная техническая задача. Чтобы зафиксировать различие знаков в сознании говорящих, особой техники не нужно – разные знаки и так разные. Для того, чтобы объединять смыслы через соединение означающих, языку приходится прибегать к специальным приемам, и языки виртуозно с этим справляются.

Лингвисты заимствуют от языка как «стратегию ножниц», так и «стратегию клея». Лингвистика была разрезана на лоскутки (фонология и морфология, синхрония и диахрония, парадигматика и синтагматика, язык и речь и т.д.), что позволило осмыслить их и исследовать в первом приближении. Но очень быстро из фонологии и морфологии выросла морфонология, а морфология и синтаксис сегодня практически уступили место морфосинтаксису. Может быть, завтра им на смену придет морфофоносубморфосинтаксис?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Батожок 2007 – Н.И. Батожок. О субморфах в русском адъективном склонении // Русское слово и русский текст: история и современность: Сб. науч. статей (посвящ. В.А. Козыреву). СПб., 2007.
- Бродский 1967 – И.А. Бродский. Нобелевская лекция // Сочинения Иосифа Бродского. Т. 1. СПб., 1992.
- Вежицкая 1996 – А. Вежицкая. Личные имена и экспрессивное словообразование // Язык. Культура. Познание. М., 1996.
- ДАРЯ 1989 – Диалектологический атлас русского языка (Центр Европейской части СССР). Вып. II. Морфология. М., 1989.
- Зализняк 1967 – А.А. Зализняк. О показателях множественного числа в русском склонении // To honour Roman Jakobson: Essays on the occasion of his seventieth birthday. The Hague; Paris, 1967.
- Зализняк 1977а – А.А. Зализняк. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М., 1977.
- Зализняк 1977б – А.А. Зализняк. Закономерности акцентуации русских односложных существительных мужского рода // Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики. Вып. 8. М., 1977.
- Зализняк 1989 – А.А. Зализняк. О некоторых связях между значением и ударением у русских прилагательных // Славянское и балканское языкознание. Просодия. М., 1989.
- Зализняк 2002 – А.А. Зализняк. «Русское именное словоизменение» с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию. М., 2002.
- Иванов 2004 – Вяч.Вс. Иванов. Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему. М., 2004.

- Касевич 1977 – В.Б. Касевич. Элементы общей лингвистики. М., 1977.
- Касевич 1983 – В.Б. Касевич. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983.
- Курилович 1962 – Е. Курилович. О природе так называемых «аналогических» процессов // Е. Курилович. Очерки по лингвистике. М., 1962.
- Мельчук 1995 – И.А. Мельчук. Русский язык в модели «Смысл ↔ Текст». Москва; Вена, 1995.
- НК – Национальный корпус русского языка. <http://ruscorpora.ru>
- Поздняков 1993 – К.И. Поздняков. Сравнительная грамматика атлантических языков. М., 1993.
- Поздняков 2003а – К.И. Поздняков. Микроморфология или морфология парадигмы? // Язык и речевая деятельность – 2002. Т. 5. СПб., 2003.
- Поздняков 2003б – К.И. Поздняков. О морфологии парадигмы: на примере «размерных» классов в фула // The languages of the Far East, South-East Asia and West Africa. М., 2003.
- Поздняков 2006 – К.И. Поздняков. К типологии именных классификаций // Исследования по языкам Африки – 2005. М., 2006.
- Потебня 1968 – А.А. Потебня. Из записок по русской грамматике. 2-е изд. Т. 3: Об изменении значения и заменах существительного. М., 1968.
- РАС 2002 – Русский ассоциативный словарь / Под ред. Ю.Н. Караулова, Г.А. Черновой, Н.В. Уфимцевой, Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова. Т. 1. М., 2002.
- Реформатский 1979 – А.А. Реформатский. Местоимения // Очерки по фонологии, морфологии и морфологии. М., 1979.
- Соссюр 1977 – Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977.
- Старостин 2007 – С.А. Старостин. Труды по языкознанию. М., 2007.
- Чуковский 2001 – К.И. Чуковский. От двух до пяти // К.И. Чуковский. Собр. соч.: В 15 т. Т. 2. М., 2001.
- Чурганова 1973 – В.Г. Чурганова. Очерк русской морфонологии. М., 1973.
- Якобсон 1985 – Р.О. Якобсон. Морфологические наблюдения над славянским склонением // Р. Якобсон. Избранные работы. М., 1985.
- Calame-Griaule 1974 – G. Calame-Griaule. Dogon // West African language data sheets. 2. Legon; Leiden, 1980.
- Ferry, Pozdniakov 2001 – M.-P. Ferry, K. Pozdniakov. Dialectique du régulier / irrégulier dans la reconstruction des classes nominales // Leçons d'Afrique, Filiations, ruptures et reconstitution de langues, Un hommage à G. Manessy. Collection «Afrique et langage». 2. Paris, 2001.
- Kuryłowicz 1949 – J. Kuryłowicz. La nature des procès dits «analogiques» // Acta linguistica. T. 5 (1945–1949). Fasc. 1. Copenhagen, 1949.
- Pozdniakov 2003 – K. Pozdniakov. Micromorphologie ou morphologie de paradigme? // BSLP. T. XCVIII. Fasc. 1. 2003.
- Pozdniakov, Segerer 2004 – K. Pozdniakov, G. Segerer. Reconstruction des pronoms atlantiques et typologie des systèmes pronominaux // Systèmes de marques personnelles en Afrique. Collection «Afrique et langage». 8. Paris, 2004.
- Pozdniakov 2004 – K. Pozdniakov. Le système des pronoms linda: comment il s'organise? // Langues et cultures: terrains d'Afrique. Collection «Afrique et langage». 7. Paris, 2004.
- Pozdniakov, Segerer 2006 – K. Pozdniakov, G. Segerer. Les alternances consonantiques du sereer: entre classification nominale et dérivation // Africana linguistica. V. 12. 2006.
- Pozdniakov 2007 – K. Pozdniakov. Études atlantiques comparatives: questions de méthodologie // MSLP. XV. Tradition et rupture dans les grammaires comparées de différentes familles de langues. 2007.
- Teyssier 1988 – P. Teyssier. Le système des personnes dans les créoles portugais d'Afrique: étude génétique // La linguistique génétique: histoire et théories. Lille, 1988.

© 2009 г. Т.Б. АГРАНАТ

ДИСКУРСИВНЫЕ МАРКЕРЫ В ВОДСКОМ ЯЗЫКЕ*

Дискурс в водском языке до сих пор остается абсолютно неизученной областью, без преувеличения можно сказать, что на эту тему нет ни одного исследования. Настоящая работа представляет собой попытку прикоснуться к данной теме. Набор дискурсивных показателей в водском языке довольно ограничен, причем и те, что имеются, главным образом, заимствованы из русского языка. Рассмотрены дискурсивные маркеры независимо от их морфологического статуса. Орфография источников сохраняется, полевые записи автора даются в фонематической транскрипции. При примерах из полевых материалов автора ссылка на источник отсутствует.

Дискурсивные маркеры по функции делятся на 1) те, которые служат для эфатического выделения какого-либо из членов предложения и 2) средства организации дискурса.

1.0. Дискурсивных маркеров, служащих для эфатического выделения, исконных, как было сказано выше, немного, большая часть заимствована из русского языка.

1.1. Рассмотрим сначала исконные.

Vassa 'только' занимает позицию перед выделяемым членом синтагмы:

- (1) *mi*-лл *ðl-i-ø* *vassa* *ühs* *tõis* *čüme-ttä* *voot-ta*
 я-ADESS быть-IM¹-3SG только один второй.GEN десять-PART год-PART
kõnsa *miä* *men-i-n* *kariuši-ssi*
 когда я идти-IM-1SG пастух-TRSL
 «Мне было **только** 11 лет, когда я пошел в пастухи».

В восклицательных предложениях могут использоваться в качестве дискурсивных маркеров *nii* 'так, такой' и *ku(i)* 'как'. В первом случае порядок слов следующий: в начале – *nii*, на втором месте глагол, затем фокусный элемент:

- (2a) *nii* *ðl-t-i* *lusti-d* *jänise-d*
 так быть-IMP-IM красивый-PL заяц-PL
 «**Такие** были красивые зайцы».

- (26) *nii* *ðl-i-ø* *üvä* *men-nä* *mer-tä* *müütä* *vene-z*
 так быть-IM-3SG хорошо идти-INF море-PART через лодка-INESS
 «**Так** было хорошо по морю идти на лодке».

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 08-04-00208а.

¹ В работе приняты следующие сокращения: ADESS – адессив; ALL – аллатив; COPM – сравнительная степень; EL – элатив; ESS – эссив; FUT – будущее время; GEN – генитив; ILL – иллатив; IM – имперфект; IMP – имперсонал; IMPER – императив; INF – инфинитив; INESS – инессив; NEG – отрицательный глагол; PART – партитив; PL – множественное число; PRS – презенс; PTCP – причастие; SG – единственное число; SUPIN – супин; TRSL – транслатив.

Во втором случае *ku* занимает вторую позицию в предложении, за ним следует глагол, после которого – фокусный элемент:

- (3) *mi-lle ku on tuska*
 я-ADESS как быть.PRS.3SG грустно
 «Как мне грустно» (букв.: «мне как грустно»).

Особое место, как представляется, занимает дискурсивный маркер *či*, он используется только в прагматической функции, для фокусного выделения одного из членов синтагмы и не имеет собственной семантики. Занимает позицию непосредственно за выделяемым членом предложения:

- (4a) *se on či sinu sukulain*
 этот быть.PRS.3SG ты.GEN родственник
 «Это и есть твой родственник».

- 4б) *tämä či õl-i-ø sinne*
 он быть-IM-3SG там
 «И он там был».

- (4в) *too-b či ihan sihe järve-ll*
 идти-PRS.3SG прямо сюда озеро-ALL
 «Идет (≈ так) прямо сюда к озеру».

Данный показатель, по крайней мере в современном языке, является единственным, имеющим только прагматическую функцию. В более ранних синхронных срезах встречался малочастотный фокусный показатель *-ko*, при отрицании использовался специальный эмфатический аффикс *-iD* [Ariste 1968:107], см. об этом также [Alvre 1982].

1.2. Рассмотрим теперь заимствованные из русского языка дискурсивные маркеры, служащие для эмфатического выделения.

V'et' 'ведь' может находиться и в препозиции (5а), и в постпозиции (5б) к актуализируемому слову:

- (5a) *i v'et' sooma-z mi-lle pit-i-ø näh-ä*
 и ведь Финляндия-INESS я-ALL долженствовать-IM-3SG видеть-INF
õmma-a sukulais-sa
 собственный-PART родственник-PART
 «И ведь в Финляндии мне надо было увидеть своего родственника».

- (5б) *miä v'et' seal õl-i-n lahsõ-n*
 я ведь там быть-IM-1SG ребенок-ESS
 «Я ведь там была ребенком».

Показатель *že* 'же' обычно занимает место непосредственно после того слова, которое он актуализирует:

- (6) *tämä že minnua eestä e-b tää*
 он же я.PART совсем NEG-3SG знать
 «Он же меня совсем не знает».

Дискурсивный маркер *i* 'и' стоит в препозиции к тому члену предложения, который он актуализирует:

(7a) *tämä mi-лл i juttõ-b*
 он я-ALL и сказать-PRS.3SG
 «Он мне и говорит».

(7б) *siä v'et' oottõl-i-d karru-a, kaso, seel karu*
 ты ведь ждать-IM-2SG медведь-PART смотреть.IMPER.2SG там медведь
i too-b
 и идти-PRS.3SG
 «Ты ведь ждала медведя, смотри, там медведь и идет».

2.0. Среди средств организации дискурса также преобладают заимствованные.

2.1. Рассмотрим сначала заимствованные, так как в целом они представляют наиболее простые случаи. Наибольшее количество заимствованных средств организации дискурса выражают хезитацию говорящего, место их расположения в предложении относительно свободно.

Показатель *značit* 'значит':

(8) *f'ed'a značit taaz algõ-mma*
 Федя значит опять начинать.PRS-1PL
 «Федя, значит, опять начинаем...».

Показатели *ni* и *no* 'ну' употребляются синонимично:

(9a) *i siiz mei-l õl-i-ø se ni лаули urokk õl-i-ø*
 и тогда мы-ADESS быть-IM-3SG этот ну песня.GEN урок быть-IM-3SG
 «И тогда у нас был это, ну, урок пения был».

(9б) *no mee-mmä mee-mmä tul-i-mma so-hoo*
 ну идти.PRS-1PL идти.PRS-1PL приходить-IM-1PL болото-ILL
 «Ну, идем, идем, пришли на болото».

Дискурсивный маркер *vot* 'вот' может выражать хезитацию говорящего (10a), а может указывать на причинно-следственные отношения (10б):

(10a) *nu vot kopita-mma marja-a*
 ну вот собирать.PRS-1PL ягода-PART
 «Ну вот, собираем ягоды».

(10б) *se minu siso tahto näh-ä karru-a vot*
 это я.GEN сестра хотеть.IM.3SG видеть-INF медведь-PART вот
i ne-i-mmä
 и видеть-IM-1PL
 «Это моя сестра хотела увидеть медведя, вот мы и увидели».

2.2. Рассмотрим теперь исконные средства организации дискурса.

Для выражения уверенности говорящего используется маркер *taita* 'наверно':

(11) *e-b men-nü taita i роол tunni-a*
 NEG-3SG идти-PTCP наверно и половина час-PART
 «Не прошло, наверно, и получаса».

Хезитация говорящего может выражаться исконным *niki* 'как бы' (омонимичное союзу со значением 'как'). В старых записях образцов водской речи *niki* в такой функ-

ции не встречается. Надо сказать, что дискурсивное ‘как бы’ очень частотно и в русском диалекте носителей водского языка, это дает основание предполагать, что *niku* в дискурсивной функции – довольно поздняя русская калька:

- (12a) enne **niku** se perä sōa
 раньше как.бы этот после война.GEN
 «Раньше, **как бы** это после войны».

- (12b) miä **niku** taho-n jutõl-la mi-tä miä mäleht-i-n
 я как.бы хотеть.PRS-1SG говорить-INF что-PART я помнить-IM-1SG
 «Я **как бы** хочу рассказать, что я запомнила».

Очень частотно исконное средство организации дискурса *siiz* вследствие своей многозначности. В словаре [Tsvetkov 1995] оно переводится ‘тогда’, ‘потом’ и без перевода приводится пример: «ēstā peze silmet – sīz vass issu lavva taga», что можно перевести как ‘сперва умойся – потом (= тогда) только садись за стол’ (перевод мой. – Т.А.). В этой же словарной статье дано устойчивое выражение *sīs tči* (все-таки, даже при этом), которое интересно также в связи с рассмотренным выше *či*.

Интересно рассмотреть поведение *siiz* в дискурсе на материале разных синхронных срезов. Обратимся к текстам, записанным в первой трети XX в.

Здесь *siiz* наиболее часто указывает на последовательность событий:

- (13) lina-t tapp-as, siis raputta-as vilõmõ, siis
 лен-PART молотить-PRES.IMP потом трепать-PRES.IMP трепалкой потом
 säglät-äs i tšedrät-äs.
 чесать-PRS.IMP и прясть-PRES.IMP
 «Лен молотят, потом треплют трепалкой, потом чешут и прядут» [Ленсу 1930: 262].

Иногда – на одновременность:

- (14) nüt iõkain õma-a рала-a kõõs taho-p,
 теперь каждый свой-PART участок-PART когда хотеть-PRES.3SG
 siis i loo-p.
 тогда и косить-PRS.3SG
 «Теперь каждый свой участок когда хочет, тогда и косит» [Ленсу 1930: 257].

Иногда также встречается в условных конструкциях:

- (15a) ku lec-p liigapas, siis mü-n sussedo-i-lle.
 когда быть.FUT-3SG излишки то продавать-PRS.1SG сосед-PL-ALL
 «Если будут излишки, то продаю соседям» [Ленсу 1930: 252].

‘Если’ и ‘когда’ различаются, главным образом, по контексту, но может использоваться и русское заимствование *ieesli*, и во второй части все равно употребляется *siiz*:

- (15b) ieekli lee-vä üvā-t, siis en-tä vart korīaa-mma
 если быть.FUT-IMP хороший-PL то сам-PART для собирать-PRES.1PL
 «Если будут хороши, то на себя соберем» [Ленсу 1930: 249].

Очень частотно употребление *siiz*, не связанное ни со сменой событий, ни с одновременностью, ни с причинно-следственными отношениями, а исключительно как средства организации дискурса².

- (16) *litši us-sa, nurka-za on ahio. siis siäl*
 возле дверь-PART угол-INESS быть.PRS.3SG печь потом там
on veel lava, iäriü-t ümpäriikkaa.
 быть.PRES.3SG еще полок скамейка-PL кругом.
 «У дверей в углу есть печь. Потом там есть еще полок, скамейки кругом» [Ленсу 1930: 266].

В современном языке *siiz* употребляется так же: последовательность событий (17), одновременность (18):

- (17) *a kui men-i-ø kahs voot-ta siiz men-i-n õppõ-ma*
 а когда идти-IM-3SG два год-PART тогда идти-IM-1SG учиться-SUPIN
petteri-i.
 Ленинград-ILL
 «А когда прошло два года, тогда поехала учиться в Ленинград»³.

- (18) *müü ku õl-i-mma noorõ-d siiz čä-i-mmä sinne*
 мы когда быть-IM-1PL молодой-PL тогда ходить-IM-1PL туда
sil-la-l taanci-ma-z
 мост-ALL танцевать-SUPIN-INES
 «Мы когда были молодые, тогда ходили туда на мост танцевать».

И также необыкновенно частотно *siiz* в дискурсивной функции:

- (19) *Vunuuka Žen'a, see-l on nelle tõis*
 внук Женя этот-ADESS быть.PRS.3SG четыре второй.GEN
čümme-ttä voot-ta, siiz on veel vanõ-pi
 десять-PART год-PART потом быть.PRS.3SG еще старый-COMP

vunuuka Ondere, tä-ll joo on kahõsa tõis
 внук Андрей он-ADESS уже быть.PRS.3SG восемь второй.GEN
čümme-ttä voot-ta. Nüt joo čiare mee-b sõtamehe-ssi,
 десять-PART год-PART теперь уже скоро идти-PRS.3SG солдат-TRANS
tämä joo on suuri. Siiz on väävüü
 он уже быть.PRES.3SG большой тогда быть.PRES.3SG зять
Volod'a.
 Володя.

В собственном переводе информантки, автора высказывания, это выглядит так: «Внук Женя, ему 14 лет, и потом есть еще старший внук, Андрей, ему уже 18 лет. Теперь скоро пойдет в солдаты, он уже большой. Тогда есть зять Володя».

В русском диалекте носителей водского языка в синхронном срезе, засвидетельствованном Я.Я. Ленсу, как видим, в качестве эквивалента *siiz* встречаются русские «тогда» и «потом». У современных носителей водского языка в русском диалекте отчетливо прослеживается тенденция к вытеснению «потом» словом «тогда» и, соответственно, смешению их значений, о чем свидетельствует приведенный выше перевод («итак» и др. по-прежнему не употребляются).

² Ср. вопрос о трудности разграничения англ. *then* 'тогда' в функции наречия и дискурсивного маркера, который обсуждается в [Schiffrin 1987].

³ Собственный перевод информанта.

3.0. Рассмотрим, как функционируют дискурсивные показатели в более ранних синхронных срезах. Для примера возьмем сказку, записанную А. Альквистом [Ahlquist 1856], и ту же сказку, записанную Э. Сетяля дважды: в 1909 г. и в 1939 г. (опубликовано в [Posti, Suhonen 1964]). Вообще, Альквист записал фольклорные тексты двух жанров: свадебные песни и сказки. Но жанр традиционной свадебной песни не является даже квазиспонтанным нарративом, в отличие от жанра сказки, поэтому материал сказочного текста представляется более естественным для поиска дискурсивных маркеров. Понятно, что и Альквист, и Сетяля могли отрезать то, что в терминологии того времени называлось «слова-паразиты», но «вычистить» весь текст они не могли, так как их задача заключалась в записи не фольклорных сюжетов, а образцов речи. Кроме того, все три текста имеют очень незначительные расхождения.

Во всех трех записях сказки отсутствуют заимствованные *vot*, *nu*, *ведь* и собственное *niki*, очень частотные в речи современных носителей. В [Ahlquist 1856] заимствованный из русского языка союз *a* встречается четыре раза, из них два раза в собственно дискурсивной функции (20а,б). Предложение в примере (20б) совпадает в [Ahlquist 1856] и [Posti, Suhonen 1964], в (20а) дискурсивный маркер *a* есть только в [Ahlquist 1856], в [Posti, Suhonen 1964] в обоих текстах ему соответствует $\emptyset$, в остальном это предложение во всех трех текстах совпадает.

(20а) «Kuhõ taho-t men-nä?» – «A lähe-n
куда хотеть-PRS.2SG идти-INF а направляться-PRS.1SG
Jumala-lta tö-tä c'üsü-mä-se».
Бог-ABL работа-PART просить-SUPIN-ILL
«Куда хочешь идти?» – «А направляюсь у Бога работы просить».

(20б) A sõtames sîtä tul-i- $\emptyset$ swätoi, swätoi Kuisma
а солдат поэтому приходить-IM-3SG святой святой Кузьма
«А солдат поэтому стал святой, святой Кузьма».

Один раз *a* употребляется во всех трех текстах как противительный союз:

(21) ...rikkâ-lta wõtt-i- $\emptyset$ denggo-i-ta, a c'öühä-t tappõ-i- $\emptyset$.
богатый-ABL брать-IM-3SG деньги-PL-PART а бедный-PL убивать-IM-3SG
«...У богатых брала деньги, а бедных убивала».

И один раз, также во всех трех текстах, употреблен в значении следствия:

(22) ...kui' 'b õl-lu mi-lla denggo-i enäppi kui' kõlme
как NEG.3SG быть-PTCP я-ADES деньги-PART больше чем три
rubl-â, a tappõ-i- $\emptyset$...
рубль-PART а убивать-IM-3SG
«...поскольку не было у меня денег больше, чем три рубля, убила...».

В двух предложениях во всех трех записях сказки употреблен дискурсивный маркер *hot* 'хоть', заимствованный из русского языка. Одно из этих предложений полностью совпадает во всех трех памятниках, в другом есть небольшие текстовые расхождения, приведем его здесь в качестве примера: в (23а) – из [Ahlquist 1856], в (23б) – из [Posti, Suhonen 1964], где эти предложения одинаковы:

(23а) Hot n'ûhatta-wâ dali põletetta-wâ
хоть нюхать-PTCP или курить-PTCP
«Хоть нюхать или курить».

(23б) Hot n'ûhatta-vâ hot põletetta-vâ.
хоть нюхать-PTCP хоть курить-PTCP
«Хоть нюхать, хоть курить».

По частотности во всех трех исследуемых текстах лидирует маркер *siiz*: 14 раз он употребляется в [Ahlquist 1856] и по 12 раз в текстах [Posti, Suhonen 1964], в этих последних его употребление совпадает.

Рассмотрим сначала примеры, в которых *siiz* встречается только в старшем памятнике. В (24) в двух других текстах в этом случае – $\emptyset$:

- (24) Tappõ-i- $\emptyset$ sîs Surma sõtamehê' tēle.
 убивать-IM-3SG тогда смерть солдат.GEN там
 «Убила тогда Смерть солдата там».

В следующем примере в значении следствия в текстах [Posti, Suhonen 1964] ему соответствует *nii* 'так':

[C'üsüsi seälä: «onko kassena tabakkâ, n'ûhattawâ dali põletettawâ?» Wassattî: «'b õle». Tämä jutteli:

«Спросил там: "есть ли здесь табак курить или нюхать?" Ответили: "Нет". Он сказал:»]

- (25a) kui' 'b õle, mi-lla 'b sîs kassenna sünnü
 если NEG.3SG быть я-ALL NEG.3SG тогда здесь подходить
 õl-la».
 быть-INF
 «Если нет, мне тогда не подходит здесь быть».

- (25b) ku b-еле, nî mi-лла kassenna e-p sünnü õl-ла
 как NEG.3SG-быть так я-ALL здесь NEG-3SG подходить быть-INF
 «Если нет, так мне не подходит здесь быть».

Остальные примеры, где встречается *siiz*, (одинаковые во всех памятниках), распадутся на три группы: со значением причины (26), следствия (27) и последовательности событий (28). В [Posti, Suhonen 1964] приводится перевод на финский язык, *siiz* в значении причины всегда переводится *siksi* 'потому, поэтому', в значении следствия – *silloin* 'тогда', при передаче последовательности событий – *sitten* 'потом, затем'.

- (26) «Ühehsä' aigassaikâ tammisikko-a murtel-i-n, sîs õle-n
 девять лет дубрава-PART крушить-IM-1SG тогда быть.PRS-1SG
 nî' õпо».
 так худой
 «Девять лет дубраву крушила, поэтому я такая худая».

- (27) Surma juttel-i- $\emptyset$: «anna-t mi-lle denggo-i-ta, sîs
 смерть сказать-IM-3SG дать.PRS-2SG я-ALL деньги-PL-PART тогда
 e-n tара».
 NEG-1SG убивать
 «Смерть сказала: "Дашь мне денег, тогда не убью"».

- (28) Tämä kõlme päivä õl-i- $\emptyset$ tul-i- $\emptyset$ tagâs sîs.
 он три день.PART быть-IM-3SG приходить-IM-3SG обратно потом
 «Он три дня был, пришел обратно потом».

В родственном водскому финском языке слово *siis* имеет значение 'следовательно, итак, стало быть, значит' и не употребляется для обозначения последовательной смены событий, одновременности или причинно-следственных отношений. Имеющий давнюю литературную традицию финский язык развил другие лексические средства для выражения перечисленных смыслов, но основная причина неиспользования *siis* в этих

функциях заключается в сохранении в финском языке так называемых «эквивалентов предложения». Ср., например, адекватный перевод на финский язык⁴ водских предложений из примеров 17 и 18 соответственно:

Kahde-n	vuode-n	pääs-tä	men-i-n	opiskele-ma-an
два-GEN	год-GEN	кончать-1NF	идти-IM-1SG	учиться-3INF-ILL
Lenski-in				
Ленинград-ILL				
Nuori-na	lähd-i-mme	tanssi-ma-an	silla-lle	
молодой-ESS	идти-IM-1PL	танцевать-3INF-ILL	мост-ALL	

Последние являются исконными полипредикативными конструкциями с нефинитными глагольными формами в зависимой предикации. Искусственно удерживаемые литературной нормой, такие конструкции хорошо сохранились в финском, но почти совсем исчезли в других прибалтийско-финских языках, особенно не имевших письменной традиции. В водском языке, как и во всех прибалтийско-финских, были такие конструкции, но от них остались лишь реликты [Агранат 2001; 2008]. Утратив исконные средства для обозначения вышперечисленных отношений, водский язык пошел по пути омонимии их выражения. По всей видимости, это возможно, поскольку водский язык используется в весьма ограниченном количестве типов дискурса. Кроме того, обращает на себя внимание бедность набора исконных дискурсивных маркеров, их позднее заимствование из русского языка, поэтому *siiz* являлся почти универсальным средством организации дискурса.

4.0. Особняком стоит еще один тип дискурса – религиозный. Дело в том, что языком церкви для води всегда выступал русский и только однажды в XIX в. были переведены четыре главы Евангелия от Матфея (см. [Mustonen 1883]). Текст этот явно не достаточен для богослужения, тем не менее он представляет интерес для лингвистического анализа. Интересно, что он содержит собственный набор дискурсивных маркеров. Несмотря на то, что имеются экстралингвистические, социолингвистические, а также собственно лингвистические основания считать, что перевод был выполнен с русского языка (подробно см. [Агранат 2005]), в нем совершенно отсутствуют заимствованные дискурсивные показатели. Русские дискурсивные маркеры здесь переведены на водский язык не механически, не в виде калек, а творчески; рассмотрим, как это сделано.

4.1. Дискурсивный маркер ‘се’ переводится несколькими способами. Если в предложении речь идет о событии, воспринимаемом зрительно, ‘се’ переводится *katso* (29a) или его редуцированным эквивалентом *kaa* (29б); обе формы также употребляются в качестве императива от глагола *kattsõma* ‘смотреть’, в роли дискурсивных маркеров примерно соответствуют русским *вишь*, *вот*.

(29a) Kuu nämät õl-tii takaas lähte-nee-t,
 когда они быть-IM.IMP назад отправляться-PTCP-PL
 katso siis näüttii-s-ø Jumala eñkeli unõ-za Ossipa-lõ...
 се тогда являться-IM-3SG бог.GEN ангел сон-INESS Иосиф-ALL
 «Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является во сне Иосифу...»
 (Matf. 2:13).

(29б) Ja kaa tähti, ten näü päivändisu-la, näd’je
 и се звезда кто являться.IM.3SG восток-ADD они.GEN
 eessä men-i-ø...
 перед идти-IM-3SG
 «И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними...» (Matf. 2:9).

⁴ Автор благодарит Н.С. Братчикову за помощь в переводе на финский язык.

Если же в предложении речь идет о событии, воспринимаемом на слух, то ‘се’ переводится *kuulõ* – императив от глагола *kuulõma* ‘слышать’:

- (30) Ja kuulõ, ääni taiva-ssa juttõl-i-ø...
и се голос небо-EL говорить-IM-3SG
«И се, глас с неба глаголющий...» (Matf. 3:17).

Встретился пример, где в русском тексте дискурсивный маркер отсутствует, а в водском – *katso*:

- (31) Jeesus ku süntü-si-ø Judejan lidna-z Betlemi-za
Иисус когда родиться-IM-3SG Иудея.GEN город-INESS Вифлессем-INESS
kunika Iroda aika-n, **katso** tul-i-vat itä-poolõ-ssa
царь.GEN Ирод.GEN время-ESS приходить-IM-3PL восток-сторона-EL
viisa-t Jerusalema-a i pajatt-i-vat...
мудрец-PL Иерусалим-ILL и говорить-IM-3PL
«Когда же Иисус родился в Вифлессе Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят...» (Matf. 2:1).

Русский дискурсивный показатель ‘итак’ переводится *sene perässä* (букв. ‘после того’):

- (32) Sene perässä, kuu siä tōüh-i-i lahjõ-j-a
тот.GEN после когда ты бедный-PL-GEN подарок-PL-GEN
anna-t, e-p riä sinu ene eezä
давать-PRS.2SG NEG-3SG надо ты.GEN сам.GEN перед
anta trubitta-a...
подаяние.GEN трубить-INF
«Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою...» (Matf. 6:2).

Есть случаи, когда в русском тексте дискурсивный маркер отсутствует, а в водском – используется *sene perässä* как показатель последовательности событий:

- (33) Sene perässä, tämä nõis-i-ø üles ja võtt-i-ø
тот.GEN после он встать-IM-3SG вверх и брать-IM-3SG
sene lahse ene kaa ja tämä smä
тот.GEN ребенок.GEN сам.GEN с и он.GEN мать.GEN
öö-lä i pakkõ-s-ø Aigüptuse maa-lõ.
ночь-ADESS и убежать-IM-3SG Египет.GEN земля-ALL
«Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет» (Matf. 2:14).

Этот же показатель может передавать значение причины, в русском тексте ему соответствует ‘ибо’:

- (34) Sene perässä, miä juttõ-n tei-le, jott Jumala
тот.GEN после я говорить.PRS-1SG вы-ALL что бог
või-b nii mokom-i-ssa tivi-lõi-ss’ Abraami-lõ
мочь-PRES.3SG так такой-PL-EL камень-PL-EL Авраам-ALL
lahs-i-a teh-ä.
ребенок-PL-PART делать-INF
«Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Matf. 3:9).

4.2. Что касается показателя *siiz*, в данном тексте он также относительно частотен, хотя и в меньшей степени, чем в рассмотренных выше типах дискурса.

'*Siiz*' встречается здесь в значении следствия:

- (35) Siis jätt-i-ø tämä sene
тогда оставлять-IM-3SG он тот.GEN
[Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду.] «Тогда Иоанн допускает его» (Matf. 3:15).

В значении одновременности действия:

- (36) Nämä ku näṭ-i-vät si-tä tähti-ä taiva-ssa, siis
они когда видеть-IM-3PL тот-PART звезда-PART небо-EL тогда
näi-lä tul-i-ø nii üvä meeli.
они-ALL приходить-IM-3SG так хороший настроение
«Увидевши же звезду, они обрадовались радостью весьма великою» (Matf. 2:10).

Встречается также в значении последовательности (см. пример 29a), в одном случае трудно разграничить значение последовательности событий и дискурсивную функцию *siiz*:

- (37) Siis on tōt-ta tul-lu, mi-tä prorokka
тогда быть.PRS.3SG истина-PART приходить-PTCP что-PART пророк
Jeremias on pajata-nnu, ten juttōḏ-b
Иеремия быть.PRES.3SG говорить-PTCP кто сказать-PRS.3SG
[Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.] «Тогда сбылось реченное чрез пророка Иеремию, который говорит...» (Matf. 2:17).

В семи случаях *siiz* употребляется в собственно дискурсивной функции:

- (38) Siis läh-si-ø tämä tüve kõiki Jerusalem ja
тогда отправляться-IM-3SG он.GEN к весь Иерусалим и
Juuda maa väṭi ja kõiki Jordani maa väṭi
Иудея земля.GEN народ и весь Иордан земля.GEN народ

[Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих; а пищею его были акриды и дикий мед.] «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему» (Matf. 3:5).

Если в рассмотренных выше типах дискурса у *siiz* практически не было конкурентов, то в религиозном, как видим, есть и другие средства организации дискурса⁵. Возможно, это связано с тем, что автор перевода создавал единственный в истории функционирования водского языка письменный текст (все остальные записанные тексты, в том числе и сказки, являются письменной фиксацией устной речи), т.е. он неизбежно «конструировал» литературный язык и новый для водского языка тип дискурса, который, естественно, должен отличаться от разговорного большей структурированностью и меньшей омонимией средств выражения.

⁵ К сожалению, на водский язык библейские тексты, как выше было сказано, переводились лишь однажды, поэтому мы не имеем возможности сравнить религиозный дискурс разных синхронных срезов. Но интересно, что в близкородственном финском языке отмечены случаи, когда в переводе Библии 1642 г. *nyt* 'теперь', 'сейчас' соответствует *siis* 'следовательно', 'итак', 'стало быть', 'значит' в переводе 1992 г. [Hakulinen, Saari 1995: 496].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агранат 2001 – Т.Б. *Агранат*. О семантике некоторых полипредикативных конструкций в водском языке // Мат-лы междунар. научно-методич. конф. преподавателей и аспирантов. СПб., 2001.
- Агранат 2005 – Т.Б. *Агранат*. Перевод Евангелия на водский язык // Мат-лы XXXIV междунар. филол. конф. СПб., 2005.
- Агранат 2008 – Т.Б. *Агранат*. Эвиденциальность в водском языке // Вопросы филологии. 2008. № 2.
- Ленсу 1930 – Я.Я. *Ленсу*. Материалы по говорам води // Западно-финский сборник. Л., 1930.
- Ahlquist 1856 – A. *Ahlquist*. Wotisk grammatik jemte språkprof och ordförteckning. Helsingfors, 1856.
- Alvre 1982 – P. *Alvre*. Das wotische Suffix -č*i* und seine Varianten // Советское финно-угроведение. XVIII. 4. 1982.
- Ariste 1968 – P. *Ariste*. A grammar of the Votic language. The Hague, 1968.
- Hakulinen, Saari 1995 – A. *Hakulinen*, M. *Saari*. Temporaalisesta adverbista diskurssipartikkeliksi // Virittäjä. 4. 1995.
- Posti, Suhonen 1964 – L. *Posti*, S. *Suhonen*. Les notes d'E.N. Setälä sur la langue vote // MSFOu. Helsinki, 1964.
- Schiffrin 1987 – D. *Schiffrin*. Discourse markers. Cambridge, 1987.
- Tsvetkov 1995 – D. *Tsvetkov*. Vatjan kielen joenperän murteen sanasto. Helsinki, 1995.

© 2009 г. А.Л. ШИЛОВ

СУБСТРАТНАЯ ТОПОНИМИЯ РУССКОГО СЕВЕРА В СВЕТЕ РАБОТ А.К. МАТВЕЕВА

В работах А.К. Матвеева, базирующихся на результатах сорокалетних полевых исследований, произведен анализ субстратной топонимии Русского Севера (РС) – Вологодской и Архангельской областей. Арсальный анализ вкупе с этимологическим анализом дифференцирующих топооснов и топоформантов показал, что основной древней этноязыковой оппозицией на РС является противостояние саамов и севернофиннов – чуди русских летописей и преданий. Позднее на эту древнюю топонимию наложился прибалтийско-финский (пр.-фин.) – карельский и венский слой. При этом, данные как топонимии, так и заимствованной лексики показывают, что языковая картина РС была мозаичной. Вследствие этого русские в разных районах РС имели непосредственные контакты как с прибалтийскими финнами и финноугорской чудью, так и с разными диалектными группами саамов.

Выход трехтомной монографии Александра Константиновича Матвеева «Субстратная топонимия Русского Севера» [СТРС] знаменует собой эпохальный этап в изучении финно-угорской топонимии на территории России.

Подводя итоги длительной (более полутора веков), подчас ожесточенной дискуссии, А.К. Матвеев доказательно обосновал языковую принадлежность (назовем ее условно финно-саамской) многослойной, нестрой по своему составу субстратной топонимии Русского Севера (РС), особо подчеркнув отсутствие там как угорских, так и нефинно-угорских (имея в виду дорусское время) элементов. Заодно с этноязыковой карты РС «вытеснены» как минимум до Двины (с некоторыми оговорками) пермяне и самодийцы.

Фактически труд А.К. Матвеева не просто энциклопедия дорусской топонимии Русского Севера (богато иллюстрированная содержательными картами¹), но и энциклопедия методов исследования субстратной топонимии безотносительно к ее языковой принадлежности. Гарантацией этого является многолетний опыт работы А.К. Матвеева в области исследования топонимии и лексики народов Севера России (как на европейской ее территории, так и в Зауралье), причем опыт не только кабинетный, но, что существенно, в значительной степени живой – экспедиционный, полевой.

Материальной же базой теоретических и методологических исследований А.К. Матвееву служит уникальная картотека, созданная более чем сорокалетними трудами организованной им же топонимической экспедиции Уральского государственного университета (ТЭ УрГУ).

Для отечественных, равно как и для многих зарубежных ономатологов, монография бесспорно призвана стать настольной книгой².

¹ Облегчают знакомство с фактическим материалом монографии и указатели топонимов. К сожалению, такого указателя нет в первой части. Библиография приводится к каждой части, что удобно для читателя.

² Впрочем, как это ни горько, такое вряд ли возможно в действительности, ибо тираж монографии составляет всего 200 экз., что совершенно недостаточно даже для отечественного научного сообщества.

Считаем необходимым обозначить следующие существенные моменты общего характера.

- Монография столь богата идеями (часть которых уже реализована в виде определенных выводов), поднимает такое количество вопросов (в том числе самим представленным материалом), что в журнальной статье все моменты отразить и обсудить заведомо невозможно. Это потребовало бы труда, сопоставимого по объему с самой монографией. Поэтому, стараясь по возможности кратко представить ее содержание, мы неизбежно обсуждаем лишь узловые и дискуссионные (по нашему субъективному мнению) позиции труда А.К. Матвеева.

- При всей своей монументальности [СТРС] не является закрытым трудом-справочником. Напротив, она уже вызвала к жизни ряд полемических и проблемных публикаций [Saarikivi 2004; 2006; Хелимский 2006], а также инспирировала отдельные частные исследования, касающиеся, подчас, и иных территорий [Ваахтера 2007; Шилов 2008б]. Более того, А.К. Матвеев сам подчас корректировал собственные выводы уже в ходе написания монографии. Так, если в [СТРС I: 220–221] варьирование топоформанта *-nel-da/-nalda* он относил на счет различия источников из живых языков (пр.-фин. *peld(o)*, саам. *pealt, peäldu* ‘поле’), то позднее соответствующие примеры он включил в ряд лексических и топонимных основ, демонстрирующих соответствие субстратного *a* прибалтийско-финскому *e* [СТРС II: 206–207]. Ср. также детализацию карт, отражающих лингвогеографическое членение СТРС в [СТРС I: 345] и [СТРС II: 330].

- За пределы монографии фактически выведена мерянская проблема (хотя ряд «мерянских» этимологий в ней рассматривается, см., например [СТРС I: 206–210]), при том, что на настоящий момент для решения этой проблемы в области топонимии А.К. Матвеев сделал, пожалуй, как никто много. Дело в том, что массовое привлечение и комментирование соответствующего материала с исторических мерянских земель (ИМЗ) заведомо увело бы далеко за те, достаточно жесткие географические рамки, которыми ограничен материал монографии (об этом ниже). Впрочем, соответствующие публикации (к которым следует добавить и [Матвеев 2003; 2007]) собраны А.К. Матвеевым в отдельный раздел иной его монографии [Матвеев 2006].

- Важным моментом для восприятия основных положений монографии является позиция автора, выраженная следующим образом [СТРС I: 11, 12]: «Взгляды автора на столь сложную проблему изменялись как в связи с накоплением и изучением новых фактов, так и вследствие совершенствования методов их обработки (...) В книге использована только та часть находящихся в распоряжении автора фактов, которая была, на его взгляд, достаточно убедительно интерпретирована. В нее не был включен ряд предположений и рабочих гипотез, высказанных публично в целях широкого обсуждения проблемы, но не получивших достаточно веских доказательств или не подтвержденных». Мы еще отметим, что А.К. Матвеев в своих построениях, во-первых, вполне сознательно, за редкими исключениями, не использует праприбалтийско-финские (ПФ) и финно-саамские (ПФС) реконструкции, существенные, как представляется, для этимологизации значительных групп «чудских» топонимов (об этом подробнее ниже), во-вторых – практически игнорирует иные группы финской чуди (не саамов и не прибалтийских финнов), кроме тех, что обозначены им как севернофинны, т.е. занимавших юго-восточную часть РС (Вага, верхнее течение Двины). Точнее, он безусловно признает наличие разных маргинальных чудских групп, но, как правило, трактует их как мигрантов из севернофинского ареала.

После этих предварительных замечаний перейдем к собственно обзору монографии. Очерк истории вопроса [СТРС I: 13–47] предваряется замечанием, что он доводится до начала работ ТЭ УрГУ на РС (1961 г.), ибо систематический фронтальный сбор СТРС совершенно изменил источниковую базу и позволил на многое взглянуть по-новому³.

³ Это не значит, что А.К. Матвеев при обсуждении конкретного материала не учитывал новейших работ. Напротив, учитывал (вплоть до вышедших в 2006 г.) и оперативно на них реагировал.

Подходы разных авторов к трактовке СТРС условно объединяются в рамках финской, угорской и дофинно-угорской гипотез. При рассмотрении финской гипотезы высоко оцениваются (с существенными, впрочем, оговорками) работы лингвистов XIX в. А. Шёгрена и М. Кастрена, заложивших, по сути, основы научного изучения СТРС с позиций финно-угристики. Отмечены ценные для того времени выводы М.П. Веске о билингвизме древней чуди и о наличии доприбалтийско-финского финно-угорского субстрата (для русских – субсубстрата). Особо выделены исследования М. Фасмера, внесшего в изучение СТРС ряд принципиально новых моментов: региональный принцип, учет фонетических соответствий при адаптации топонимов и хронологии фонетических изменений в заимствующем языке, использование билингв и метонимических калек, выделение структурных и семантических типов. Указано, что основные его просчеты (как, собственно, и у ряда других исследователей) обусловлены неполнотой (подчас – и ненадежностью) используемого материала. Но отмечена и прозорливость М. Фасмера в отношении лингвоэтнической принадлежности населения РС, создавшего топонимию того или иного типа (*-енга* и др.), и стратификации ряда пластов СТРС. В целом скептически оценив работы Я. Калимы, Матвеев, тем не менее, отметил ряд интересных соответствий в основах типа *синд-* ~ *шинд-*, *согр-* ~ *шогр-*, для которых Калима верно указал на их неприбалтийско-финское происхождение. При анализе работ А.И. Попова высоко оценены широкое использование письменных памятников и большое внимание к топонимическим калкам. Вместе с тем осуждено пренебрежение к вопросам фонетики и лингвистического картографирования, а также неприятие формантного метода. Раздел заканчивается объяснением автора его приверженности финской (фактически – финно-саамской) гипотезе.

Рассматривая угорскую гипотезу, автор категорически (и по справедливости) отвергает соответствующую исходную идею Д. Европеуса, отдавая при этом дань ряду новаторских методологических приемов в исследовании СТРС и отдельным этимологическим находкам этого незаурядного исследователя. О работах Б.А. Серебренникова и А.П. Афанасьева (возрождающих в той или иной степени угорскую гипотезу), автор говорит вскользь, не считая их достаточно аргументированными.

Признавая факт присутствия на РС многочисленных названий, не этимологизируемых из известных финно-угорских языков, Матвеев указывает на крайнюю шаткость и неубедительность сторонников дофинно-угорской гипотезы в ее самодийском (А.П. Дульзон), тунгусо-маньчжурском (М. Рясянен), урало-алтайском (Г.М. Василевич) и волго-окском (Б.А. Серебренников) вариантах⁴. Последний вариант, впрочем, по нашему мнению, имеет право на жизнь, если говорить не о неких индоевропейцах, а о палеоевропейцах культуры ямочно-гребенчатой керамики (см. [Напольских 1997 с лит.], а в отношении субстратной географической лексики в пр.-фин. и саамском – [Saarikivi 2006])⁵. Не исключено, в частности, что топонимическим наследием этих палеоевропейцев являются многочисленные, но ареально невыразительные гидронимы на *-Изьма*, *-Ижма* (см. о них [Кабинина 2008]).

Далее обосновывается оправданность выделения топонимического региона «Русский Север», т.е. Архангельской (без Ненецкого АО) и Вологодской областей в соответствии с лингвоэтническими данными и с историко-географической точки зрения. Отмечается, что сравнение результатов отдельного изучения топонимии РС и соседних регионов (Карелии, Республики Коми, Мурманской и Ленинградской областей, Волго-

⁴ Полностью соглашаясь с А.К. Матвеевым в этом отношении, подчеркнем, что его позиция не означает полного отказа от сопоставлений СТРС с данными угорских и самодийских языков при отсутствии пр.-фин. и саамских параллелей. Так, привлечение подобных данных оказалось вполне уместным при обсуждении генезиса гидроформанта *-Ин(ь)га* (см. ниже). Равным образом, по нашему мнению, оправданно привлечение подобных данных при интерпретации «темных» элементов СТРС, таких, например, как термин *пендус* (см. [Шилов 1997]), основ *Лумб-*, *Калч-* и форманта *-анга*. Здесь мы можем иметь дело с уральскими (но не сугубо самодийскими!) реликтами, сохранившимися в вымерших финских языках РС.

⁵ Мы здесь не имеем в виду протосаамский («арктический») субстрат Фенноскандии.

Окского междуречья) должно стать предметом особого исследования. При этом, однако, отсылки к данным с указанных территорий встречаются в монографии многократно.

Основным источником исследования является, как уже отмечено, картотека ТЭ УрГУ. На начало 2001 г. отдел Русского Севера картотеки насчитывал около 1 300 000 карточек, 300 000 из которых содержат сведения о субстратных топонимах, 600 000 о топонимах русского происхождения, 400 000 – лексику русских говоров, в том числе заимствованных слов и субстратных включений⁶. Кстати, богатство картотеки и сплошной равномерный охват ТЭ территории РС – дополнительный аргумент к ограничению границ региона, рассматриваемого в монографии. Коль скоро соседние территории обследованы не столь тщательно и равномерно (или, скажем так, данные этих обследований пока доступны исследователям далеко не в полной мере), сравнение может дать искаженную картину.

Активно использовался картографический и письменный (исторический) материал, в первую очередь – для выявления топонимов, уже неизвестных местному населению и для восстановления ранних, не искаженных позднейшей адаптацией или переосмыслением форм топонимов.

Далее описываются основные методы и приемы исследования субстратной топонимии: формантный метод и близкий к нему метод географических терминов; картографирование топонимов и их элементов (основ, формантов); сопоставление калек; статистические методы (структурно-фонетический, фоностатистика); учет фонетической и морфологической адаптации; учет семантической мотивированности топонимов; использование физико-географических данных об объектах; привлечение субстратных (заимствованных) апеллятивов. Подробно рассмотрены наиболее актуальные для топонимии РС вопросы: значение русской топонимии для интерпретации субстратных топонимов, основные принципы исследования и методы выявления системных отношений в субстратной топонимии, в частности – создание (моделирование) частного идеографического словаря топонимических компонентов. Здесь отметим особо существенное наблюдение [СТРС I: 67]: для ряда обширных территорий фактический материал не подтверждает широко распространенного мнения о том, что этнотопонимы встречаются чаще всего в зоне маргинального контакта двух народов. На РС (и в ИМЗ) русские и финно-угры жили длительное время чересполосно и контакты между ними носили внутрирегиональный характер.

Следующая глава посвящена общей характеристике СТРС и проблемам ее адаптации. Говоря о непростом вопросе разграничения субстрата и заимствования в топонимии, Матвеев отмечает, что решающим фактором здесь является наличие или отсутствие этнической ассимиляции, ибо субстратные элементы могут возникать только при поглощении одного народа другим. Но на практике такая дифференциация невероятно трудна, поскольку различны прежде всего механизмы процессов, а их результаты сплошь и рядом совпадают.

Отмечено, что процесс обрусения отдельных территорий РС происходил неравномерно, с различной скоростью и интенсивностью, и завершился (как и начался. – А.Ш.) не одновременно. Как следствие, на разных территориях неизбежно был различен и характер взаимодействия языка и складывающейся в нем топонимической системы с языком (языками) коренного населения. При этом, чем длительнее был этап билингвизма, тем более многообразным становилось взаимодействие языков.

В свое время М. Фасмер выделил пять основных типов усвоения пр.-фин. названий в русскую топонимическую систему: 1) полное усвоение топонима с сохранением обеих его частей (определение + детерминант = географический термин), 2) частичный перевод, т.е. перевод детерминанта, 3) эллипсис, т.е. усечение детерминанта, смысл которого стал известен русским, 4) полный перевод топонима, 5) осложнение субстратных топонимов русскими аффиксами. А.К. Матвеев, однако, констатирует, что для РС схема

⁶ О богатстве этого источника можно судить по содержанию первого выпуска [МСФУЗС] и первых выпусков [СТРС].

Фасмера требует уточнений. Если говорить об эллипсисе, то, если в основе выступает географический термин (*Каска*, ср. пр.-фин. *kask(i)* 'подсека'; *Корба*, ср. пр.-фин. *korh(i)* 'лесная глушь' и т. д.), это могут быть не эллиптические топонимы, а географические термины в топонимическом употреблении. Равным образом, такие названия как *Кярныш* (ср. вепс. *karniš*, саам. *kārnes* 'ворон'), *Мезра* (ср. пр.-фин. *mägr(ä)* 'барсук') и т. д. могут оказаться псевдоэллиптическими, представляя собой случаи топонимического употребления тотемистических или прозвищных именований, перенесенных на географический объект с названия племени или рода.

Полный перевод может быть надежно доказан лишь при фиксации параллельных разноязычных форм, характеризующих один и тот же объект⁷. Но это реально лишь при наличии двуязычия, которое на РС представляет собой давно минувший этап языкового взаимодействия. Вместе с тем, на РС многочисленны метонимические кальки: одинаковые в плане содержания, но различные в плане выражения (разноязычные) названия смежных объектов, например в *Рабручей* (ср. вепс. *raba* 'гуща, грязь') впадает ручей *Грязный*, в оз. *Чачема* (ср. саам. *časse* 'вода') впадает р. *Мокрая* и т. д. Часто метонимические кальки имеют решающее значение при интерпретации топонимов.

Сверх указанных Фасмером, А.К. Матвеев отмечает еще один тип, на первый взгляд, противозестественных названий – гибридные, содержащие гетерогенные составные части в необычном соотношении: субстратный элемент – в форманте, русский – в основе. Такие сложения потенциально могли возникнуть в следующих случаях: при проникновении русских заимствований в язык субстрата; при реализации народной этимологизации иноязычной основы на русской почве; при втягивании русских названий в ряд субстратных топонимов (*Ольшанга* < *Ольшанка*). Особо интересны для исторической лексикологии случаи, когда гибридные названия возникали в результате заимствования русскими говорами «чудских» географических терминов, которые затем были утрачены в качестве апеллятивов. Доказать это непросто⁸, хотя такие факты, как фиксация субстратного топонима в форме *pluralia tantum* вроде бы свидетельствует о наличии в его составе некогда функционировавшего (в русском) термина, ибо употребление топонима во множественном числе предполагает понимание значения соответствующего апеллятива. См. *Монепелды* («Многополье», ср. карел. *moni* 'много' и *peldo* 'поле'), *Шубачи* («Осинники», ср. саам. *surpe* 'осина'). Показательны также сочетания и сложения русских лексических компонентов с субстратными, ср. название озера *Черная Чачка* (саам. *časse* 'вода'), т.е. «Черная водичка» и болота *Редкошубачное*, т.е. «С редким осинником».

При рассмотрении фонетической адаптации субстратных топонимов русским языком подчеркнуто, что основная трудность здесь состоит в том, что фактическое состояние звуковой системы бесписьменных вымерших языков нам неизвестно по определению и потому анализ субстратной топонимии приводит, в конечном счете, не к восстановлению фонетической системы языка-источника, а лишь к определению системы ее рефлексов в заимствующем языке.

После описания общих фонетических закономерностей субстратных языков РС следует анализ адаптации гласных и согласных. Особое внимание уделено вопросу об отражении в субстратной топонимии фонетических явлений, характерных для древнерусского языка старейшей эпохи (передача пр.-фин. *i*, *y* русскими редуцированными, отражение носовых и полногласия). Сделан вывод, что, в отличие от территорий ран-

⁷ Казалось бы, на перевод может указывать структура названия типа *Белоламбина* (не *Белая ламбина*), *Краснощелье* (не *Красная щелья*), характерная для пр.-фин. и саамской, но не для русской топонимии (об этом писали многие авторы). Но укажем на возможное адстратное влияние чудской топонимической системы на русское ономотворчество, с одной стороны, и на изначально русские названия типа *Лукобор*, *Краснобор* (р. Чагодоша), *Долгомох* (Карелия).

⁸ Иногда этому способствует контекст ранних документов. Так, для Подвинья надежно реконструируется чудский по происхождению (с пр.-фин. соответствиями) термин *юрмола* 'прибрежный сухой луг' [СТРС II: 267–272], а для Карелии – *матка* 'перешеек, волок, озерное дефиле' и *масельга* 'водораздел' из саамского и пр.-фин. соответственно [Шилов 2008а: 20, 28].

него освоения (Новгородская и часть Ленинградской обл.), в период колонизации РС в языке переселенцев не было ни редуцированных, ни носовых гласных; сомнительно и наличие полногласия как живого процесса⁹. Отмечено, что из старых финско-русских соответствий в топонимии РС отражено лишь пр.-фин. *ä* – русск. *o*¹⁰ при пр.-фин. *ä* – русск. *a* для более позднего времени. Рассмотрены также непростые вопросы о происхождении *ы*, соответствии фин. *ä* – русск. *e* и особенностях отражения пр.-фин. дифтонгов в СТРС.

При рассмотрении адаптации согласных значительное место уделено субституции пр.фин. *h* > *x*, *z* (с особым вниманием к географическому распределению соответствующих рефлексов) – проблеме, активно обсуждаемой и другими авторами [Муллонен 2002: 51–58; Мызников 2004: 253–259].

Подробно рассмотрены комбинаторные изменения, характерные именно для субстратной топонимии, где (в отличие от заимствованной лексики) заимствования десемантизированы. Отмечены следующие частотные изменения: ассимиляция, в том числе *j* > *л'* на стыке форманта и основы (не только после губных, но и после иных согласных, особенно – плавного *p*: *Мурлюга* < *Мурьюга*), а также нерегулярная переработка группы *Cj* в *Cn'* в топонимах с начальным *H'* (*Немлюга* < *Немьюга*); диссимиляция носовых (*Чухчерема* < *Чухченема*) и заднеязычных (*Пивкозеро* < *Пихкозеро*); метатеза (**Шушко-немь* > *Шушкомень*; *Каргонема* > *Каргомень*), дисреза (*Пертема* < *Пертнема*, *Пельшма* < *Пельшема*), эпентеза (*Рандростров* < *Рандостров*); протеза *в-* перед *о-* и *j-* перед *э-*. Подчеркнуто, что комбинаторные процессы охватывают СТРС столь широко и глубоко, что при отсутствии исторических свидетельств подчас вовсе нет возможности раскрыть былую структуру названия. К этому приведены показательные примеры: *Перхлохта* > *Перховта*, *Рушеягр* > *Рушелда*, **Хехтанема* > *Хехталема* > *Фёхтальма*. Отмечено, что эти изменения продолжают и по сей день (дер. *Заворье* < *За Ворьгой* < *р. Ворьга*).

Следующий раздел работы посвящен морфологической адаптации. При рассмотрении усвоения финалей топонимов указано, что оформление заимствованных топонимов происходит в соответствии с родом географического термина, описывающего данную реалию в русском языке: оз. *Оногро*, но р. *Оногра*, о. *Мудьюг*, но р. *Мудьюга*, м. *Шиднем*, но дер. *Шиднема* и т.д. Здесь приводится напрашивающаяся параллель с апеллятивными заимствованиями, морфологическая адаптация которых прозрачна и потому особенно показательна. Подчеркнуто, что в известной работе Я. Калимы (1919 г.) из 430 русских существительных пр.-фин. происхождения лишь три зафиксированы в форме среднего рода: *гарьё* ‘плоский берег, видимый с моря’, *пуло*, *пульё* ‘поплавки невода’, *себье* ‘деревянные крюки для укрепления на дне моря сетей’, причем эти формы являются собирательными. Сделан вывод, что группа существительных среднего рода в русских диалектах почти не обогащается за счет заимствований, которые становятся существительными мужского или женского рода. Здесь хотелось бы заметить, что (как и для топонимов) при заимствовании апеллятивов в ряде случаев также происходила аттракция (возможно несознанная) к роду исконного синонима в усваивающем языке, ср. (из ранних заимствований): *веретье* (при менее частотном *веретей*) (< **vērtē* > фин. *vierre*, gen. *vierteen*) ~ *бёрдо*; **коломя* > *коломище* (< *kalma*) ~ *кладбище*; *соломя* (< *salmi*) ~ **узмя* > *узмень* [Шилов 2008а: 34], *прѣ* ‘парус’ (< *purje*) ~ *ветрило*.

Небольшой, но содержательный раздел посвящен важной проблеме – редеривации. Ономатологи, за редким исключением, не берут этого явления в расчет, а между тем оно способно порождать топонимические фантомы, в первую очередь – фантомные форманты¹¹. А.К. Матвеевым приведен поучительный пример: название райцентра *Пу-*

⁹ К подобному выводу пришла и И.И. Муллонен в отношении Вепсского Межозерья [Муллонен 2002: 43–51, 267, прим. 34].

¹⁰ В Белозерье, а также в таких микрорегионах, как оз. Воже, верховье Моши и низовье Пинеги.

¹¹ Так, название подмосковного оз. *Сенеж* обычно ставят в ряд названий на *-Иж*, в то время как оно возникло на русской почве по схеме: р. *Сеньга* (название частотно в севернорусской субстратной гидронимии) > *Сенежское озеро* > *Сенеж*.

дож в Восточной Карелии и народной формы прилагательного к нему – *пудожемский*. Название *Пудож* произошло от карел. *puvaš* ‘речной рукав’ по схеме: *puvaš* – *puধান* (род. пад.) – *Пудога* (так уже в берестяной грамоте XIV в. – А.Ш.) – *Пудожский* – *Пудож*. Прилагательное же *пудожемский* имеет параллель в низовьях Двины, где находится *Пудожемское устье*, откуда вполне может быть «восстановлена» фантомная форма **Пудожма*. Этот пример показывает, что для ряда названий (но не для всех!) с финалями *-Вжма*, *-Взьма* и некоторыми другими следует говорить не о некоем географическом термине или словообразовательном суффиксе, а о результате редеривации иных топонимных типов. Кстати, А.К. Матвеев не включил в этот раздел свой блестящий анализ потамонима *Чёлмохта* (а лишь дал ссылку на него в другом месте [СТРС II: 28]). Финаль *-хта* частотна в финно-угорской гидронимии [Шилов 2001а], но как раз на РС относительно редка, а в своем микрорегионе (низовья Двины) название *Чёлмохта* и вовсе уникально. Путь его возникновения оказался следующим: **Чёлмокса* (финаль *-кса* обычна для этих мест) – *Чёлмохотская волость* (и *Верхне-Чёлмохотское озеро*) – *Чёлмохта*. Указано, что подобная участь могла постигнуть и территориально близкий ойконим *Нёнокса* (известен с конца XIV в.), известный также как *Ненокотский посад*, ибо в 1591 г. было зафиксировано написание *Ненохотцкой посадъ* и *Ненохта* [Матвеев 2000: 106–109].

При рассмотрении структуры субстратных топонимов обращается внимание на то, что на большинстве территорий РС вследствие длительного контакта русских с чудскими аборигенами субстратная микротопонимия представлена достаточно хорошо и менее деформирована, чем более древняя гидронимия. Подчеркивается необходимость различения разных случаев бытования географических терминов в субстратной топонимии, дифференцируемых по употреблению терминов в виде детерминантов, в качестве топонимов, а также по наличию или отсутствию соответствующих терминов в апеллятивной лексике русских говоров.

Раздел о стратификации топонимии РС содержит следующий важнейший вывод: «Применительно к РС намечается такая ретроспективная последовательность пластов: русский, прибалтийско-финский, саамский и севернофинский. По-видимому, определенную роль в формировании СТРС играли и родственные севернофиннам меряне, а также другие волжские финны (“марийцы”). Вместе с тем, есть все основания думать, что в намечающейся последовательности были нарушения, связанные с неравномерностью ассимиляционных процессов, поэтому русские могли в некоторых местах иметь непосредственный контакт и с саамским¹², и с севернофинским населением: еще до прихода русских лингвоэтническая карта и топонимический ландшафт РС образовывали сложную мозаику» [СТРС I: 185]¹³.

Значительную долю первой части занимает этимологический анализ формантов СТРС [СТРС I: 186–292], дополнением к которому является вторая глава второй части [СТРС II: 15–31], а в отношении гидроформанта *-И(ь)га* – и вторая глава третьей части [СТРС III: 8–26]. В этом анализе А.К. Матвеев отдельно рассматривает форманты ойконимов и микротопонимов¹⁴, с одной стороны, и гидронимов – с другой. Это оправдано тем, что ойконимия и микротопонимия своими формантами, в массе своей восходящими к детерминантам, указывают на народы, которых славяне непосредственно застали на РС. Эти названия составляют топонимический субстрат, в то время как более стабильные в употреблении гидронимы могут свидетельствовать о субсубстрате.

¹² К этому см. саамизмы русского языка (*калги*, *камбала*, *кабус*, *каньги*, *нерпа*, *палтус*, *ровдуга*, *сопонец*, *яры*), зафиксированные Р. Джемсом в 1618–1619 гг. в Холмогорах [Шилов 2008а].

¹³ К аналогичным в целом наблюдениям пришел автор данной работы в отношении топонимии Карелии [Шилов 1999б]; тем самым, обосновывается плодотворность взаимной «проверки» топонимических и лингвистических (апеллятивные заимствования) данных, относящихся к этим территориям, освоенным русскими в разное время и с разным результатом межэтнического (и, соответственно, языкового) взаимодействия.

¹⁴ В понятие «микротопонимы» А.К. Матвеев здесь включает все топонимы, за исключением ойконимов, потамонимов и лимнонимов, в том числе – и названия заливов и проливов.

Всего учтено 46 формантов ойконимов и микротопонимов, восходящих к детерминантам пр.-фин. (28), саамского (6) и чудских (6) языков (6 детерминантов являются спорными по происхождению). Их частотность варьируется от единичных фиксаций (-*канда*, -*лакша*, -*нюра*, -*личма* и др.) до сотен примеров (-*курья*, -*нема*). Во многих случаях (22) формантам соответствуют русские апеллятивные заимствования, широко привлекаемые А.К. Матвеевым при этимологизации СТРС. Действительно, без семантической поддержки со стороны этих заимствований значительная часть «чудской» по происхождению географической лексики Заволочья (не имеющей точных корреспондентов в живых финно-угорских языках) осталась бы без какого-либо разумного объяснения (*согра*, *поча*, *шалга*, *чарокса* и др.).

Подавляющее большинство этимологий А.К. Матвеева в отношении формантов этой группы убедительно, хотя для некоторых из них трудность представляет выбор конкретного языка-источника и формы этимона (-*курья*, -*пол(а)*, *похта*, -*поча*). Исключение представляет разве что финаль бесозерского топонима *Рандогач*. А.К. Матвеев членит этот топоним как *Ранд-огач*, видя в -*огач* сочетание «речного» детерминанта -*Vz(a)*- со словообразовательным топонимным суффиксом -*ач*. Нам же более оправданным видится членение *Рандо-гач* и видение форманта -*гач* отражением «чудского» термина **hatša* ‘подсека, пожога’ [Шилов 2007].

Пять достаточно частотных формантов СТРС (-*Vла*, -*Vч*, -*жома*, -*Vж(a)* ~ -*Vш(a)*, -*га*) являются по происхождению суффиксальными.

Число формантов гидронимов (потамонимов) в СТРС естественно много меньше, нежели формантов микротопонимов, но их значение для лингвоэтнической интерпретации СТРС много выше. Поэтому рассмотрим их более детально. Сначала будут рассмотрены форманты, явно или предположительно восходящие к географическим терминам, затем – определенно суффиксального происхождения.

-*(V)z(a)* (всего 381 пример). Формант составляет (наряду с -*Vн(b)га*) важнейшую группу гидронимов СТРС¹⁵, в которой следует выделять подгруппы -*юг*, -*уг* (91); -*уга*, -*юга* (186); -*ега*, -*ига* (81); -*ога* (23). Эти форманты восходят (в том числе, в гидронимах, возникших в мертвых языках РС) к общему уральскому названию реки, ср. пр.-фин. *joki*, *jogi*, *d’ogi*, саам. *jogk*, мар. *jòuə*, коми-зыр. *ju* < **juu*.

-*Vн(b)га* (580 примеров). Самый распространенный и один из самых трудных для анализа гидронимических типов РС¹⁶. Он членится на ряд подтипов (колебания *н* – *н’*, варьирование гласной *U*), среди которых А.К. Матвеев выделяет два основных: наиболее частотный -*еньга* и -*Vнга* (*V* = *a*, *o*). В силу особенностей географического распределения этих формантов их следует различать; они, по-видимому, восходят к различным источникам, но могут принадлежать как одному, так и различным языкам.

Для объяснения форманта предлагались три основные версии (их обзор и обсуждение: [СТРС I: 261–275]): генитивная конструкция прибалтийско-финского типа (показатель генитива -*n* + *joki* ‘река’); финно-угорский (в частности – саамский) уменьшительный суффикс; детерминант со значением ‘река’ (из работ последних лет см. [Хелимский 2006; Kiviniemi 1984: 443–445] и [Шилов 1998] соответственно). Версию генитивной конструкции А.К. Матвеев обоснованно отвергает (допуская лишь редчайшие исключения) [СТРС III: 8–26]. Более вероятной для названий с -*Vнга* он полагает суффиксальную версию, но имеет здесь в виду не пр.-фин. (-*nki*) или саамский уменьшительный суффикс, а финно-угорский суффикс обладания **η*. При этом он, однако, замечает: «Предположение о широком распространении в СТРС бездетерминантной гидронимии, естественно, потребует дальнейшего обоснования, поскольку этот структурный тип в целом необычен для современных финно-угорских языков, однако надо

¹⁵ Он также частотен в гидронимии Волго-Окского междуречья, но редок в Карелии (9 примеров, в основном – в форме -*ега*) и, особенно, на Кольском п-ве, где частотны неадаптированные русскими финали -*йоги*, -*йоки*, -*еги*, -*деги*, с одной стороны, и -*йок* – с другой.

¹⁶ Несколько десятков подобных названий имеется в Волго-Окском междуречье, более 70 в Карелии и на Кольском п-ве. В Вепском Межозерье они отсутствуют.

иметь в виду, что тенденция к употреблению в топонимии аффиксальных форм без детерминантов характерна для различных языков агглютинативно-суффиксального строя. В субстратной топонимии РС представлен целый ряд структурных типов, форманты которых, по-видимому, являются словообразовательными аффиксами. Они могли утратить детерминанты или вообще их не иметь. Гидронимы на *-Vнга* могут относиться именно к этому классу географических названий РС» [СТРС I: 270–271].

Действительно, И.И. Муллонен [Муллонен 2002: 192–228] на примере пр.-фин. топонимии показан процесс превращения словообразовательного суффикса в своего рода детерминант, выполняющий роль географического термина. Конечно, формант суффиксального происхождения не может столь же однозначно информировать о разряде или классе топонима, как детерминант сложного названия (основа + номенклатурный термин). Но стремление к системности приводит к тому, что для обозначения объектов разных географических классов используются, как правило, различные апеллятивные словообразовательные суффиксы¹⁷. Таким образом, употребление разных суффиксов все же разводит топонимы по номинирующим ими типам географических объектов. В топонимии закрепляются суффиксы с определенной семантикой, в гидронимах, например, со значением подобия выраженному производящей основой или с деминутивным значением, в ойконимах – с локативным значением и т. д. Уменьшительная модель, кстати, активно функционирует в связке с иноязычными топоосновами. Существенно наблюдение И.И. Муллонен, что в топонимии часто закрепляются суффиксы, малопродуктивные в апеллятивном словообразовании. Это вызвано стремлением номинаторов к размежеванию между онимическими и апеллятивными образованиями, которое закономерно вытекает из функции топоформанта как показателя топонимичности.

Для названий с формантом *-еньга* А.К. Матвеев в целом склоняется к терминологической (детерминантной) версии, хотя пишет [СТРС III: 15] «вопрос о происхождении форманта *-Vн(ь)га* в полной мере, может быть, вообще не удастся разрешить». При этом его собственные изыскания достаточно определенно подталкивают к мнению о том, что данный формант в составе большинства соответствующих топонимов все же отражает некий древний финно-угорский гидронимический термин (ср. [Шилов 1998]), а вовсе не генитивную конструкцию (что, как указано выше, им было справедливо отведено) или древний финно-угорский аффикс. В противном случае пришлось бы признать, что в родственных (хотя отнюдь не идентичных) финно-угорских языках РС массовые потапонимы образовывались по принципиально различным моделям: основа + детерминант **jug(a)*, с одной стороны; основа + суффикс – с другой.

Как сказано выше, вариант *-Vнга* А.К. Матвеев, вроде бы, согласен считать происходящим из финно-угорского суффикса **η*. Однако, ввиду установленного им самим географического распределения (в какой-то степени – противостояния) гидронимов с финалями *-Vньга* и *-Vнга*, можно скорее думать об их родственности (на финно-угорском уровне), т.е. о происхождении обоих вариантов из «речных» детерминантов разных субстратных языков.

-бой, -буй (эти варианты наиболее многочисленны в Белозерье, где гидронимические форманты других типов вообще редки), *-ой, -уй, -оя, -уя* (всего 233 примера). Форманты восходят к финно-саамскому термину со значением «ручей, речка»: пр.-фин. *oja*, саам. *uoij, oj, vuoī, uai, vuai*.

-сара, -сора, -сар(ь), -сур (всего 95 названий)¹⁸. Финаль восходит к финно-угорским терминам (в том числе – и в вымерших языках) со значением «рассоха, один из истоков

¹⁷ Интересно, в силу сказанного, что, например, саамский деминутивный суффикс *-až*, образующий свернутые, «фамильярные» формы топонимов, наличествует в именах самых разных типов объектов (реки, пороги, острова и др.) [KKLS], в то время как деминутивный суффикс **-nže* (современное саамское *-š*) в Карелии и Вепском Межозерье присутствует лишь в составе потапонимов [Шилов 1999б: 109] (иначе об этом форманте [Муллонен 2002: 198–217]).

¹⁸ На юге и востоке Карелии и в Вепском Межозерье довольно много названий с финалью *-сара*, а в исторических мерянских землях – с финалями *-сор, -сур, -чур(a), шур* (в междуречье Оки и Клязьмы также *шур* [Смолицкая 1974: 68–69]).

реки», ср. пр.-фин. *saara, šoara, šuaru, suar, sara* ‘разветвление, ветвь’, саам. *suorr, sīrr* ‘развилка, ответвление реки’.

-Vхта (-Vгда). На РС формант довольно редок (порядка 10 примеров), но очень активен в гидронимии ИМЗ, что дает А. Альквист основание считать его мерянским гидронимическим индикатором [Альквист 2000а: 30–31; 2000б: 83, 86]. Она же без сомнений выводит его из более архаичного *-(V)кса, -(V)кша* с апелляцией к уникальному примеру: ПФ **lakte* > фин. *lahti*, но карел. *laksi* ‘залив’ [Ahlqvist 2006: 12]¹⁹. А.К. Матвеев не исключает возможности такого развития (неясно – в языке субстрата или уже в русском языке, см. выше о *Чёлмохта* и ниже – о форманте *-Vкса*), но считает, что вопрос все-таки далек от разрешения. Возможно формант следует связывать с теми финно-угорскими данными, что послужили основой для реконструкции гидронимического термина **ukti* ‘путевая река’ [Хелимский 2006], во множестве присутствующего в основах названий рек, входящих в системы древних водно-волоковых путей древности [Афанасьев 1979; Шилов 1999б: 106–107; Муллонен 2002: 208–215].

Интересно (а может быть и существенно в этимологическом плане), что ареалы топонимов с основами *Охт-/Ухт-* и с формантами *-хта/-гда* в целом находятся в соотношении дополнительной дистрибуции (список соответствующих объектов см. в [Шилов 2001а]). Означает ли это семантическую эволюцию чудского (по происхождению – уральского) термина по линии «река, приток, протока» – «рса, ведущая на волок; путевая река», а если да – то в каком направлении?

-важ (варианты *-ваш, -баж, -баш, -маж, веж, -беж, -меж, -миж*; всего 84 названия). Формант в основном приурочен к юго-восточной части РС. Наилучшим образом может быть объяснен сопоставлением с мар. *важ, вож* ‘корень, ветвь’, коми-зыр. *вож* ‘ветвь, ответвление, развилина, приток’ (имея в виду существование подобных слов в древних севернофинских языках; на финно-угорском уровне термин восстанавливается как **woša* [SSA, 2: 259; UEW: 825–826])²⁰.

-енгарь: финали названий 15 ручьев и речек в среднем течении р. Устья (правый приток Ваги). Детерминант сопоставляется с мар. *энгер* ‘речка’, но, в силу существенных соображений, полагается не марийским, а мерянским по происхождению [СТРС I: 285; Матвеев 2006: 145–153].

-курга (5 примеров, зафиксированных в среднем течении Устья). С некоторыми оговорками формант сопоставляется с широко распространенным в Подвинье детерминантом *-курья* (и русским термином *курья* ‘речной залив; боковая протока’) неясного происхождения [СТРС I: 194–197; Шилов 1999в], с одной стороны, и с гидронимами мерянских земель с финалями *-курга, -кура* – с другой [СТРС I: 285–287].

-Vда. Редкий формант (7 примеров на севере РС, к которым можно добавить еще 4 с территории Карелии). Согласно [СТРС II: 21] эти названия содержат древний суффикс прилагательных **(e)да*. В силу того, что все учтенные названия (кроме *Вонгода*) содержат финаль *-уда*, можно указать и на пр.-фин. уменьшительный суффикс *-ut*, а также саамский суффикс отыменных существительных *-vudt* [Шилов 1999б: 109].

-Vm(a) – частотный на РС и на сопредельных территориях гидроформант (который следует отделять от детерминанта микротопонимов *-ма*), в котором можно видеть как древний *m*-овый суффикс прилагательных и причастий [СТРС II: 23–24], так и суффикс отглагольных имен [Шилов 1999б: 109; Муллонен 2002: 222–225]). Географическое распространение форманта указывает на древность его происхождения.

¹⁹ Еще раньше это сопоставление провел Е.М. Поспелов [Поспелов 1970: 100–101]. Заметим, что формант *-Vхта* никак не может восходить к *-Vкса* (примеры редеривации типа *Чёлмохта* (см. выше) невозможно обобщать на все гидронимы на *-Vхта*). Эти форманты могут оказаться родственными лишь при одном условии: если оба они восходят к **-Vkti*. Но в этом случае форманты *-Vхта* и *-Vкса* должны находиться в отношении дополнительной дистрибуции, чего в ИМЗ не наблюдается.

²⁰ Финали гидронимов тверских, псковско-новгородских, смоленско-белорусских земель, Эстонии, Ленинградской обл. и юга Карелии типа *-веж(ь), -вешь, -б(о)жа, -вжа, -вожа* имеют, видимо, иное происхождение – из пр.-фин. *vesi, veži* и т. п. ‘вода’ [Шилов 1997: 5].

-*Vж(a)*, -*Vш(a)*. Эти весьма распространенные форманты встречаются не только в гидронимии, но и в ойконимии и микротопонимии. Наиболее убедительно сопоставление с финскими (в широком смысле: вепсскими, марийскими и др.) и саамскими уменьшительными суффиксами (в меньшей степени - с суффиксами отыменных существительных).

-*Vc* (наиболее часты фиксации с *V = a, y, o*; всего более 240 примеров). Словообразовательные аффиксы такого рода хорошо известны в финно-угорских языках. Большая часть примеров может быть истолкована на саамской почве. Для ряда топонимов явно пр.-фин. происхождения часто наблюдается наличие форманта -*Vc* при отсутствии соответствующего суффикса в апеллятивах живых пр.-фин. языков. Примечательно, что это же явление отмечено и для многих русских апеллятивных заимствований. Подчеркнуто, при этом, что для ряда названий (особенно в восточной части РС) убедительных пр.-фин. и саамских соответствий вовсе не найдено.

-*Vкса*, -*Vкша*. Гидронимия данного типа распространена в изобилии от Карелии (но не на Кольском п-ве и не в Финляндии!) на севере до Волго-Окского междуречья на юге (см. [Поспелов 1974: 45–47]). Для некоторых из них А.К. Матвеев допускает возможность сопоставления с фин. *oksa* 'ветвь' с его пр.-фин., саамскими (*oakse*) и марийскими (*uks, ukš*) соответствиями²¹, и с мар. *икса* 'залив; заводь, старица; речка, проток' (равно как и с мерянским **вёкса* 'сток озера в реку'). Для большинства других гидронимов он предполагает происхождение форманта из древнего словообразовательного или словоизменительного суффикса, коррелятивного с -*Vc* (*-*ks > s*). К такому же выводу пришла И.И. Муллонен в отношении гидронимии Вепсского Межозерья [Муллонен 2002: 217–221]. Для Карелии же (на основании множества примеров) мы полагаем актуальным вывод А.И. Попова о том, что гидронимы на -*кса* возникли в результате русского освоения пр.-фин. гидронимов на -*ksen-jogi*, где -*ksen* является показателем генитива существительных на -*s* [Попов 1965]. Кстати, подавляющее большинство таких топонимных образований (как и иных, с показателем генитива -*n*) имеет неприбалтийско-финские основы, т.е. с помощью генитивной конструкции в пр.-фин. систему адаптировались иноязычные топонимы.

Раздел о формантах лимнонимов [СТРС I: 287–292; СТРС II: 16] важен прежде всего своей «негативной» частью. Четко показано, что в СТРС нет следов пермско-угро-самодийского термина 'озеро' (коми *ты*, венг. *tó*, ненец. *то*). Здесь присутствуют лишь рефлексy западнофинского и волжского термина, отразившегося в пр.-фин. *jarv(i)*, саам. *jawr(e)*, мар. *jer, jär*, морд. *eʀke*, чудско-мерянском **jahr/*jähr* (последнее реконструировано из топонимических данных и обоснованно полагается наиболее близким к прафинно-волжскому слову; подробнее см. [СТРС II: 263–267])²². Эти рефлексy выступают в двух основных вариантах: -*Vgr(V)* и -(C)*Vp(V)* (ср. *Копогра, Оногра, Суегра* с *Мачер, Седеро, Ухтомьяр, Бояро* и др.). Отдельную группу образуют лимнонимы с финалью -*Vвер(a)* (*Кушавера, Чудевер, Кысковер* и др.). А.К. Матвеев видит в них русскую эпентезу в перед «озёрным» финно-угорским детерминантом. Возможно, здесь проще усматривать отражение саамского *jawr*.

Далее следует важный раздел, выводы которого отчасти развиваются и корректируются в следующих частях монографии: лингвоэтническое членение СТРС. На основании сопоставительного анализа формантов микротопонимов и ойконимов, а также выборочного картографирования дифференцирующих основ показано, что прибал-

²¹ Отражение географического термина (финно-волжского слова с исходным значением «ветвь») видит в подобных названиях Е.М. Поспелов [Поспелов 1970: 98–99]. Мы указывали, что соответствующие термины можно видеть в основах гидронимов типа *Иксозеро, Викиозеро, Виксенда, Окса, Укша*, но вряд ли в финалях потамонимов -*Vкша/-Vкса* [Шилов 1997: 6–7; 1999б: 108–109].

²² Отсюда следует непродуктивность (необоснованность) привлечения пермских, угорских и самодийских языковых данных для «прямых» этимологий СТРС; иное дело, что эти данные могут оказаться полезными при трактовке некоторых «темных» заимствований русских диалектов из вымерших языков РС, сохранивших сколки общеуральского языкового наследия.

тийско-финская топонимия охватывает чуть ли не весь регион, но – со значительным разрежением к востоку (являясь относительно поздней). Основной (древней) оппозицией региона представляется противостояние саамской и севернофинской (чудской) топонимии северо-запада и юго-востока РС соответственно. При этом (как здесь, так и в следующих частях монографии) севернофинны определяются как финский этнос, в языковом отношении промежуточный между саамами и волжскими финнами (имея в виду здесь и летописную мерю). Выяснение деталей этой оппозиции – дело будущего, но сам факт ее выявления недвусмысленно говорит о древних этноязыковых отношениях финских племен севера России.

Вторая часть монографии открывается предварительными замечаниями, обосновывающими построение ее первых глав (3-й и 4-й; как указано выше, 2 глава является дополнением к 3 главе первой части) в виде этимологического словаря дифференцирующих основ пр.-фин. и саамских топонимов, относящихся к верхним пластам СТРС.

Следующие главы второй части носят иной характер. В главе 5 рассматриваются микрорегиональные комплексы субстратной топонимии РС. Этот подход к сравнительному анализу выборок материала обширной территории²³ является, по нашему мнению, новаторским, а обосновывается он следующим образом: «Микрорегиональный принцип исследования находит историко-этнографическое обоснование в том надежно установленном факте, что для Русского Севера характерен кустовой тип поселения, этническая пестрота в прошлом и связанная с ней языковая (диалектная) мозаичность субстратной топонимии, плотные очаги которой возникали при обрусении местной чуди. Именно поэтому изучение отдельных микротерриторий и может дать интересные результаты, позволяя привлекать к исследованию не только дифференцирующие, но и недифференцирующие факты» [СТРС II: 112]. Здесь А.К. Матвеев подвел теоретическую базу под бесспорный факт локальности (и, при том, что существенно, удивительной временной устойчивости) бытования некоторых русских заимствований из «чудских» языков РС (на фоне таких распространенных, как *луда*, *сиг*, *сузем*, *щелья* и др.). Им было проанализировано всего лишь 9 микрорегиональных топонимических комплексов (привязанных большей частью к одному озеру или к группе озер) ограниченной территории запада РС, но и этого ему хватило для нетривиального вывода: «Топонимические комплексы в пределах исследуемой территории очень отличаются друг от друга по количественному соотношению прибалтийско-финских и саамских названий, а также по структурным и семантическим типам наименований одного происхождения» [СТРС II: 187].

6 глава второй части «Древние прибалтийско-финские и саамские наречия на территории РС в свете топонимических данных» является, пожалуй, ключевой частью монографии (она, кстати, явилась и основным объектом внешней критики). При рассмотрении топонимов, образованных от этнонимов *корел* и *лопъ*, отмечается их тяготение к районам с преимущественно пр.-фин. и саамской топонимией соответственно, что естественно. Но при этом обнаружены мощные этнотопонимические лакуны на ряде территорий РС, не всегда объяснимые. Так, «карельская» лакуна на территории Белозерского края может быть объяснена доминированием там не карельского, а вепсского населения, которое у русских чаще именовалось *чудью* (этот этноним А.К. Матвеевым отдельно не рассматривается). Но непонятно отсутствие там же «лопских» этнотопонимов при том, что саамская по происхождению топонимия представлена в этих краях довольно обильно и выразительно. То же можно сказать о бассейне Пинеги и некоторых подвинских территорий. Не исключено, что у местного русского населения бытовали какие-то особые термины для обозначения финно-саамских аборигенов²⁴.

Говоря о наречиях прибалтийских финнов на РС [СТРС II: 194–204], А.К. Матвеев подчеркивает трудности их дифференциации по топонимическим данным, но показывает, что в ряде случаев все-таки можно достаточно определенно говорить о собственно

²³ Коль скоро территория в целом представляется относительно равномерной по топонимическому фону.

²⁴ См., например, о термине *вирачи* ‘чужаки’ [Шилов 1999а: 41–42; 2008а: 16, 25–26].

карелах, южных карелах (ливвиках и людиках) и вепсах, а также о некой более древней прибалтийско-финской чуди со своими особыми языковыми чертами. Особо (на основании как топонимии, так и лексических заимствований) им выделен диалект пр.-фин. типа, в котором пр.-фин. *e* первого слога соответствовало чудское *a* [СТРС II: 205–209]. В основном этот диалект был распространен в верхнем течении Онеги и нижнем течении Двины.

Раздел «Саамы и их наречия» [СТРС II: 210–231] содержит следующие основные выводы:

- саамская топонимия РС в основном является субсубстратной (будучи в значительной степени перекрытой пр.-фин. слесом), хотя в ряде случаев приходится признать прямой контакт русских с саамами на РС, ибо русские в ряде микрорегионов явно напрямую усваивали некоторые саамские апеллятивы и микротопонимы;

- в целом саамские диалекты РС являются более архаичными, чем саамские диалекты Фенноскандии, но их нельзя прямо сопоставлять с прасаамским языковым состоянием, хотя бы потому, что саамский на РС явно существовал уже в диалектной форме: выделяются две основные зоны распространения саамских диалектов РС – северная (условно – двинская) и юго-западная (условно – белозерская)²⁵;

- имеется значительное количество фонетических признаков, объединяющих говоры саамов РС с говорами саамов Кольского п-ва (прежде всего – с кильдинским); вместе с тем, отмечен ряд инноваций, что естественно для живого языка;

- отсутствие ряда базовых лексем (*n'ark* ‘мыс’, *k'ed'k* ‘камень’ и др.), характерных для лексики саамов Фенноскандии (они приведены как прасаамские в [YS]), в саамской топонимии РС (заметим, и Карелии. – А.III.) указывает на то, что саамы РС не испытали воздействия «арктического» палеоевропейского субстрата. Вместо этих лексем в лексике местных саамов, судя по всему, функционировали термины, общие с таковыми у прибалтийских финнов (**nem*, **kiv*).

Рассмотрев отражения перехода **š > h* в СТРС [СТРС II: 232–242], А.К. Матвеев отметил, что этот процесс носил сложный характер; на различных территориях рефлексам древнего **š* могли выступать как *h* («прибалтийско-финский» вариант) или *s* (позднее саамское состояние), так и *š* (ПФС или ранне-прасаамское состояние). Более того, в разных позициях переход **š > h* мог осуществляться не одновременно. Очень интересны топонимы *вашк-*, *вешк-*, *пешк-*, *пишк-*, находящиеся в зоне распространения саамских названий РС [СТРС II: 241–242]. Они являются коррелятами пр.-фин. основ *вахк-*, *вехк-* (ср. пр.-фин. *vehk(a)* ‘белокрыльчик; вахта трехлистная’), *пехк-* (ср. пр.-фин. *pehk(o)* ‘кустарник; гнилое дерево’), *пихк-* (ср. пр.-фин. *pihk(a)* ‘смола; частый густой хвойный лес’) [СТРС II: 35, 59–60]. Однако указанные финские апеллятивы с консонансом *-hk-* не имеют саамских (в живых языках) параллелей с консонансом *-sk-*. Поэтому топонимы РС с группой *-шк-* могут принадлежать особому наречию саамов или какому-то промежуточному прибалтийско-финско-саамскому языку. Заметим, что основы *пешк-* саамского происхождения (на РС) могут отвечать и иному пр.-фин. слову: *rähki(nä)* ‘орешник, лещина’ [Шилов 2005]. Тогда отсутствие всех вышеуказанных лексем в диалектах саамов Фенноскандии объясняется просто: там отсутствуют соответствующие реалии.

К показательным результатам (в целом коррелирующим с результатами фронтального анализа СТРС, представленного в виде детализированной карты лингвогеографического ее членения [СТРС II: 330]) привело рассмотрение внутрорегиональных соответствий широко представленной на РС саамской субстратной основе *чѐлм(o)-* со значением «пролив» (ср. саам. Инари *čoalmi*, Кильдин *čuellm* > русск. диал. *чѐлма*) [СТРС II: 243–251].

Названия с основой *чѐлм-* коррелятивны с топонимами северо-запада РС с основой *салм-* (из пр.-фин. *salm(i)* ‘пролив’) и русск. диал. *салма* ‘пролив’.

²⁵ По ряду признаков диалект белозерских саамов следует признать более архаичным, нежели диалект северных (двинских) саамов.

В Белозерье и несколько южнее выявлено 9 гидронимов *Солмас* и 1 *Солмахта*, которые, как бы ни оценивать их конкретное происхождение (древне-вепсское, мерянское), должны быть сопоставлены с указанным пр.-фин. термином (финаль *-az*, *-as* в вепсском, например, появлялась зачастую еще до стадии топонимического употребления географических апеллятивов [Муллонен 1994: 19], т.е. конструкт **salmas* представляется вполне реальным), учитывая раннее время освоения Белозерья славянами, см. выше о раннем соответствии фин. *ä* – русск. *о*, точнее о лабиализации русск. *ä* > *о*²⁶.

Еще одну группу топонимов, коррелятивных с *чёлм-*, представляют 10 гидронимов с основой *сельм-* (в основном – *Сельменьга*) на юго-востоке РС. Эту основу следует признать севернофинским аналогом саамского *čoalmi* и пр.-фин. *salm(i)* – более архаичным, более близким к праязыковому **šolma*.

Естественным было обращение А.К. Матвеева к интеррегиональному сопоставлению субстратных топонимов саамского происхождения РС и территорий Присвирья и Карелии [СТРС II: 251–260], в географическом отношении являющихся «мостом» или «коридором» между РС и Кольским п-вом (если не говорить о вполне реальных связях Нижнего Подвинья и юга Кольского п-ва морем). Основной вывод этого исследования: присвирские названия сосредоточены в восточной части своего микрорегиона, продолжая зону топонимии белозерских саамов; карельские саамизмы, со своей стороны, являются естественным продолжением саамских названий РС к западу от Онеги, распространяясь затем на большую часть территории Карелии. При этом, однако, была отмечена «недостача» некоторых типичных (для РС) саамских топооснов и неожиданное выклинивание их к северу от р. Кемь. В работе [Шилов 2008б], инспирированной как раз исследованиями А.К. Матвеева, указанная лакуна была, в значительной степени, закрыта²⁷. Таким образом, непрерывность саамского топонимического субстрата от Северной Двины через восток Вепсского Межозерья и Карелию до Кольского п-ва (и далее – на запад Северной Финноскандии) продемонстрирована, как кажется, вполне надежно. Это, впрочем, не снимает вопросов о конкретных путях миграций (как сухопутных, так и морских) древних саамов и об исходном центре этих миграций. Потенциальный район прасаамского очага (вне зависимости – будь то финно-саамская ветвь или изначально отдельный этнос в составе западных финно-угров) пока слишком географически размыт²⁸.

Рассматривая проблему этимологизирования СТРС [СТРС II: 260–273], А.К. Матвеев отметил, что, кроме собственно пр.-фин. и саамских наречий, в древности на территории РС могли существовать и переходные формы. Что же до возможности отражения в СТРС общего ПФС языкового состояния, то это маловероятно. Ведь русские в ряде микрорегионов РС ассимилировали именно саамское население, причем говорившее на разных диалектах, а это могло произойти не ранее начала II тыс. н. э. Но, коль скоро ПФС праязык распался (на ПС и ПФ ветви) к середине I тыс. до н. э., трудно допустить, что он сохранился на территории РС еще 1500 лет и был там ассимилирован русским языком. Заметим, что распад (праязыковой общности) мог, вообще говоря, задержаться или вовсе не осуществиться на периферии региона, не затронутой иноязычными контактами. Но дело не в этом. Живой язык, будь то гипотетический праязык или его потомки,

²⁶ Сохранение *a* второго слога (*Солмас* < **Salmas*) может объясняться как различием качества гласных финского топонима, так и тем, что в русском процесс лабиализации *ä* мог протекать не одновременно в ударной и безударной позициях (см. к этому [Ваахтера 2007]).

²⁷ При этом отмечено, что лишь на юго-востоке Карелии топонимические саамизмы сходны с двинскими; на большей части ее территории они ближе к белозерским саамизмам.

²⁸ Ср.: «Учитывая, что саамское население в древности занимало обширные территории и в Карелии (следовательно, саамский язык был распространен от Скандинавии до границ нынешней Республики Коми), можно предположить, что некогда саамы являлись основным населением обширных территорий Севера, хотя, возможно, и не самым древним. Таким образом, сейчас преждевременно локализовать первоначальное место обитания саамов в Прионежье, Приладожье или в каких-нибудь других местах, так как необходимо учесть все имеющиеся данные» [СТРС II: 230].

не может не развиваться, и в этом отношении существенно замечание А.К. Матвеева (с анализом показательного примера русск. диал. *чильма*), что в древних диалектах РС могли сохраниться или развиваться явления, вовсе несвойственные ныне существующим языкам. Таким образом, как в заимствованных апеллятивах, так и в субстратных топонимах могут быть засвидетельствованы, во-первых, более древние формы ныне существующих финских языков, а во-вторых, факты вымерших специфических финских языков.

Заключительная глава второй части монографии [СТРС II: 274–278], с одной стороны, подытоживает ранее описанные наблюдения, а с другой, в чем-то предваряет содержание третьей части и говорит о еще нерешенных проблемах. Тезисно автор свои соображения выражает следующим образом. Прогресс в области изучения субстратной топонимии РС зависит во многом от развития микрорегиональных исследований комплексного характера, включающих изучение апеллятивных заимствований и антропонимии. При этом, следует максимально широко привлекать исследования по топонимии Кольского п-ва, Карелии, Финляндии, русского Северо-Запада, Верхневолжского региона (ИМЗ) и Республики Коми.

Широко применяемый в монографии термин «севернофинские языки» условен. Автор относит к ним языки топонимии на *-Vn(b)ga*, а также языки создателей субстратной топонимии юго-восточной части РС. Предполагается, что эти языки в языковом отношении занимали место между прибалтийско-финско-саамскими и волжскими (мерянским) языками. Представляется, что родственные саамские, севернофинские и мерянские наречия образовывали единую цепь языков.

Топонимический ландшафт РС усложняют явно имевшие место неоднократные миграции, этнические смешения и смена языков. Пока сделаны лишь первые шаги в стратификации субстратных топонимов; при этом стратификация в разных микрорегионах может не совпадать (это упускают из виду многие, если не большинство исследователей!).

Исследователь топонимии РС должен все время помнить, что он имеет дело с «мертвыми» языками (которые, при этом, когда-то были живыми и развивались по своим законам). Он может найти подтверждение многим конструктам, распространенным в научной литературе, и встретиться с такими фактами, которые не соответствуют общепринятым представлениям.

Следующий большой раздел работы (уже третьей ее части) посвящен наиболее частотным на РС гидронимам на *-Vg(a)* и *-Vn(b)ga*, точнее же: *-Vga*, *-yг/-юг* и *-Vn(b)ga*. Он начинается с чрезвычайно поучительного в методологическом плане (и продуктивного в отношении этноязыковых выводов) статистического анализа топооснов: дифференцирующих, с одной стороны, и коррелятивных, с другой. Этот анализ дополняется сопоставлением фонетических регулярностей, наблюдаемых в гидронимии того или иного типа; сопоставление это дало яркие (и достаточно неожиданные) результаты. Оказалось, что гидронимия на *-Vn(b)ga*, будучи безусловно финской (в широком смысле), решительно отличается от гидронимии на *-Vg(a)* (покрывающей практически весь РС и принадлежащей явно разным финно-угорским народам), являясь при этом и более древней (эту гидронимию А.К. Матвеев условно назвал важанской – по центру ее обширного ареала). Ареально жестко противостоят гидронимы на *-Vga* и *-yг/-юг*; последнее (условно названными А.К. Матвеевым южанскими) явно созданы особым финским этносом, отличным, при этом, от пермян (что предполагалось некоторыми авторами).

Полученные выводы подтверждают и детализируют ранее изложенные результаты предварительного лингвогеографического членения СТРС.

Далее следует этимологический словарь соответствующих гидронимов. Нет смысла, да и возможности обсуждать все этимологии, тем более что сам А.К. Матвеев вполне определенно высказался по этому поводу: «Этимологизация гидронимов на *-Vg(a)* и особенно на *-Vn(b)ga*, несмотря на их многочисленность и явно финское в широком смысле происхождение, встречается с большими трудностями как из-за разнообразия источников, так и вследствие пестроты апеллятивных составляющих. Поэтому автор

не стремился к сплошной, массовой этимологизации, которая в целом может оказаться ошибочной (...) Учитывая сложность проблемы он прежде всего руководствовался результатами сопоставительного анализа и обращал внимание на наиболее перспективные в этимологическом отношении основы, особенно на повторяющиеся, поскольку их «топонимичность» более очевидна, а также фонетически более информативные (типа *CVCC*), потому что возможности их успешной интерпретации выше (...) Изучение СТРС показывает, что особенно большую роль в ее формировании играли лингво-этнические компоненты, имеющие саамские и прибалтийско-финские соответствия. Это характерно и для гидронимии на *-V₂(a)* и *-Vn(ь)ga*. Поэтому в поисках этимологических решений автор обращается прежде всего к саамской и прибалтийско-финской апеллятивной лексике (...) В статьях могут обсуждаться несколько этимологий, и в этих случаях поиск наиболее адекватного решения принадлежит будущему (...) Пометы *фин.*, *саам.* и т.п. означают не источник гидронима, а язык, в котором данное название имеет соответствие. Этимологизируются названия мертвых неизвестных языков, поэтому прямолинейная отсылка к каким-либо языкам или диалектам может быть ошибочной» [СТРС III: 52–54].

Нам кажется уместным остановиться на двух достаточно принципиальных моментах (и привлечь соответствующие примеры): проблеме наличия в финно-угорской топонимии РС основ нефинского происхождения и дискуссионном вопросе обоснованности и продуктивности привлечения праприбалтийско-финских (или прафинских – ПФ) и финно-саамских (прибалтийско-финско-саамских – ПФС) реконструкций.

Первая проблема А.К. Матвеевым сформулирована следующим образом: «При стратификации СТРС известную помощь может оказать изучение заимствованных элементов в топонимии – русских, скандинавских, германских, балтийских, а также финских в составе саамских» [СТРС II: 277]. Действительно, подобные разыскания могут способствовать как прояснению этнической истории РС, так и ввести некие критерии для этимологизации конкретных топонимов – допустимо или нет привлекать не только исконную лексику финно-угорских языков (имея здесь в виду и древний палеоевропейский лексический субстрат), но и заимствованную из того или иного относительно позднего источника?

Сейчас, пожалуй, для решения вопроса о балтском вкладе в лексику создателей топонимии РС материала недостаточно. Вернее недостаточно не самого материала, а его систематизации в плане данной, очень сложной проблемы. Ведь финно-балтские контакты активно протекали не только на протяжении длительного времени (начиная со II тыс. до н. э.), но и на огромной территории – от Восточной Прибалтики до Верхневолжья (откуда следует высокая вероятность полицентризма балтских заимствований в разные финские диалекты РС).

Славянские заимствования безусловно могут присутствовать (и присутствуют) в относительно поздней пр.-фин. топонимии РС (равно как и в топонимии, созданной мерянскими переселенцами в Белозерье и в басс. Устья). Но и здесь возникают свои вопросы. Так, основа *Рист-* (ср. пр.-фин. *rist(i)* < др.-русс. *крѣсть*) исторически уместна на западе региона, но сложнее усматривать тот же источник в гидрониме *Рыстюг* в зоне «южанской» ветви «севернофинской» топонимии [СТРС III: 132]. Скорее здесь следует апеллировать к пр.-фин. *riista* ‘дичь, добыча’. Еще сложнее дело обстоит с топонимами, содержащими элемент *перт* (примеры см.: [СТРС I: 242; СТРС III: 116, 119, 125–126]). Казалось бы уже решенный вопрос о заимствовании пр.-фин. *pirtti*, *pirt*, *pertti*, *pert*, ПС **pertte*, мар. *nöpm* ‘изба, баня’ не из балт. (литов. *pirtis*, лат. *pirts* ‘баня’, откуда ожидалось бы **pirsi*), а из др.-русс. *пѣръ*, русск. сев. *перть* [Аникин 2005: 242–245], в свете данных по СТРС получает иное освещение. Этот материал (если не иметь в виду явно поздние пр.-фин. топонимы типа *Пертенема*, *Пертозеро*, *Паноперти* и т. п.) заставляет задуматься: реально ли заимствование древними севернофиннами относительно позднего (ввиду состоявшегося прояснения редуцированного) русск. *перть*? Сам А.К. Матвеев по этому поводу пишет: «В основных гидронимических типах и вообще в СТРС очень широко представлена основа *перт*, несомненно имеющая значение “изба”,

т.е. она явно функционировала в СТРС до русской колонизации. Видимо, этимология соответствующих финских слов потребует нового осмысления» [СТРС III: 240–241]²⁹.

Наиболее, пожалуй, непросто и дискуссионен вопрос о германизмах финно-угорских языков РС. В отличие от территориально широких ранних балто-финских и гораздо более поздних славяно-финских контактов, германо-финские контакты осуществлялись, в основном, в окрестностях Финского залива Балтийского моря на рубеже новой эры (или несколько ранее). Потому, с одной стороны, вполне естественно ожидать германизмы, привнесенные в топонимию запада РС прибалтийскими финнами [СТРС II, карта 32], с другой, позволительно сомневаться в германском (имея в виду поздне-прагерманскую и древнескандинавскую лексику) происхождении основ топонимов востока и юго-востока РС, идентифицируемых как саамские и чудские (по А.К. Матвееву – севернофинские). Ведь это подразумевало бы дальние ранние миграции ряда финно-угорских групп с запада на восток без всякого видимого для этого повода (вряд ли Великое переселение народов могло спровоцировать столь мощные этнические подвижки на малонаселенном Севере; иное дело – волна позднейшей славянской колонизации)³⁰.

Однако Я. Саарикиви не только предлагает этимологию диалектного (Пинежский и Верхне-Тоемский р-ны Архангельской обл.!) *койдама* ‘поляна в лесу; луг на заболоченном участке реки; сырое болотистое место; высокое место на болоте, проходное болото’ из фин. **kaita-mV* при фин. *kaita* ‘пространство между двух рек’, считающемся германским (через саамский) заимствованием³¹ [Saarikivi 2004: 195], но и поддерживает идею Й. Койвулехто о проникновении (заимствовании) в пермские языки прибалтийско-финских слов германского происхождения. При этом к 5 сопоставлениям Койвулехто он добавляет 3 своих [Saarikivi 2006: 33–38]. Впрочем, опора на весьма спорные германские этимологии финно-угорских слов Й. Койвулехто³² (см. [Koivulehto 1999 с предшествующей литературой]) и его сторонников, в значительной степени отраженные в монографии [LÄGLOS] и словаре [SSA], вряд ли может приветствоваться в таком серьезном вопросе.

Что же демонстрирует нам СТРС? В отношении пр.-фин. германизмов (ограничиваясь топонимически активными основами) мы имеем относительно скудную картину³³. В достаточном количестве встречаются разве что топонимы с основой *Канз(а)-*, ср. пр.-фин. *kansa, kanz(a)* ‘семья, народ, общество’ < герм. (ср. готск. *hansa*) [Koivulehto 1999: 272–273; SSA I: 301]³⁴. Иные отдельные топонимы, которые, казалось бы,

²⁹ Может быть, здесь как раз и имел место полицентризм заимствования? Пр.-фин. слова могли быть заимствованы из др.-русс., а севернофинские (чудские), не испытавшие перехода **ti > si* (равно как и **š > h*), из какого-то балтского языка Шекснинско-Волжского региона с последующей эволюцией *i > e > ä* по прасаамскому типу. Изыскания же Й. Койвулехто о сверхдревних контактах финно-угров со славянами [Koivulehto 1999: 10; 2006] мы не склонны рассматривать всерьез.

³⁰ Здесь можно предположить лишь два варианта: (1) какое-то германское племя некогда обитало далеко к востоку от Балтийского моря, не оставив о себе никаких материальных следов; (2) какое-то финно-саамское племя выселилось в незапамятные времена из Восточной Прибалтики все и без остатка далеко на восток, не оставив о себе на своей прародине языковых следов.

³¹ Во-первых, слово *койдама* имеет альтернативную финскую этимологию (ср. фин. *koito maa* ‘убогая земля’ [Матвеев 1970: 116]); во-вторых, германские истоки пр.-фин. *kaita* не очевидны [Шилов 1997: 10]; в-третьих, термин, явно являющийся наследием какого-то чудского языка (см. выше о его распространении), может вовсе не иметь аналогов в лексике современных финно-угорских языков. Таким образом, данный случай, как крайне спорный, не может быть принят во внимание в данном вопросе.

³² К оценке этимологических штудий Й. Койвулехто см. [Хелимский 2000: 489–501, 511–535; Шилов 2002].

³³ Естественно, мы не вправе учитывать здесь фантастические германские этимологии финских терминов (*niity* ‘луг’, *kangas* ‘бор’, *otsa* ‘лоб’ и др.) Й. Койвулехто, а также иные, сомнительные пока (вопрос направления заимствования, возможность общего субстратного источника) случаи типа *palte* ‘склон’, *vank(k)a* ‘речная долина, луг’ [SKES: 476, 1637].

³⁴ В [SKES] германский материал не привлекается, но это один из немногих случаев, когда этимология Й. Койвулехто представляется убедительной.

могли бы быть объяснены на основе пр.-фин. германизмов, обычно имеют альтернативные объяснения. Так, современная форма топонима *Холмога* (ср. фин., карел. *holma* 'подводный камень, остров' < др.-сканд. *holmr* 'остров') могла возникнуть из исходного **Kalmajogi* 'Река мертвецов' или **Kolmejogi* 'Третья река' так же, как *Холмогоры* из раннего *Колмогоры*.

Правда, в СТРС есть много топонимов с элементами *Pand-*, *-ранда* [СТРС I: 212–213; СТРС II: 62, 307], явно восходящих к пр.-фин. *ranta, rand* 'берег', которые традиционно возводятся к пра-герм. *stranda*. Но здесь возникают свои вопросы. С германской этимологией конкурирует балтская, ср. литов. *kraĩtas* 'берег' [Terent'ev 1990: 30]. Кроме того, в ряде случаев основа *Pand-* сочетается с саамскими или доприбалтийско-финскими детерминантами *-бой* (см. [СТРС I: 256–261]), *-гач* (о топониме *Рандогач* см. выше). Вопросы возникают и с топонимическим элементом *пелда*, который явно соотносится с пр.-фин. *pelto, peld(o)* 'поле' [СТРС II: 57], что выводят из пра-герм. **felþo-* [SKES]. Но в СТРС нередки и топонимы с элементом *налда* 'поле', причем переход *e > a* необъясним на русской диалектной почве [СТРС II: 206–207, 323]. Следует поэтому признать, что здесь мы имеем дело со следами древних языков, в которых *a* первого слога соответствовало пр.-фин. *e* (см. об этом явлении выше). Где и когда в эти языки могло проникнуть германское слово?

Еще хуже дело обстоит с потенциальными саамскими германизмами в составе СТРС. Наш анализ показал отсутствие в топонимии РС активных на Кольском п-ве, в Карелии и Присвирье саамских основ германского происхождения. В тех немногих случаях, когда подобные этимологии все-таки предлагались, оказывалось, что может быть предложено альтернативное решение (*Калчуг, Пуйдуга, Соденьга* и др.) или же сама германская этимология саамского слова является чрезвычайно шаткой, а то и вообще неприемлемой (*Вовданга, Воченга*). Поэтому мы пока не разделяем сдержанного оптимизма А.К. Матвеева [СТРС III: 170–171, 241] в отношении перспективности привлечения германизмов саамского языка для трактовки СТРС.

Вопрос о реконструкциях по сути дела возник из следующих бесспорных фактов: (1) значительная часть топонимии СТРС и сопредельных территорий, равно как и часть неисконной севернорусской лексики, необъяснима из данных живых финно-угорских языков; (2) при этом многие топоосновы и лексические заимствования могут быть объяснены (хотя подчас и с неполным фонетическим соответствием) с привлечением ПФ или ПФС реконструкций.

Коль скоро, к тому же, мы видим примеры топонимов, да и лексических заимствований с неосуществившимися праязыковыми переходами **š > h*, **ti > si*³⁵ и некоторыми другими³⁶, мы просто вынуждены предполагать, что какая-то часть языков РС долго (до встречи со славянами) сохраняла архаичный ПФ облик, пусть в ряде моментов и эволюционировав, что естественно, от теоретически «правильного» ПФ состояния.

Широко использует ПФ и ПФС реконструкции при интерпретации топонимии Присвирья И.И. Муллонен (конкретные примеры [Муллонен 2002: 229–247]), а для РС и Карелии – автор данных строк [Шилов 1997; 1999б; 2003: 35–37]. И.И. Муллонен отмечает: «На отдельных участках Межозерья в топонимии законсервировались признаки, свойственные разным этапам процесса распада языкового единства... Целый ряд основ топонимов по своей фонетической структуре не являются еще ни саамскими, ни прибалтийско-финскими, а отражают то историческое состояние, когда не произошло еще разделения на непосредственных предков прибалтийско-финских и саамского языков. В этом смысле топонимия Межозерья подтверждает истинность кабинетных реконструкций, осуществленных финляндскими этимологами на базе современных саамских и

³⁵ Примеры первого типа в изобилии представлены А.К. Матвеевым. Свидетельствами неосуществления перехода **ti > si* мы предполагаем этноним *чудь* [Шилов 1999а: 38] и ряд гидронимов (*Тювеньга, Тювереньга, Тверь < Тьверь, Тюбозеро* (рядом оз. *Глубокое*) и др.), в основе которых можно предположить праязыковое **tüvä/*tīve > пр.-фин. süvä* 'глубокий'.

³⁶ Например, переход **η- > -v-*, ср. *Шуньга* (< **šunji* при пр.-фин. *suvi* 'лето') [Шилов 1999б: 105].

прибалтийско-финских языковых данных для восстановления определенных элементов прибалтийско-финско-саамского праязыкового состояния. Здесь, в Межозерье эти элементы обнаруживаются в живом, функционирующем виде» [Муллонен 1994: 120].

Отказаться от реконструкций при анализе субстратной финно-угорской топонимии, наверно, невозможно даже на относительно раннем этапе ее изучения и анализа. Так, например, чрезвычайно важной оказалась реальность финно-угорской основы **ukti* (не имеющей продолжений в живых пр.-фин. и саамском языках) [Хелимский 2006: 44], топонимические отражения которой (*Ухт*-, *Охт*-, *Вохт*-, *Бохт*-) в изобилии представлены как на РС [СТРС III: 57–59], так и на ряде сопредельных территорий, красноречиво свидетельствуют о ее семантике: «водно-волоковый путь; путевая река» [Афанасьев 1979; Шилов 1999б: 106–107; Муллонен 2002: 210–212].

То, что такие реконструкции имеют право на жизнь, мы попытаемся показать на одном примере. Речь идет о широко распространенной на севере России (от Карелии до Верхневолжья) топооснове *Анд*-. Происхождение ее представляется загадочным³⁷, но большинство авторов сопоставляли эту топооснову с финно-угорской глагольной основой *and-/ant-* со значением «дающая, кормящая». Это сопоставление было сурово раскритиковано А.К. Матвеевым с семантической стороны. Он подчеркнул, что в русской гидронимии нет рек и озер с названием *Кормящая*, *Кормилица*. В современной финно-угорской гидронимии основу *and-* со значением «кормить» также не удалось обнаружить [Матвеев 1995: 84]³⁸. Однако позднее А.К. Матвеев вновь вернулся к данному объяснению (из ФУ **amta-* 'давать, поить, кормить'): «При всех трудностях интерпретации структуры и семантики названий с этой основой, предлагаемая этимология пока представляется единственно приемлемой» [СТРС III: 56].

Возможная альтернатива заключается в следующем³⁹. В [Шилов 2008б: 58–59] было показано, что многочисленные названия Кольского п-ва, Карелии и РС на *Унд*-, *Онд*-, *Вонд*- в большинстве своем восходят к саам. **undus* (правильнее: ранне-прасаам. **ōndV-*) 'песок'. Если это наследие общего праязыкового фонда (а не субстратное включение), то на финно-саамском (или на предшествующем ему финно-саамско-чудском) уровне соответствующая основа восстанавливается в форме **and-*. В пр.-фин. лексике эта основа не отмечена; понятие 'песок, песчаный' передается инновационными *hieta*, *liete*. Но ведь реконструированная лексическая основа **and-* могла функционировать в древних чудских языках РС, отразившись в соответствующих топонимах⁴⁰. В этом варианте реконструкция снимает мучительную проблему абсолютной «нетопонимичности» (в семантическом плане) ФУ **amta* 'давать, кормить'.

Сказанное выше не означает полного согласия с радикальной позицией Е.А. Хелимского: «Диалекты, исчезнувшие в результате русификации к середине II тыс. ... были за несколько столетий до этого в целом более близки прасеверо-западному (правверхневолжскому) состоянию, чем современные им – и, тем более, чем современные

³⁷ Показательны слова А.К. Матвеева (о белозерском Андозере): «Названия с основами *Анд*- и *Ухт*- имеют многочисленные соответствия как на РС, так и в Волго-Окском междуречье и, видимо, относятся к наиболее древнему топонимическому слою» [СТРС II: 181].

³⁸ Ср.: «Такое редкое в вопросах субстратной топонимии единодушие объясняется, скорее всего, тем, что в финно-угорских языках данная лексическая основа является единственной внешне созвучной основе топонимической... Трудно представить, что в этих названиях реализовалась какая-то семантическая модель, не присущая топонимии известных финно-угорских земель» [Шилов 2001б: 154–155].

³⁹ Реконструкция ПФС **ōnto* по схеме: ПФС **ō* (> фин. *vio* 'поток') – *nto* (суффикс *nomina loci*) для объяснения названий на *Унд*-, *Онд*-, *Анд*- [Хелимский 2006: 44–45] (со ссылкой на [UEW: 544; SSA, 3: 472]) не кажется нам удачной. Словарь [SKES: 1813–1814] дает для *vio* ФУ реконструкции в вариантах **iva*, **ija*, из которых первичной представляется вторая; в целом же, из материалов, приведенных в указанных словарях, более оправданным видится исходное **oja* (к вопросу о гидронимах -*Ун(ь)га*).

⁴⁰ Конечно, здесь необходима проверка реалиями: сколь «песчаны» соответствующие объекты. Пока мы можем это утверждать лишь в отношении *Ондозера* (в 1649 г. – *Андомозеро*, позднее *Андозеро*, *Анде*) в Карелии и р. *Андога* в Белозерье.

нам, – ПФ и саамские диалекты. Причина этому – преимущественно имманентное и поэтому сравнительно медленное языковое развитие на территориях, относительно более близких к исходной верхневолжской прародине, в сравнении с исключительно большими изменениями под влиянием *Protolappisch*-субстрата (саамская ветвь) или при значительном воздействии индоевропейского, балтийского и германского субстрата или адстрата (ПФ ветвь). Ввиду этого при интерпретации лексического (в первую очередь топонимического) наследия на соответствующих территориях использование СЗ [северо-западных. – А.Ш.] (фактически финно-саамских) и ФУ реконструкций более эффективно и методологически более корректно, чем обращение к данным современных пр.-фин. и саамских диалектов и тем более волжских, пермских, угорских и самодийских языков» [Хелимский 2006: 40–41].

Определенно не разделяет этот максимализм А.К. Матвеев. Плодотворность применения реконструкций он признает безусловно (например, при интерпретации топонимов *пыш-/пыж-* из ПФС **pŷšä* > пр.-фин *pŷhā*, саам. *passē* ‘святой’). Более того, он говорит о перспективности и более глубоких реконструкций: «В то же время те реконструкции, которые раньше стали достоянием науки (например, в UEW), помогают интерпретировать “темные” названия корпуса СТРС в случаях, когда данные живых финно-угорских языков недостаточны. Так, гидроним *Пыльменьга (Пильменьга)* > > Покшеньга > Пинега возвести непосредственно к фин. *pimeä*, коми *пемыд* “темный” не позволяет фонетика, а к удм. *пеймыт* “то же” еще и география, однако урал. **pil'me* “темный” [UEW: 381] снимает все вопросы. Подобным же образом название реки *Шухтаньга* > Ваеньга > Сев. Двина невозможно связывать прямо с фин. *huhta* “подсека”, “пожог”, эрз. *чувто*, мокш. *шухфта* “дерево”. Но и в этом случае фин.-волж. **šukta* “вид дерева” [UEW: 788] помогает решить проблему, хотя реконструкция семантики спорна» [СТРС III: 236–237].

При этом, однако, А.К. Матвеев неоднократно указывает на опасность безудержного применения реконструкций. Дело не только в том, что некоторые реконструкции на ПФС уровне невозможны или неоднозначны (см. ниже), но и в том, что русские сплошь и рядом сталкивались с топонимическими элементами и лексемами, уже претерпевшими определенное развитие от гипотетического праязыкового состояния, ведь древние языки (сейчас вымершие, но когда-то бывшие живыми) не могли вовсе не эволюционировать.

Удачной иллюстрацией к тому, что подчас точная ПФ или ПФС реконструкция встречает затруднения, нам видятся изыскания, связанные с трактовкой диалектного *поча, поца, почча, потша, потча* ‘озерный или речной залив: рукав, старица реки; лужа, болото’. В нижеприведенной Таблице 1 знак → означает «реконструируется из», знак > «выводится из» (реальной или реконструированной формы), ~ ‘соотносится с’.

Нам представляется, что позиция А.К. Матвеева более реалистична, чем позиция ряда его оппонентов, ибо им отчетливо указывается на невозможность встречи русских с какими-либо «чуждскими» группами, говорящими на праязыках (в отношении прасаамского Матвеев, как кажется, готов сделать исключение), точно соответствующим кабинетным реконструкциям, ибо соответствующий хронологический разрыв непреодолим.

Здесь еще следует отметить, что А.К. Матвеев разделяет (что, как кажется, не замечается некоторыми его критиками) языки, соответствующие, в известной степени, праязыковому финскому (финно-саамскому) состоянию, и те языки РС, что вовсе находились вне известного современной науке финно-саамского языкового развития: «Сложность изучения топонимического субстрата связана еще и с тем, что интерпретируются данные мертвых языков (...) Звуки, форманты и лексемы, которые считаются нетипичными для языка сравнения, могут оказаться обычными для восстанавливаемого мертвого языка, как и древние формы, которые были известны только “под звездочкой” (...) В то же время могут быть обнаружены такие явления, которые составляют специфику только данного языка или группы вымерших языков (древние ли это черты или инновации)» [СТРС I: 77–78]. Потому-то он и предпочитает не полагаться всецело

Источник этимологии	Пр.-фин.	ПФ	ПФС	ПС	Саам.	Рефлексы
[SKES: 587–588], [YS, № 978] [Шилов 1997: 14–15]	<i>rohja</i> 'нижняя, задняя часть (залива, сети, дома); бухта, угол' <i>rohja</i>	→ <i>*potša</i> ⁴¹		~ <i>*pōššō</i> ←	<i>roašš(u)</i> , <i>ruašš</i> 'задняя часть чума'	> русск. <i>поча</i> , вепс. <i>poža, poža</i> 'омут, яма на лугу, топкое место'
[Муллонен 1999: 45–46; 2002: 288–289] ⁴²	фин. <i>patsi</i> 'топкое болотистое место', вепс. <i>pačak</i> 'грязь', <i>paža</i> 'гной'	→ <i>*patsi</i>	→ <i>*paće</i>	> <i>*poće</i> > <i>*pōčče</i>	> <i>*buoččá</i> (норв.)	> русск. <i>поча</i> , вепс. <i>poža, poža</i>
[СТРС I: 222–223]					<i>bocce</i> , <i>potts, poatts</i> 'труба'	> русск. <i>поча</i>
[Saarikivi 2006: 140]	<i>pudas</i> 'рукав реки' ⁴³ (угор. <i>posal, pasal</i>)		→ <i>*pusa</i>			> русск. <i>поча</i> 'рукав реки'
[Хелимский 2006: 46–47]	<i>rohja</i>		→ <i>*počja</i> ⁴⁴	(~ <i>*pōššō</i>)	> <i>*počč-</i> (у двинских саамов)	> русск. <i>поча</i>

на формально корректные праязыковые реконструкции, но сочетать их (в разумных пределах) с тем, что остается «в сухом остатке» после вычленения топонимических элементов, явно возводимых к данным пр.-фин. и саамского языков, т.е. идти к восстановлению черт вымерших языков, в первую очередь отталкиваясь от топонимических данных и от фактов заимствованной лексики.

⁴¹ Реконструкция поддерживается марийск. *potš* 'хвост', *potšeš* 'за, сзади' [Paasonen 1948: 95–96].

⁴² При этом с сам. *roašša*, *buoššo* 'задняя часть чума' И.И. Муллонен сопоставляет карел. диал. (Сегозеро) *poža* 'речной залив, заводь выше порога' [Муллонен 2001: 21].

⁴³ Пр.-фин. *pudas* (как и его саамские соответствия) может восходить к пра-уральскому **puńca* 'колени' [Хелимский 2000: 213]; в [UEW: 400] *pudas*, а также его саамские, угорские и самодийские соответствия возводятся к уральскому **puđa-se* 'рукав реки'; к *поча* это слово вряд ли имеет какое-либо отношение.

⁴⁴ Относительно ПФС реконструкции **počja* сказано: «кластер **-čj-* в других ПФ и саамских основах не засвидетельствован, но характер рефлексии фонетически сходных кластеров не противоречит подобному предположению» [Хелимский 2006: 46]. Думается, что в реконструкции с **-j-* нет необходимости, ибо *-j-* в *rohja* (исходном для этой реконструкции) мог принадлежать не основе, но суффиксу *-ja* со значением «местонахождение того, что выражено коренным словом», образующим в финском топонимы и географические термины [Хакулинен 1953: 107–108]. Ср. внешне похожие случаи заимствованных терминов *курья* [Аникин 2000: 334–335; Шилов 2008а: 19, 27] и *нарья* [Матвеев 1996: 234–235].

Подытоживая, скажем, что плодотворность применения реконструкций для отдельных конкретных случаев не тождественна плодотворности массового их воспроизведения ввиду явной (и, притом, разнонаправленной) эволюции вымерших языков РС от гипотетических праязыковых состояний. В противном случае мы рискуем синтезировать язык (языки), никогда в реальности не звучавшие на РС.

Последние разделы монографии [СТРС III: 198–215, 215–235] являются фактически развернутыми, глубоко мотивированными ответами на публикации [Saarikivi 2004; 2006; Хелимский 2006]. Основная поднятая в них проблема – статус значительной доли СТРС, определяемой А.К. Матвеевым как саамская. Я. Саарикиви сомневается в «саамстве» создателей соответствующей топонимии, полагая что она (топонимия) принадлежит носителям особого языкового типа, который характеризовался как саамскими, так и пр.-фин. особенностями. Е.А. Хелимский же, не сомневаясь в «саамстве» значительной части древнего населения РС (хотя и производя ревизию некоторых этимологий А.К. Матвеева в «праязыковом» духе), настаивает на том, что это были некие особые саамы, отличные от саамов Фенноскандии, и предлагает для их обозначения использовать термин не *саамы*, но *лопъ*, *лопляне*. В ответ на это А.К. Матвеев привел многочисленные системные факты, указывающие на следующее. На РС, наряду с древними (более архаичными, нежели собственно прибалтийско-финские и саамские) языками, функционировали и истинно саамские диалекты; во многом они уже эволюционировали от прасаамского состояния, развив ряд сепаратных инноваций; эти диалекты по ряду признаков сближаются с диалектами кольских саамов; наличие исторически обусловленного Protolappisch-субстрата в языках саамов Северной Фенноскандии и отсутствие такового у саамов РС не может служить основанием для разведения этих двух крупных групп с точки зрения их праязыковых истоков.

Сомнения в «саамстве» саамов РС можно, как нам кажется, отвести и следующим образом. Согласно исследованиям Д.В. Бубриха, Г.М. Керта, В. Лескинена, И.И. Муллонен, Я. Саарикиви, автора этих строк и ряда других исследователей, множество топонимов Карелии определенно являются саамскими по происхождению. Соответствующая топонимия (как и значительная часть топонимии Присвирья) не только сходна или вовсе тождественна топонимии РС, определяемой А.К. Матвеевым как саамская, но обнаруживает и те же признаки диалектного членения. В то время как саамизмы юго-восточной Карелии сходны своим консонантизмом с топонимией «двинских» саамов, саамизмы большей части Карелии разделяют многие особенности с топонимией саамов «белозерских» [Шилов 2008б: 62]. Но, коль скоро карельские саамы действительно признаются саамами (при том, что в их лексике явно отсутствуют многие протосаамские «арктические» элементы), то на каких основаниях можно отказывать в саамстве сходным или просто идентичным топонимам РС?

Более того, можно говорить о том, что саамы РС (равно как и саамы Межозерья и Карелии) в языковом отношении это и есть «истинные» ранние саамы. Саамы же Фенноскандии – это явно арктический палеоевропейский субстрат, подвергнувшийся феннизации (саамизации), со своей «говоркой»⁴⁵.

Иные положения работы Е.А. Хелимского (генезис гидроформанта *-In(b)ga*, оправданность массовых ПФС реконструкций, ряд частных этимологий) уже рас-

⁴⁵ Этим объясняется (в языках саамов Фенноскандии) и значительное число субстратных лексем, относящихся к базовой лексике, и некоторые фонетические особенности (исходящие из иных артикуляционных навыков), не укладывающиеся в рамки регулярных финно-саамских соответствий, и ряд морфологических явлений. Так что словарь Ю. Лехтиранты [YS] фактически дает реконструкцию поздне-прасаамского состояния, уже испытавшего языковое воздействие протосаамов. Именно к протосаамам (а не к «исходным» финно-угорским саамам) относятся слова археолога В.Я. Шумкина: «Археологические данные определенно свидетельствуют, что население Лапландии никогда не выходило за пределы Северной Фенноскандии. Заключение о былом широком распространении саамов (или протосаамов), активном участии их в этногенезе других народов не соответствует действительности» [Шумкин 1991: 143–144].

сматривались выше. Здесь остается отметить его интересную идею о выделении северо-западной группы ФУ языков (противостоящей волжским и пермским языкам), праязык которой в традиционной классификации фигурирует как финно-саамский (у нас – ПФС) или как раннеприбалтийско-финский. Полагается, что в пределах группы можно разграничить следующие ветви (по состоянию на конец I тыс. н.э.): прибалтийско-финскую, саамскую и лопскую (см. об этом дуализме выше), тоймскую («севернофинны» А.К. Матвеева), возможно – мерянскую и тверскую (с ПФ консонантизмом). Вероятной исходной областью распространения праязыка данной группы полагается левобережье Верхней Волги – Тверская, Ярославская, Костромская области и юг Вологодской области.

Мы разделяем точку зрения А.К. Матвеева в том, что идея эта достаточно плодотворна (об уместности конкретных терминов А.К. Матвеев, впрочем, высказался весьма критически), хотя детали классификации явно подлежат уточнению, а в чем-то, возможно, и пересмотру в будущем. Кажется, что серьезная проблема подобной классификации заключается в следующем. Финно-угорские языки РС возникли вряд ли одновременно, являясь равноправными потомками некоего праязыка. Между ними, очевидно, существовали генетически сложные временные и ареальные отношения. Лишь с точки зрения славян, осваивающих обширнейшие территории РС, языки, которые они там застали, являлись равноправными в этом смысле. Поэтому предложенная схема (как бы она ни корректировалась, какие бы терминологические изменения ее элементы ни претерпевали) является синхроническим приближением. Но анализ сложнейшей по составу СТРС требует диахронного подхода, опирающегося на данные ареальных (и микрорегиональных) исследований. Иначе невозможно определить – в каких случаях (на каких территориях) уместны (если вообще уместны) языковые реконструкции той или иной глубины, а это чревато полнейшим волюнтаризмом в этимологизации конкретных топонимов.

Фактически, отвечая на предложения Е.А. Хелимского по классификации древних языков РС, А.К. Матвеев указал не столь на их недостаточную аргументированность или противоречивость (они вполне аргументированны и речь здесь может идти разве что о терминологических нюансах), сколько на некоторую преждевременность подобной постановки вопроса. Сугубая осторожность А.К. Матвеева в этом вопросе видится оправданной, несмотря на кажущийся ее консерватизм.

Нам представляется, что соотнесенность финских языков РС и соседних северо-западных территорий может быть передана следующей, заведомо упрощенной и сугубо предварительной схемой, отраженной в Таблице 2 (под чудскими здесь условно подразумеваются все несаамские мертвые языки РС).

Таблица 2

Финно-саамско-чудские (топонимия на <i>Анд-, Ухт-/Охт-</i>)						
Финно-саамские (гидронимия на <i>-Vz(a)</i>)						Древнечудские (гидронимия на <i>-Vn(b)ga</i>)
Саамские		Прибалтийско-финские		Среднечудские		Онежане (Каргополь Кенозеро Пудожье)
Ново-саамские: шведские норвежские финские кольские	Собственно-саамские: карельские белозерские двинские	Северные южные	Восточные (младочудские)	Чудь новгородская тверская карельская	Южане	

Из заключения к монографии хотелось бы процитировать следующие пассажи: «В топонимической этимологии “фактор риска”, связанный прежде всего со случайными совпадениями, особенно велик. Несомненно, есть ошибочные этимологии и в этой книге, а соответственно могут быть и неверные обобщения... Но уже ясно: чем больше углубляться в эту проблему, тем властнее новая информация, привлекая к себе внимание и лингвистов и историков, будет стимулировать дальнейшее изучение СТРС.

Самое главное, что “заговорил” древнейший источник для изучения истории финно-угорских и – шире – уральских языков. Кладезь СТРС подтверждает многочисленные этимологические реконструкции не только на финно-волжском и финно-пермском уровнях, реальность которых проблематична, но и на финно-угорском и уральском, что намного существеннее. В этом отношении особенно впечатляет архаика гидронимов на *-Vn(b)ga* {...}.

СТРС представляет собой огромный массив родственных названий, объединенных языковыми и диалектными отношениями, а также ареальными связями, и кардинально измененный русской адаптацией. Сейчас установлены только общие черты и изучены отдельные фрагменты этой сложной системы. Решение проблемы в целом осуществится только тогда, когда эти фрагменты удастся свести воедино и в сложной мозаике не будет пустот и фальши» [СТРС III: 236, 245]. К сказанному здесь нам нечего добавить.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Альквист 2000а – А. Альквист. Меряне, не меряне... I // ВЯ. 2000. № 2.
Альквист 2000б – А. Альквист. Меряне, не меряне... II // ВЯ. 2000. № 3.
Аникин 2000 – А.Е. Аникин. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеазиатских языков. М.; Новосибирск, 2000.
Аникин 2005 – А.Е. Аникин. Опыт словаря лексических балтизмов в русском языке. М., 2005.
Афанасьев 1979 – А.П. Афанасьев. Исторические, географические и топонимические аспекты изучения древних водно-волоковых путей // Вопросы географии. Вып. 110. 1979.
Ваахтера 2007 – Й. Ваахтера. К вопросу об истории гласного *o*, полногласия и *ака*-нья в русском языке в свете данных о славянизации Русского Севера // *Slavica Helsingiensia*. 32. 2007.
Кабинина 2008 – Н.В. Кабинина. О происхождении форманта *-жма/-зьма* в субстратной топонимии Русского Севера // Вопросы ономастики. № 5. Екатеринбург, 2008.
Матвеев 1970 – А.К. Матвеев. Типы бытования географических терминов в субстратной микротопонимии Русского Севера // Вопросы географии. Вып. 81. 1970.
Матвеев 1978 – А.К. Матвеев. Русское диалектное *чильма* // Этимология русских диалектных слов. Свердловск, 1978.
Матвеев 1995 – А.К. Матвеев. Костромское *Андоба* (к мерянской этимологии) // Вопросы региональной лексикологии и ономастики. Вологда, 1995.
Матвеев 1996 – А.К. Матвеев. Материалы для словаря финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера // Этимологические исследования. Вып. 6. Екатеринбург, 1996.
Матвеев 2000 – А.К. Матвеев. Топонимические этимологии. XII // Этимология 1997–1999. М., 2000.
Матвеев 2003 – А.К. Матвеев. Субстратные топонимы с элементом *-конда* в Поважье // Этимология 2000–2002. М., 2003.
Матвеев 2006 – А.К. Матвеев. Ономатология. М., 2006.
Матвеев 2007 – А.К. Матвеев. Мерянские ойконимы с топоформантом *-(V)дом* и проблема каритивных топонимов // Этимология 2003–2005. М., 2007.

- МСФУЗС – Материалы для словаря финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера / Под ред. А.К. Матвеева. Вып. 1. Екатеринбург, 2004.
- Муллонен 1994 – *И.И. Муллонен*. Очерки вепсской топонимии. СПб., 1994.
- Муллонен 1999 – *И.И. Муллонен*. О двух забытых вепсских географических терминах // Русская диалектная этимология. Третье научное совещание. 21–23 октября 1999 г. Тезисы докл. и сообщ. Екатеринбург, 1999.
- Муллонен 2001 – *И.И. Муллонен*. История Сегозерья в географических названиях // Деревня Юккогуба и ее округа. Петрозаводск, 2001.
- Муллонен 2002 – *И.И. Муллонен*. Топонимия Присвирья: проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск, 2002.
- Мызников 2004 – *С.А. Мызников*. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада: Этимологический и лингвогеографический анализ. СПб., 2004.
- Напольских 1997 – *В.В. Напольских*. Происхождение субстратных палеоевропейских компонентов в составе западных финно-угров // Балто-славянские исследования 1988–1996. М., 1997.
- Попов 1965 – *А.И. Попов*. Географические названия: введение в топонимику. М.; Л., 1965.
- Поспелов 1970 – *Е.М. Поспелов*. Метод географических терминов в анализе субстратной топонимии Севера // Вопросы географии. Сб. 81. М., 1970.
- Поспелов 1974 – *Е.М. Поспелов*. Содержание топонимического атласа Центра // Вопросы географии. Сб. 94. М., 1974.
- СГРС – Словарь говоров Русского Севера / Под ред. А.К. Матвеева. Т. I–III. Екатеринбург, 2001–2005–.
- СТРС – *А.К. Матвеев*. Субстратная топонимия Русского Севера. Ч. I–III. Екатеринбург, 2001–2007.
- Смолицкая 1974 – *Г.П. Смолицкая*. Картографирование гидронимии Поочья // Вопросы географии. Сб. 94. М., 1974.
- Хакулинен 1953 – *Л. Хакулинен*. Развитие и структура финского языка. Ч. 1. Фонетика и морфология. М., 1953.
- Хелимский 2000 – *Е.А. Хелимский*. Компаративистика, уралистика. Лекции и статьи. М., 2000.
- Хелимский 2006 – *Е.А. Хелимский*. Северо-западная группа финно-угорских языков и ее субстратное наследие // Вопросы ономастики. Вып. 3. Екатеринбург, 2006.
- Шилов 1997 – *А.Л. Шилов*. Ареальные связи топонимии Заволочья и географическая терминология Заволочской Чуди // ВЯ. 1997. № 6.
- Шилов 1998 – *А.Л. Шилов*. Топонимия Карелии в аспекте проблем субстратной топонимии Русского Севера: к происхождению гидроформанта *-en(ь)ga* // ВЯ. 1998. № 3.
- Шилов 1999а – *А.Л. Шилов*. Заметки по исторической топонимике Русского Севера. М., 1999.
- Шилов 1999б – *А.Л. Шилов*. К стратификации дорусской топонимии Карелии // ВЯ. 1999. № 6.
- Шилов 1999в – *А.Л. Шилов*. К происхождению гидронимических терминов *курья, пудас, режма* // Русская диалектная этимология (Третье научное совещание 21–23 октября 1999 г. Тезисы докл. и сообщ.). Екатеринбург, 1999.
- Шилов 2001а – *А.Л. Шилов*. О мерянских топонимических индикаторах (голос в дискуссии) // ВЯ. 2001. № 6.
- Шилов 2001б – *А.Л. Шилов*. К происхождению севернорусских топонимов с основой *Анд-* // Этимологические исследования. Вып. 7. Екатеринбург, 2001.
- Шилов 2002 – *А.Л. Шилов*. Размышления над статьей Й. Койвулехто о прибалтийско-финских этнонимах // Финно-угорское наследие в русском языке. Вып. 2. Екатеринбург, 2002.
- Шилов 2003 – *А.Л. Шилов*. Топонимические модели и этимологизация субстратных топонимов Русского Севера // ВЯ. 2003. № 4.

- Шилов 2005 – А.Л. Шилов. Шлиссельбург, Кингисепп, Копорье // Рр. 2005. № 6.
- Шилов 2007 – А.Л. Шилов. К географии и происхождению топонимии с элементами *hatša* и *año* // Финно-угорская топонимия в ареальном аспекте. Петрозаводск, 2007.
- Шилов 2008а – А.Л. Шилов. Материалы к словарю ранних прибалтийско-финских, чудских и саамских заимствований русского языка. М., 2008.
- Шилов 2008б – А.Л. Шилов. Саамская топонимия Северной Карелии // Вопросы ономастики. № 5. Екатеринбург, 2008.
- Шумкин 1991 – В.Я. Шумкин. Этногенез саамов (археологический аспект) // Происхождение саамов. М., 1991.
- Ahlquist 2006 – A. Ahlquist. Ancient lakes in the former Finno-Ugrian territories of Central Russia: an experimental onomastic-palaeogeographical study // Slavica Helsingiensia. 27. Helsinki, 2006.
- Kiviniemi 1984 – E. Kiviniemi. Nimistö Suomen esihistorian tutkimuksen aineistona // Suomen väestön esihistorialliset juuret (Tvärinnen symposiumi 17-19.01.1980). Helsinki, 1984.
- KKLS – T.I. Ikonen. Koltan- ja kuolanlapin sanakirja. Helsinki, 1958.
- Koivulehto 1999 – J. Koivulehto. Verba mutuata (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. 237). Helsinki, 1999.
- Koivulehto 2006 – J. Koivulehto. Wie alt sind die Kontakte zwischen Finnisch-Ugrisch und Balto-Slavisch? // Slavica Helsingiensia. 27. Helsinki, 2006.
- LÄGLOS – A.D. Kylstra, S.-L. Hahmo, T. Hofstra, O. Nikkilä. Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. I. Amsterdam; Atlanta, 1991; II: 1997.
- Paasonen 1948 – H. Paasonen. Ost-Tscheremissisches Wörterbuch. Helsinki, 1948.
- Saarikivi 2004 – J. Saarikivi. Über das saamische Substratnamengut in Nordrußland und Finnland // Finnisch-Ugrische Forschungen. Bd. 28. 2004.
- Saarikivi 2006 – J. Saarikivi. Substrata Uralica. Studies on Finno-Ugrian substrate in northern Russian dialects. Tartu, 2006.
- SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Osa 1-6. Helsinki, 1955-1978.
- SSA – Suomen sanojen alkuperä: etymologinen sanakirja. Osa 1-3. Helsinki, 1992-2000.
- Terent'ev 1990 – V.A. Terent'ev. Corrections to the «Suomen kielen etymologinen sanakirja» concerning Germanic, Baltic and Slavic loanwords // Uralo-Indogermanica. II. M., 1990.
- UEW – K. Rédei. Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Bd. I-III. Budapest, 1986-1991.
- YS – J. Lehtiranta. Yhteissaamelainen sanasto (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. 200). Helsinki, 1989.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 2009 г. О. И. ЗАВЬЯЛОВА

**КИТАЙСКИЕ ДИАЛЕКТЫ И СОВРЕМЕННОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
В КНР**

Статья посвящена современной китайской диалектологии в КНР. Особое внимание автор уделяет новейшим лингвогеографическим публикациям, а также работам по морфологии и лексикографии, которые стали приоритетными направлениями китайской диалектологии с конца XX в.

Диалектология является важнейшей составляющей китайского языкознания. Впервые в КНР признано, что диалекты и использующий пекинское произношение официальный язык *путунхуа*, устной формой которого в той или иной степени владеет лишь половина населения страны, обречены на долгое сосуществование и не должны противопоставляться друг другу (письменные иероглифические тексты на *путунхуа*, используемом в качестве нормативного пекинское произношение, носители диалектов могут читать по-разному – с местным произношением). Одновременно в лингвистических работах высказана обеспокоенность тем, что некоторые территориальные разновидности китайского языка с небольшим количеством говорящих начинают бесследно исчезать [Ван Пин 2006]. В 1990-е гг. был осуществлен уникальный проект – издание серии аудиозаписей 40 китайских диалектов, позже переизданной в современном варианте на диске [Сяньдай ханьюй 2006]. Диалекты любого уровня, таким образом, воспринимаются в китайском языкознании как объект, имеющий самостоятельную научную и культурную ценность вне связи с решением проблем распространения единого устного средства общения в диалектных районах [Чжунго юйянь 2006]. Еще одна особенность диалектологии последних лет – интерес к китасязычным регионам Азии за пределами континентального Китая, прежде всего – к Гонконгу (Сянгану), Макао (Аомэню) и Тайваню, где языковая ситуация и языковая политика в отношении китайских диалектов не совпадают с континентальными (о сотрудничестве лингвистов «четырех регионов по обе стороны пролива», т.е. континентального Китая, Гонконга, Макао и Тайваня, см., например [Чжунго юйянь 2007]).

Китайские диалектные группы, как на это указал Б. Карлгрен почти сто лет тому назад [Karlgren 1915], – это по сути дела разные, хотя и близкородственные языки, которые, тем не менее, с древности объединены не только общей государственностью, но также иероглифической письменностью и письменным языком (о письменных формах китайского языка – официальном до начала XX в. *вэньяне*, воспроизводившем особенности классического древнекитайского языка, и более позднем неофициальном *байхуа*, который в своей модернизированной форме лежит в основе письменной формы *путунхуа*, см., например [Зограф 1990; 2005; Софронов 1979]). Взаимопонимание между представителями разных диалектных групп невозможно без предварительного

обучения. В лингвистической литературе континентального Китая применительно как к диалектным группам, так и к территориальным разновидностям внутри них в равной степени употребляется термин «диалекты» – *фанъянь* (букв. «местные слова»), в работах китайских лингвистов на английском языке – соответственно *dialects*; ср. *ханьюй фанъянь* – «диалекты китайского/ханьского языка», *Chinese dialects*. Параллельно основные диалектные единицы сохраняют свои названия традиционного типа; ср. *у фанъянь* – «диалекты У» и *уюй* – «группа диалектов У» (букв. «язык [региона древнего царства] У»); *кэцзя фанъянь* – «диалекты хакка» и *кэцзяхуа* – «группа диалектов хакка» (букв. «говор [этнической группы] кэцзя»); *бэйцзин фанъянь* – «пекинский диалект» и *бэйцзинхуа* – «пекинский говор». Термин «диалекты» (*чжунго фанъянь* «китайские диалекты») принят также в современном Гонконге, где численно доминирует кантонский, или гуанчжоуский диалект, который относится к группе Юэ. Официальным языком в Гонконге всегда был английский. После возвращения Гонконга КНР официальным устным средством общения наряду с английским объявлен не только кантонский диалект, но также и *путунхуа*, распространению которого придается большое значение. Письменная форма китайского языка, традиционно употребляющаяся в Гонконге, в общем совпадает с письменной формой *путунхуа*, хотя при необходимости для записи текстов на кантонском диалекте (например, художественных или разговорных в Интернет-блогах) существуют особые иероглифы, для которых разработаны современные компьютерные кодировки. В бывшей португальской колонии Макао употребляются четыре устных формы (по-китайски – *сы юй* «четыре языка»): португальский язык, в том числе в его особом местном варианте, кантонский диалект, а также английский язык и с недавнего времени *путунхуа* [Шэн Янь 1999].

На Тайване после отмены военного положения в 1987 г. и, как следствие, либерализации языковой политики в официальных публикациях принято говорить не о диалектах, а о трех местных «китайских языках» (*Han languages*). Первый – это аналог *путунхуа*, который сохраняет здесь свое более раннее название «государственный язык» (*гоюй*), введенное в 1909 г. и использовавшееся в Китайской Республике до 1949 г. Два других «языка» – это основные диалекты, распространенные на острове [Wei 2006]. Первый охватывает примерно 70% населения Тайваня и относится к южнофуцзяньской группе (*миньнань*, *миньнаньхуа*), характерной на континенте главным образом для провинции Фуцзянь. На Тайване он называется *миньнаньюй* – «язык *миньнань*», *тайвань миньнаньюй* – «тайваньский язык *миньнань*», *тайюй* – «тай[ваньский] язык», *тайваньхуа* – «тайваньский говор». Второй диалект, менее значительный по числу говорящих (12% населения), относится к группе *хакка* (на Тайване: *кэюй* – «язык *хакка*»), характерной на континенте для восточной части провинции Гуандун и прилегающих районов провинций Фуцзянь и Цзянси. После переезда правительства Китайской Республики на Тайвань в 1949 г. была поставлена задача продолжить реформы языка, проводившиеся на континенте с начала XX в. В результате успешной кампании *гоюем* владеют 90% населения острова, в Тайбэе – почти все его жители. Тем не менее, в 2003 г. Министерством просвещения Тайваня был разработан «Проект закона о равенстве языков» (в 2007 г. переименован в «Проект закона о развитии национальных языков»), под которыми подразумеваются как австронезийские языки аборигенов Тайваня, так и три местных «китайских языка».

Первые сведения о современных китайских диалектах появились с середины XIX в. в работах западных миссионеров (см. например, данные по диалектам *хакка* в материалах Базельской и других протестантских миссий [Chapell, Lamarre 2005: 11–18]). Первой собственно китайской публикацией, в которой представлено исследование диалектов современными методами, – работа знаменитого лингвиста Чжао Юаньжэня, охватывающая 33 пункта в ареале диалектов группы У (полевые исследования 1924 г.) [Chao Yuen Ren 1928]. Позже Институтом истории и филологии Академии наук Китая была предпринята серия экспедиций в ряде районов, относящихся к области распространения разных диалектов. Материалы этого периода публиковались на протяжении нескольких десятилетий, в том числе после 1949 г. на Тайване. Обследование, учиты-

вающее прежде всего фонетические признаки, велось по единой программе. В итоге фонетика обследованных пунктов, сеть которых достаточно густая, изложена по одной и той же схеме. В основе опросных анкет и системы описания диалектов лежат прежде всего категории среднекитайской фонетики, к которой восходит фонетика всех диалектов, кроме диалектов Минь. Такая же система использовалась позже в ходе общекитайского обследования диалектов в КНР, которое было инициировано в 1957 г. в связи с необходимостью распространения устной формы *путунхуа* и составления пособий для его изучения – прежде всего для того, чтобы научить носителей диалектов правильно читать по-пекински иероглифы (лексические и грамматические расхождения диалектов считались в то время несущественными). Лингвогеографическое осмысление данных, полученных в результате обследований этих двух периодов, представлено в ряде отечественных работ [Яхонтов 1967; Завьялова 1982; Астрахан 1985].

В 1979 г., после перерыва, связанного с «культурной революцией», возобновление диалектных исследований было отмечено основанием первого в истории китайского языкознания ежеквартального журнала «Фанъянь» («Диалекты»). В 1981 г. создано «Общество изучения диалектов китайского языка» (с 1991 – «Национальное общество изучения диалектов китайского языка»), которое с момента своего основания регулярно проводит научные конференции общего и тематического характера. Ежегодно публикуются десятки диалектологических работ – монографии, сборники, статьи в центральных и местных журналах. Характерные черты диалектологии последних трех десятилетий – подведение итогов обследований прошлых лет и одновременно постепенное расширение области исследований с привлечением новых методов и современных компьютерных технологий [Чэнь Чжантай 2001; Цао Чжунь 2006].

Традиционно считалось, что лексические и грамматические расхождения между китайскими диалектами менее существенны, чем фонетические, хотя в том или ином объеме данные по лексике и грамматике содержатся во многих публикациях разных периодов, в том числе в составленных в 1980-е кратких описаниях уездных диалектов (*фанъянь чжи*). Для китайской диалектологии последнего периода характерно внимание как к фонетике, так и к лексике, а также с 1990-х гг. к грамматике и грамматической типологии (ср., например, материалы международной конференции по грамматике китайских диалектов [Эршии шицзи 2008]). Появились статьи, посвященные проблеме порядка слов, ранее уже затрагивавшейся в западной и японской синологии, в частности, в связи с анализом параллельных конструкций в языках малых народов Китая [Хэ Вэй 1992; Дин Бансинь 2000; Чжан Чжэньсин 2003; Лю Даныин 2006].

В конце 1980-х гг. было опубликовано обобщающее лингвогеографическое издание – «Атлас языков Китая» («Чжунго юйянь дитуцзи / Language atlas of China», Hong Kong, 1987), изданный в Гонконге совместно Академией гуманитарных наук Австралии и Академией общественных наук КНР. Диалектам китайского языка в атласе посвящены одна общая и 15 региональных карт. На двух дополнительных картах отражено распространение китайских диалектов в Юго-Восточной Азии и других регионах мира. Параллельно в журнале «Фанъянь» с 1984 г. печатались многочисленные статьи, посвященные классификации и географическому распространению тех или иных диалектных групп и подгрупп китайского языка. При классификации диалектов в атласе и в соответствующих публикациях использовались новые для китайской диалектологии системные лингвогеографические термины, целесообразность введения которых, ставится, впрочем, под сомнение в более поздних работах: «макроареал» – *дацюй*, «ареал» – *цюй*, «регион» – *янь*, «субрегион» – *сяоянь* и «пункт» – *дянь*. Традиционные группы приравнивались к арсам и рассматривались как равноценные. Исключения, соотношенные с макроареалами, составили, во-первых, диалекты группы *гуаньхуа* (северные), которые лежат в основе лексики и грамматики *путунхуа* и охватывают большую часть населения и территории страны, и, во-вторых, архаичные диалекты Минь, на самом деле представляющие собой несколько сравнительно поздно разделившихся групп (подробнее см., например [Завьялова 1996: 18–40]).

В основе предложенной классификации лежат фонетические признаки – соответствия современных систем среднекитайской, отчасти – черты, отличающие тот или иной диалект от пекинского, фонетика которого является нормативной для *путунхуа*. Именно эти признаки в первую очередь фиксировались в китайской диалектологии предыдущих периодов, позволяя провести на картах четкие изолинии и тем самым определить границы между диалектными единицами разного уровня. Ср., например, предложенную китайскими лингвистами классификацию диалектов *гуаньхуа*, в которой использованы современные соответствия среднекитайскому «входящему» тону и выделены несколько равноценных подгрупп. В то же время картографирование совокупности фонетических признаков даст для диалектов *гуаньхуа* несколько иные результаты, обнаруживая важнейшую лингвистическую границу, образованную пучком изолиний. Эта граница, проходящая вдоль реки Хуайхэ, делит территорию распространения диалектов *гуаньхуа* на два ареала (северный и южный) и совпадает с исторической границей между чжурчжэньским государством Цзинь (1115–1234 гг.) и Китаем при династии Южная Сун (1127–1279 гг.) и позднее между южносунским государством и монгольской империей Юань (1271–1368 гг.) в начале ее существования. В каждом из этих ареалов в свою очередь выделяются подгруппы, в основном совпадающие с теми, которые перечислены в китайской классификации [Завьялова 1982; 1996: 125–135]. Лексические изоглоссы внутри *гуаньхуа*, как установлено японскими лингвистами, проходят в междуречье рек Хуайхэ и Янцзы, на территории современной провинции Цзянсу. Вместе с изолиниями, проходящими вдоль Янцзы, они образуют очень рано сформировавшуюся переходную зону между северными и южными диалектами Китая [Iwata 1995].

Одним из приоритетных направлений диалектных исследований последнего десятилетия XX в. стала лексикография. В 1990 г. Институт языкознания АОН КНР и нанкинское издательство «Цзянсу цзяюй чубаньшэ» («Издательство Просвещение [провинции] Цзянсу») приступили к работе над уникальным проектом – «Большим словарем диалектов современного китайского языка» [Сяньдай ханьюй фанъянь 2002]; о принципах составления словаря см. [Ли Жун 1992; 1993: 1; Чжан Чжэньсин 2000]. В работе над этим проектом приняли участие более шестидесяти лингвистов, в совершенстве владеющих соответствующими диалектами либо как родными, либо в результате долгого проживания в соответствующем регионе. С 1994 г. по 1999 г. подготовлены и опубликованы отдельные выпуски словаря, каждый из которых посвящен описанию диалекта одного из 41 пунктов. Неохваченными первоначальными выпусками оказались, во-первых, диалекты группы Ваньнань (южноаньхойские), и, во-вторых, пекинский диалект, специфическая лексика которого была, впрочем, представлена ранее в ряде других публикаций; ср., например [Чэнь Ган 1985; Сюй Шижун, 1990]. В 2002 г. вышло итоговое шеститомное издание, объединившее ранее опубликованные выпуски, а также подготовленный к этому времени новый, посвященный южноаньхойскому диалекту уезда Цзиси (отдельный выпуск с описанием диалекта Цзиси опубликован в 2003 г.).

Перед составителями словаря были поставлены две задачи, которые нашли свое отражение в опросных анкетах, использовавшихся при работе с информантами. Первая задача – как можно полнее отразить специфические особенности каждого из обследуемых диалектов, например, заимствования из русского языка в диалекте Харбина на северо-востоке страны или из уйгурского языка в диалекте Урумчи (Синьцзян-Уйгурский АР). Вторая – получить данные, позволяющие сравнивать обследованные диалекты друг с другом и с *путунхуа*. Во вводной части каждого выпуска содержатся географическая, историческая и демографическая характеристики соответствующего пункта, определено место описываемого диалекта среди других китайских диалектов и проанализированы его внутренние расхождения – территориальные и в зависимости от возраста говорящего. Описание фонетики включает иероглифический силлабарий, построенный в виде традиционной для китайского языкознания таблицы. Собственно словарная часть содержит от семи до десяти тысяч статей в зависимости от выпуска и построена по фонетическому принципу. К каждому выпуску прилагаются допол-

нительные указатели – тематический и иероглифический по числу черт в иероглифе. Многочисленные примеры словоупотребления служат богатым источником для сравнительного изучения не только лексики, но также и грамматики китайских диалектов [Ван Гошэн 2003].

Помимо «Большого словаря диалектов современного китайского языка» за последние два десятилетия опубликованы другие лексикографические работы. Среди наиболее значительных – словник «Базовая лексика диалектов, лежащих в основе *путунхуа*», который содержит данные, в том числе фонетические и морфонологические, о диалектах 93 пунктов ареала диалектов *гуаньхуа* и включает 2645 статей [Чэнь Чжантай 1996]. К наиболее важным публикациям по лексике следует отнести также пятитомный «Большой словарь китайских диалектов», составленный Сюй Баохуа (Фуданьский университет, Шанхай) и Мията Итиро (Институт иностранных языков, Киото) [Сюй Баохуа 1998]. Источниками для него послужили как современные диалекты (свыше тысячи пунктов в разных районах Китая), так и более 5000 письменных памятников разных периодов, самые ранние – до эпохи Цинь (221–207 гг. до н. э.). Одна из проблем, с которой столкнулись составители «Большого словаря» и вообще специалисты по диалектной лексике, – определение этимологии лексических единиц, записываемых (часто по-разному в зависимости от диалекта) «местными знаками» – *бэньцзы* (о проблеме «местных знаков» см., например [Ли Жун 1997; Ван Футан 2003]). Задача поиска иероглифов для записи диалектных текстов считается одной из приоритетных на Тайване, что связано с возрастающим объемом печатающейся литературы на диалектах и повышением их статуса на острове.

Еще одна особенность китайской диалектологии рассматриваемого периода – отход от представлений о фонетической неизменности в потоке речи китайской слогоморфемы, базовой единицы изолирующих языков, как правило, равной слогу и морфеме; анализ соответствующих данных в публикациях 1980-х – начала 1990 гг. см. [Завьялова 1996: 41–79]; ср. также обзорные публикации [Ли Шуянь 1999: 15; Ли Жулун 2003: 1–29; Ли Сяофань 2004].

В *путунхуа* и пекинском диалекте морфонологические тоновые чередования незначительны и сводятся главным образом к переходу низкого тона в восходящий перед другим низким. В то же время в диалектах комбинаторные чередования перед определенным тоном (тонами) охватывают разные тоновые классы, характеризующиеся неодинаковыми контурами и регистрами. Кроме того, во многих диалектах обнаружены ранее неизвестные в китайском языке чередования, связанные с тем, что различия между некоторыми тонами, исчезнувшие в конце фонетического слова, тем не менее, сохраняются перед другим слогом (подобные чередования были, в частности, выявлены при экспериментальном изучении ганьсуйского диалекта дунганского языка [Завьялова 1973]). В некоторых диалектах чередования тонов определяются сложной системой правил, учитывающих совокупность разных факторов. Такое же разнообразие обнаруживают по диалектам способы и условия нейтрализации тона в первом слоге фонетического слова (в пекинском – это так называемый нейтральный, или «легкий» тон, сопровождающийся сокращением длительности и интенсивности слога).

Сегментное морфонологическое варьирование (если речь идет о неслужебных морфемах) ограничено некоторыми периферийными диалектами группы У и диалектами Минь. В то же время для служебных морфем по всему Китаю характерны разнообразные морфонологические процессы, связанные, в частности, со слиянием служебных и предшествующих им неслужебных морфем в один слог (один из примеров такого слияния – хорошо известная пекинская эризация, которая возникает при присоединении к предшествующей слогоморфеме суффикса *-эр*). Принципиально новое морфонологическое явление, по-видимому, очень древнего происхождения, открытое китайскими лингвистами в последние годы в диалектах группы Цзинь (распространены на севере главным образом на территории провинций Шаньси и Шэньси), – это слоги, распавшиеся на два слога (*фэньиньцзы*), восходящие к древнекитайским слогам с консонантными

сочетаниями с *-r- [Завьялова 1996: 78–79]. Аналог этого явления недавно зафиксирован также на юге Китая в архаичных диалектах Минь [Ли Лань 2002].

Фонетические, лексические и грамматические материалы, накопленные в течение последних трех десятилетий, нашли свое отражение на картах недавно опубликованного трехтомного «Атласа диалектов китайского языка», учитывающего данные по 930 пунктам в разных районах Китая [Ханьюй фанъянь 2008]. В ближайшее время силами китайских ученых и только китайских издателей будет опубликован новый вариант упомянутого выше «Атласа языков Китая» [Сюн Чжэнхуэй 2008]. В китайской диалектологии XX – начала XXI в., таким образом, накоплены обширные данные – фонетические, морфонологические, лексические, в меньшей степени – грамматические, собранные несколькими поколениями ученых. Практические и теоретические результаты широкомасштабных диалектных исследований, осуществляющихся на протяжении последних тридцати лет в Китае, представляют интерес не только для синологов разных специальностей за его пределами, но также и для лингвистического сообщества в целом. Тем не менее, описание китайских диалектов пока нельзя считать завершенным. Делом будущего по-прежнему остается также обработка и осмысление большей части собранной информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Астрахан 1985 – *Е.Б. Астрахан, О.И. Завьялова, М.В. Софронов*. Диалекты и национальный язык в Китае. М., 1985.
- Ван Гошэн 2003 – *Ван Гошэн*. Цун юйфа яньцзю цзяду кань «Сяньдай ханьюй фанъянь да-цзидянь» цзунхэбэнь (Объединенный [шеститомный] вариант «Большого словаря диалектов современного китайского языка» как источник для исследований по грамматике) // *Фанъянь*. 2003. № 4.
- Ван Пин 2006 – *Ван Пин*. Чжэнцзю чули фанъянь юй путунхуа гуаньси чу и (Предварительные замечания в связи с необходимостью упорядочить отношения между *путунхуа* и диалектами) // *Чжунго фанъянь сюэбао*. 2006. № 1.
- Ван Футан 2003 – *Ван Футан*. Фанъянь бэньцзы каочжэн шолюэ (Кратко о проблеме изучения местных иероглифов для записи диалектов) // *Фанъянь*. 2003. № 4.
- Дин Бансинь 2000 – *Дин Бансинь*. Лунь ханьюй фанъянь чжун «чжунсиньюй – сюшиюй» ды фаньчан цысюй вэньти (О проблеме нестандартного порядка «определяемое – определение» в китайских диалектах) // *Фанъянь*. 2000. № 3.
- Завьялова 1973 – *О.И. Завьялова*. Тоны в дунганском языке // *Народы Азии и Африки*. 1973. № 3.
- Завьялова 1982 – *О.И. Завьялова*. Некоторые вопросы лингвогеографического изучения фонетики *гуаньхуа* // *ВЯ*. 1982. № 3.
- Завьялова 1996 – *О.И. Завьялова*. Диалекты китайского языка. М., 1996.
- Зограф 1990 – *И.Т. Зограф*. Официальный *вэньянь*. М., 1990.
- Зограф 2005 – *И.Т. Зограф*. Хрестоматия по китайскому языку (ранний *байхуа* и поздний *вэньянь*). СПб., 2005.
- Ли Жулун 2003 – *Ли Жулун*. Ханьюй фанъянь ды бицзю яньцзю (Сравнительное изучение диалектов китайского языка). Пекин, 2003.
- Ли Жун 1992 – *Ли Жун*. Фанъянь цидянь шолюэ (О диалектных словарях) // *Фанъянь*. 1992. № 4.
- Ли Жун 1993 – *Ли Жун*. Фэньди фанъянь цидянь цзунсюй (Общее предисловие к региональным диалектным словарям) // *Фанъянь*. 1993. № 1.
- Ли Жун 1997 – *Ли Жун*. Као бэньцзы ганьку (Радости и горести при поисках иероглифов для записи диалектных слов) // *Фанъянь*. 1997. № 1.
- Ли Лань 2002 – *Ли Лань*. Фанъянь бицзю, цюйюй фанъяньши юй фанъянь фэньцзюй – и Цзиньюй фэньиньцы хэ Фучжоу цецзюцы вэй ле (Сравнительное изучение диалектов, история их районирования и классификация в связи с *фэньиньцы* в диалектах Цзинь и *цечзюцы* в диалектах Минь) // *Фанъянь*. 2002. № 1.
- Ли Сяофань 2004 – *Ли Сяофань*. Ханьюй фанъянь лянду бяньдяо ды цэнцзи хэ лэйсин (Уровни и классы морфонологических чередований тонов в китайских диалектах). *Фанъянь*. 2004. № 1.

- Ли Шуянь 1999 – *Ли Шуянь*. Мяньсян эршии шицзи ды ханьюй фанъянь яньцзю (В преддверии диалектологических исследований XXI в.) // *Фанъянь*. 1999. № 1.
- Лю Даньцин 2006 – *Лю Даньцин*. Ханьюй фанъянь юйфа дяоча яньцзю ды сань чжун моши (Три модели обследования и анализа грамматики диалектов китайского языка) // *Чжунго фанъянь сюэбао*. 2006. № 1.
- Софронов 1979 – *М.В. Софронов*. Китайский язык и китайское общество. М., 1979.
- Сюй Баохуа 1998 – *Сюй Баохуа, Мията Итиро*. Ханьюй фанъянь да цыдянь (Большой словарь китайских диалектов) Т. 1–5. Пекин, 1998.
- Сюй Шижун 1990 – *Сюй Шижун*. Бэйцзин туюй цыдянь (Словарь местной пекинской лексики). Пекин, 1990.
- Сюн Чжэнхуэй 2008 – *Сюн Чжэнхуэй, Чжан Чжэньсин*. Ханьюй фанъянь ды фэньцзюй (Классификация диалектов китайского языка) // *Фанъянь*. 2008. № 2.
- Сяньдай ханьюй 2006 – *Сяньдай ханьюй фанъянь иньку* (Собрание аудиозаписей современных диалектов китайского языка) / Ред. Хоу Цзинь. Шанхай, 2006.
- Сяньдай ханьюй фанъянь 2002 – *Сяньдай ханьюй фанъянь дацыдянь* (Большой словарь диалектов современного китайского языка) / Ред. Ли Жун. Т. 1–6. Пекин, 2002.
- Ханьюй фанъянь 2008 – *Ханьюй фанъянь дитуцзи* (Атлас диалектов китайского языка) / Ред. Цао Чжиюнь. Т. 1–3. Пекин, 2008.
- Хэ Вэй 1992 – *Хэ Вэй*. Ханьюй фанъянь юйфа яньцзю ды цигэ вэньти (Несколько вопросов в связи с исследованиями в области грамматики китайских диалектов) // *Фанъянь*. 1992. № 3.
- Цао Чжиюнь 2006 – *Цао Чжиюнь*. Дили юйяньсюэ цзи ци цзай чжунго ды фачжань (Лингвистическая география и ее развитие в Китае) // *Чжунго фанъянь сюэбао*. 2006. № 1.
- Чжан Чжэньсин 2000 – *Чжан Чжэньсин*. «Сяньдай фанъянь дацыдянь» бяньцзуань хоу цзи (Заметки после публикации «Большого словаря диалектов современного китайского языка») // *Фанъянь*. 2000. № 2.
- Чжан Чжэньсин 2003 – *Чжан Чжэньсин*. Сяньдай ханьюй фанъянь юйсюй вэньти ды каоча (Обзор работ, посвященных проблеме порядка слов в современных китайских диалектах) // *Фанъянь*. 2003. № 2.
- Чжунго юйянь 2006 – *Чжунго юйянь шэнхо чжуанкуан баогао* (Доклад о языковой ситуации в Китае в 2005 г.). Пекин, 2006.
- Чжунго юйянь 2007 – *Чжунго юйянь шэнхо чжуанкуан баогао* (Доклад о языковой ситуации в Китае в 2006 г.). Пекин, 2007.
- Чэнь Ган 1985 – *Чэнь Ган*. Бэйцзин фанъянь цыдянь (Словарь пекинского диалекта). Пекин, 1985.
- Чэнь Чжантай 1996 – *Чэнь Чжантай, Ли Синьцзянь*. Путунхуа цзичу фанъянь цзибэнь цыхуэй-цзи (Базовая лексика диалектов, лежащих в основе путунхуа). Т. 1–5. Пекин, 1996.
- Чэнь Чжантай 2001 – *Чэнь Чжантай, Чжань Бохуэй, У Вэй*. Ханьюй фанъянь диту ды хуэйчжи (Составление карт китайских диалектов) // *Фанъянь*. 2001. № 3.
- Шэн Янь 1999 – *Шэн Янь*. Аомэнь юйянь сяньчжуан юй юйянь гуйхуа (Языковая ситуация и языковое планирование в Макао) // *Фанъянь*. 1999. № 4.
- Эршии шицзи 2008 – 21 шицзи ханьюй фанъянь юйфа синь таньсо – дисань цзе ханьюй фанъянь юйфа гоцзи таолуньхуэй луньвэньцзи (Исследования XXI в. по грамматике китайских диалектов – сборник статей по материалам 3-й конференции). Гуанчжоу, 2008.
- Яхонтов 1967 – *С.Е. Яхонтов*. Географическое распространение диалектов китайского языка // *Вестник ЛГУ (История. Язык. Литература)*. 1967. № 2.
- Chao Yuen Ren 1928 – *Chao Yuen Ren*. Studies in the modern Wu dialects. Peking, 1928.
- Chapell, Lamarre 2005 – *H. Chapell, Ch. Lamarre*. A grammar and lexicon of Hakka. Historical materials from the Basel mission library. Paris, 2005.
- Iwata 1995 – *R. Iwata*. Linguistic geography of Chinese dialects: Project on Han Dialects (PHD) // *Asie Orientale*. 1995. № 24/2.
- Karlgren 1915 – *B. Karlgren*. Études sur la phonologie chinoise // *Archives d'études orientales*. V. 15. 1915. № 1.
- Wei 2006 – *J.M. Wei*. Language choice and ideology in multicultural Taiwan // *Language and linguistics*. 2006. № 1.

РЕЦЕНЗИИ

Reciprocal constructions / Ed. by V. Nedjalkov, with the assistance of E. Geniušienė and Z. Guentchéva. Amsterdam: John Benjamins, 2007. V. 1–5. 2219 p. (Typological studies in language; 71).

Давно ожидавшееся издание, посвященное типологии взаимных (реципрокальных) конструкций, наконец, вышло из печати, и его масштабы поражают. Многолетняя работа Владимира Петровича Недеялкова (он является не только автором замысла книги и ее главным редактором, но и автором – или соавтором – примерно трети конкретно-языковых описаний в ней), свидетелями которой были практически все российские и европейские типологи, так или иначе вовлеченные в процесс подготовки этой книги, завершилась выпущенной издательством John Benjamins фундаментальной серией из пяти (!) томов общим объемом более двух тысяч страниц. Понятная робость охватывает даже рядового читателя – как подступить к этому богатству, откуда начать знакомство с пятитомником, как им пользоваться? Тем более острым является это чувство у рецензента, который должен не просто способствовать первоначальному знакомству с изданием, но взять на себя ответственность за более или менее систематический обзор его, не упустив, по возможности, ничего существенного – да к тому же еще и должен сделать попытку дать оценку этому изданию в контексте современной грамматической типологии.

Не претендуя на то, что справимся со всеми этими задачами так, как следует, все же попробуем начать – тем более, скажем сразу, что книга эта, бесспорно являющаяся событием в мировой типологии, заслуживает обстоятельного разговора – может быть, куда более обстоятельного, чем одна небольшая рецензия; это становится ясно даже при беглом взгляде на оглавление, пестрящее именами специалистов по типологии буквально со всех концов света.

До появления данного сборника реципрок, безусловно, не относился к самым изученным типам актантной деривации (особенно в типологическом плане). Вместе с тем определенная типологическая традиция изучения реципрока

(равно как и предикатов взаимной семантики в целом, называемых обычно «симметричными») существовала. Начало ей было положено в работах А.А. Холодовича 1970-х гг. (в особенности следует отметить его статью о японском реципроке, опубликованную посмертно в 1978 г.; по замыслу автора, это исследование должно было составить отдельную главу готовившейся им книги о японском глагольном словоизменении, ср. [Холодович 1979: 161–172]). Собственно, именно на эту традицию самым непосредственным образом опирается и настоящее издание, главный редактор которого, будучи учеником А.А. Холодовича и (вместе с В.С. Храковским) одним из основателей того направления, которое сегодня называют Петербургской типологической школой, начал заниматься реципроком (наряду с другими типами глагольной деривации) приблизительно в то же время, когда появлялись первые работы А.А. Холодовича на эту тему. Важными этапами на пути к рецензируемой монографии (имеющей, таким образом, многолетнюю предысторию) являются, в частности, работы [Недеялков 1991; 2004]; укажем также целый ряд работ по русским взаимным конструкциям, принадлежащих Ю.П. Князеву, одному из ближайших сотрудников В.П. Недеялкова, начиная от ранней статьи [Князев 1996] и заканчивая большим разделом в книге [Князев 2007: 258–368] (заметим в скобках, что эта книга является, на наш взгляд, одним из наиболее удачных современных описаний грамматической системы русского языка с типологической точки зрения и также заслуживала бы отдельного обстоятельного отклика).

Западных исследований по типологии реципрока меньше; среди них следует в первую очередь упомянуть давнюю небольшую статью Ф. Лихтенберка [Lichtenberk 1985] – кстати, участника и рецензируемого многотомника, которая долгое время была одним из основных (если не единственным) источником сведе-

ний по полисемии показателей реципрока, содержащей и важную попытку объяснения путей возникновения основных типов этой полисемии (эта проблематика, помимо, естественно, рецензируемой книги, специально обсуждается в [Недялков 2004]). Опытом обобщающего издания по типологии взаимных конструкций был также небольшой сборник статей [Frajzyngier, Curl 2000] (вышедший в той же серии *Typological studies in language*); эта книга, по жанру наиболее близкая к рецензируемой, на ее фоне может рассматриваться все же лишь как очень отдаленное приближение к выполненной В.П. Недялковым титанической работе. (При этом заметим, что два из восьми авторов этой книги, Ф. Лихтенберг и Е.С. Маслова, впоследствии приняли участие и в издании под редакцией В.П. Недялкова.)

В работе над рецензируемым сборником как с организационной, так и с научной точек зрения, большую роль сыграло сотрудничество В.П. Недялкова с французскими типологами. Собственно, непосредственный импульс данной работе был дан в 1991 г., когда В.П. Недялков был приглашен на небольшой срок для работы в Лаборатории формальной лингвистики Парижского университета-VII (в то время, наверно, лучший научно-исследовательский лингвистический коллектив во Франции, сыгравший неоценимую роль и в развитии российско-французских научных связей в целом); в совместных обсуждениях со Златкой Генчевой, Катрин Парис и Алис Картье и возник замысел будущего коллективного проекта. Позднее З. Генчева (как и Э. Генюшене) стала соредактором пятитомника, но для воплощения замысла в жизнь понадобилось долгих 17 лет. Впрочем, первоначально речь шла, как рассказывает в предисловии сам редактор, о совсем небольшом сборнике типологических работ.

Благодаря, в частности, международному редакторскому коллективу настоящий сборник удалось существенно расширить в отношении круга охваченных языков; этим он выгодно отличается от обычных проектов Петербургской типологической школы, которые опираются, в общем, на более или менее постоянный круг отечественных специалистов по определенным языковым ареалам и редко выходят за его пределы. Более того, пожалуй, можно рискнуть сделать утверждение, что в сборнике представлены описания грамматикализованного реципрока во всех релевантных ареалах языков мира (хотя, разумеется, не во всех вообще языках, где он встречается). Типологическая работа такого охвата и такой степени подробности вообще, насколько можно судить, появляется впервые. В типологических работах встречались ранее исследования, выполненные на

выборках из нескольких сот языков, но в этих случаях речь шла либо о простых формальных признаках (наподобие порядка слов в именной синтагме), либо о крайне поверхностном анализе явлений, часто с опорой на недостоверные источники и данные, полученные из вторых-третьих рук. Такие «мегалотипологические» работы немало и справедливо критиковались с самых разных позиций, и в настоящее время профессиональные типологи, дорожащие своей репутацией, стремятся избегать погони за «количеством любой ценой»; на смену эффективным, но малопродуктивным «мегавыборкам» постепенно приходят более тщательные исследования в рамках ареальной типологии, типологии близкородственных языков и т. п. Следует заметить, что описания, выполненные под руководством В.П. Недялкова, ничего общего с такой мегалотипологией не имеют. Это не поспешная интерпретация чужих данных, а всегда очень тщательный анализ оригинального материала, выполненный самим исследователем по предварительно разработанной анкете, с последующей многократной проверкой, перепроверкой и уточнением исходных гипотез; фактически, речь идет о подготовке оригинальных описаний одного из фрагментов грамматики языка – описаний, при всей ограниченности этого фрагмента, чрезвычайно подробных. Степень их подробности превосходит (иногда – многократно превосходит) те стандарты, которые сейчас в целом приняты для описаний «экзотических» языков – да даже и в ранее выполненных описаниях таких языков, как, например, русский или немецкий, взаимные конструкции представлены далеко не так подробно, как в проекте В.П. Недялкова. Тем самым, работа В.П. Недялкова действительно способствует появлению принципиально нового знания, т. е. выполняет ту основную функцию, которая и должна быть свойственна научной работе, но о которой, к сожалению, авторы научных работ слишком часто забывают. Можно с уверенностью сказать, что изучение реципрока «до Недялкова» и «после Недялкова» – это две совершенно разные эпохи, не сопоставимые по уровню охвата фактов и понимания закономерностей, существующих в этой области.

Кратко остановимся на структуре издания и основных его содержательных особенностях. Композиционно, пять томов состоят из восьми частей (в некоторых томах, тем самым, помещается более одной части). Первый том («Часть I: Типологические аспекты исследования реципрока») имеет вводно-теоретический характер: помимо общей характеристики проблематики и структуры работы, в нем собраны очерки, обобщающие основные результаты, получен-

ные всеми участниками исследовательского коллектива, а также работы, рассматривающие различные теоретические проблемы описания реципрока (за исключением одной статьи М. Хаспельмата, отнесенной в отдельную часть четвертого тома). В частности, дается общая характеристика средствам выражения реципрока, типам полисемии показателей реципрока, особенностям сочетаний показателей реципрока с неглагольными основами (все эти разделы написаны В.П. Недялковым), а также лексическим средствам выражения реципрока (Ю.П. Князев); приводится и типологическая анкета для изучения реципрока (В.П. Недялков и Э. Генюшене). Две статьи несколько выделяются на этом фоне. Это статья Анны А. Зализняк и А.Д. Шмелева о семантике латинского префикса *com-* (ср. русскоязычную публикацию [Зализняк, Шмелев 2001]) и статья Е.С. Масловой об особенностях выражения реципрока в языках банту. Первая из этих статей не является описанием латинского реципрока в полном смысле слова, а принадлежит к более привычному в лингвистической литературе жанру «наблюдений по поводу» семантической структуры латинского префикса, в которой присутствуют не только реципрок, но и социатив, а также ряд других значений. Аналогично, статья Е.С. Масловой представляет собой, главным образом, теоретические рассуждения по поводу полисемии показателя *-ana* (или его когнатов) в языках банту, который также имеет очень широкую семантику. Заметим, что предлагаемое в статье сближение глагольного показателя *-ana* и имеющейся во многих языках банту комитативной связи типа *na* представляется с историко-этимологической точки зрения не бесспорным (хотя и эффектным с точки зрения теории грамматикализации); по крайней мере, в традиционной бантуистике оно как будто бы не принято, и не случайно в статье отсутствует как подробное обсуждение этой проблемы, так и ссылки на известные работы по прабантусской реконструкции, в первую очередь [Guthrie 1971], где такое сближение не поддерживается. Вместе с тем, включение обеих статей в первый том придает теоретическим рассуждениям о реципроке несколько большую степень свободы и поднимает интересные проблемы.

В томах со второго по четвертый представлено 50 описаний реципрока в отдельных языках мира (в некоторых случаях – в группах близкородственных языков), выполненных, как это и принято в коллективных монографиях Петербургской типологической школы, строго по единой схеме. (Статьи, в которых содержатся более значительные отступления от этой дескриптивной процедуры, фигурируют, как уже

было сказано, в первом томе.) Индивидуальные описания сгруппированы прежде всего по типу представленной в показателях реципрока грамматической полисемии, т. е. с учетом того, какие еще значения из универсального грамматического набора может выражать показатель со значением реципрока: например, русский язык, где реципрокальное значение усматривается у глаголов типа *обниматься*, будет отнесен к языкам, в которых реципрок «совмещен» со всеми теми значениями, которые выделяются у показателя *-ся*, прежде всего, рефлексивного и декаузативного; с другой стороны, русское местоимение *друг друга* является «несовмещенным», или моносемичным, показателем реципрока, поскольку никаких других значений вне семантической зоны реципрока не выражает. В.П. Недялков выделяет три основных типа полисемии показателей реципрока: с дополнительным рефлексивным, социативным (значение «совместного» действия, представленное в контекстах типа 'петь хором') и итеративным значением. Общим компонентом реципрока и рефлексива является выделение у одного и того же участника ситуации агентивной и пациентной ролевой составляющей; общим компонентом у реципрока и социатива / итератива – множественность участников ситуации. Соответственно, описываемые в монографии языки сгруппированы прежде всего по этим трем типам. Внутри каждого типа дополнительно различается носитель реципрокального значения: выделяются языки как с глагольными, так и с местоименными показателями реципрока (русский язык относится именно к этому классу), языки только с глагольными показателями и языки только с местоименными показателями.

В соответствии с этой общей схемой, часть II, целиком составляющая второй том, включает многочисленные языки, в которых реципрок совмещен с рефлексивом. Третий том включает части с III по V; во всех этих частях рассматриваются языки, в которых показатель реципрока имеет также и социативное значение. При этом часть III включает языки, в которых реципрок совмещен только с социативом, часть IV – языки, в которых реципрок совмещен с социативом и с рефлексивом, а часть V – языки, в которых представлена полисемия реципрока, социатива и итератива. В четвертый том входит часть VI, включающая два языка с «непрототипической» полисемией (тоабайта и мундари¹), и часть VII, включаю-

¹ В оксанийском языке тоабайта (автор раздела – Ф. Лихтенберг) морфологический показатель реципрока может употребляться, в частности, для выражения значения, назван-

щая языки с несовмещенным реципроком. Завершающая данный том часть VIII состоит из единственной статьи М. Хаспельмата «Замечания о перспективах описания реципрокальных конструкций», являющейся своеобразным теоретическим итогом монографии.

Последний, пятый том имеет вспомогательный характер: он содержит указатель имен, указатель языков, предметный указатель и список сокращений. При всей ограниченности объема журнальной рецензии, обойти молчанием указателя к книге никак не представляется возможным. Если первые два указателя, в общем, ничем не отличаются от того, что встречается во всех остальных современных научных изданиях, т. е. содержат список имен и языков с отсылкой к страницам, где они упоминаются, то гигантский предметный указатель (точнее, целое семейство указателей), составленный С.А. Крыловым, является произведением, совершенно особым *sui generis*: не случайно его объем составляет почти сто страниц, в связи с чем все указатели и были вынесены в отдельный том. Предметный указатель состоит из терминологического и семантического указателей (последний, в свою очередь, подразделяется на «понятийный» и «онтологический»), а также из указателя «семантических глосс», где приводятся выражения английского языка, употребляющиеся в глоссах языковых примеров монографии. Одним словом, по вложенному труду, по тщательности исполнения и по фундаментальности замысла предметный указатель приближается к самой книге (сказать, что он приближается к ней по объему, было бы все-таки некоторым преувеличением, но, с другой стороны, не в каждой книге указатель составляет отдельный том). Единственная (хотя и существенная) проблема, связанная с этим указателем, состоит в том, что проникновение в новаторские принципы его составления потребует от неподготовленного читателя усилий по крайней мере не меньших, чем проникновение в специфику реципрока в языках мира. Например, при пользовании предметным указателем необходимо отчетливо представлять себе, что термины «аблатив» или «средства уменьшения валент-

ного Лихтенбергом «депацентивом»; в терминах Петербургской типологической школы его можно было бы, по-видимому, охарактеризовать как «объектный имперсонал». В языке мундари, принадлежащем группе мунда австронезийской семьи (автор раздела — Т. Осада), показатель реципрока при глагольных основах моносемичен, однако может присоединяться к основам других частей речи и выражать значения интенсивности или множественности.

ностей» следует искать в указателе терминов, но упоминания «аблативного значения» или «функции уменьшения валентностей» отнесены в семантический понятийный указатель, поскольку они соотносятся с элементами плана содержания — но при этом не с элементами семантических онтологий, поскольку в таком случае их место было бы в семантическом онтологическом указателе. Кроме того, в организации указателя достаточно последовательно выдерживается так называемый «гнездовой» принцип (но без перекрестных отсылок), поэтому читатель должен понимать, что, например, сочетание «предикативные глагольные формы» («*predicative forms of verb*») будет фигурировать в указателе терминов только один раз, и при этом не при заглавном слове *predicative* (которого в указателе терминов нет вообще, правда, в семантическом понятийном указателе есть «предикативная функция») и не при заглавных словах *form* и *forms* (в указателе присутствуют оба, и, например, «каузативные формы» предлагается искать именно при входе *forms*), а при заглавном слове *verb* (в разделе *verb*, ~ # *forms of **; вообще же все разделы при заглавных словах *verb* и *verbs* занимают почти десять колонок петитом). Читатель, конечно, может испытать некоторую ностальгию по бесхитростным и ненаучным указателям добрых старых времен, но это чувство нехорошее: так ведь можно дойти и до того, что потребовать замены автомобилей на конные упряжки...

Из языков, в которых представлена полисемия реципрока и рефлексива, в монографии описаны немецкий, польский, французский, болгарский, литовский с латышским, русский (автор Ю.П. Князев), ведический санскрит, кабардинский, адыгейский, западно-гренландский эскимосский, а также северные аравакские языки (только глагольные показатели) и австралийский язык дьяру (только местоименные показатели). Из языков, в которых представлена полисемия реципрока и социатива, описаны тагальский, удэгейский, карачаево-балкарский, японский, якутский, тувинский, киргизский, бурятский с монгольским, а также тариана и боливийский кечуа (только глагольные показатели). Представителем языков с комплексной полисемией реципрока, социатива и рефлексива, выбранным для описания, является австралийский язык варунгу; в качестве языков с полисемией реципрока, социатива и итератива фигурируют индонезийский, нелемва (Н. Каледония) и восточный футуна (о. Футуна, Полинезия). Наконец, языки с моносемичным показателем реципрока представлены такими, как эвенкийский (с маньчжурским), эвенский, чукотский (с корякским), нивхский, айнский, ительменский, юкагирский, кашинава (бассейн Амазон-

ки, семья папо), бамана (Мали), вьетнамский, древнекитайский и современный китайский.

Как можно видеть, типы полисемии показателей реципрока обнаруживают достаточно отчетливое арсальное распределение, что неоднократно отмечается в статьях вводного раздела монографии.

В монографии детально представлен очень объемный языковой материал. Естественно, возникает вопрос, как можно обобщить полученные данные и как можно связать их с теоретическими поисками современной лингвистики. Именно на этот вопрос и пытается ответить М. Хаспельмат в заключительной статье. Автор подробно обсуждает ряд терминологических проблем применительно к семантической зоне «симметричных ситуаций» (и стоящих за ними проблем более общего характера). Наиболее интересна попытка автора представить полученные в исследовании результаты в виде языковых универсалий, регулирующих значение и употребление показателей реципрока. Таких универсалий выделяется 26; они требуют дальнейшей проверки, хотя и являются в целом вполне правдоподобными. Примеры универсалий: «во всех языках моноклаузальные реципрокальные конструкции являются по крайней мере не менее сложными в формальном плане, чем соответствующие пересипрокальные конструкции, обозначающие простую ситуацию» (№ 1); «различные глагольные показатели реципрока никогда не противопоставляются по диатезным типам» (№ 9); «во всех языках имеются предикаты, выражающие реципрок лексически» (№ 16), и т. п. Обобщения Хаспельмата задают полезную программу будущих исследований.

Безусловно, фундаментальная монография под редакцией В.П. Недялкова окажется незаменимым источником информации для исследований по грамматической типологии в целом и для исследований по типологии актантной деривации в особенности. Она требует вдумчивого и внимательного чтения, но этот труд окупается сторицей – и в конечном счете может вознаградить терпеливого читателя гораздо больше, чем многие бойкие сочинения современных лингвистов, для которых преходящая научная мода оказывается несравненно притягательнее, чем языковые факты.

* * *

Уже после того, как настоящая рецензия была сдана в печать, пришло печальное известие. Владимир Петрович Недялков скон-

чался в Санкт-Петербурге 21 июля 2009 г., на 82 году жизни. «Взаимные конструкции», которые он так долго и с такой любовью готовил, оказались его последней работой. Владимир Петрович был человеком необычайной щедрости и бескорыстия, сохранявший всю жизнь детскую открытость миру, бескомпромиссный темперамент, душевное благородство – и, конечно, неутомимую преданность делу. Его уход – невосполнимая потеря для всех, кто его знал, и огромная утрата для нашей науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Зализняк, Шмелев 2001 – Анна А. Зализняк, А.Д. Шмелев. *Conveni, convici, convixi* // Московский лингвистический журнал. Т. 5. 2001. № 1.
- Князев 1996 – Ю.П. Князев. Возвратность как средство выражения взаимности в русском языке // *Русистика сегодня*. 1996. № 2.
- Князев 2007 – Ю.П. Князев. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе. М., 2007.
- Недялков 1991 – В.П. Недялков. Типология взаимных конструкций // А.В. Бондарко (ред.). *Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость*. СПб., 1991.
- Недялков 2004 – В.П. Недялков. Заметки по типологии выражения реципрокального и рефлексивного значений (в аспекте полисемии реципрокальных показателей) // В.С. Храковский и др. (ред.). *40 лет Санкт-Петербургской типологической школе*. М., 2004.
- Холодович 1978 – А.А. Холодович. Теоретические проблемы реципрока в современном японском языке // В.С. Храковский (ред.). *Проблемы теории грамматического залога*. Л., 1978.
- Холодович 1979 – А.А. Холодович. Проблемы грамматической теории / Отв. ред. В.С. Храковский. Л., 1979.
- Frajzyngier, Curl 2000 – Z. Frajzyngier, T.S. Curl (eds.). *Reciprocals: Forms and functions*. Amsterdam, 2000.
- Guthrie 1971 – M. Guthrie. *Comparative Bantu*. V. 1 2. Farnborough, 1971.
- Lichtenberk 1985 – F. Lichtenberk. Multiple uses of reciprocal constructions // *Australian journal of linguistics*. 5.1. 1985.

В.А. Илунган

Выход в свет нового общего труда по истории латинского языка – всегда событие. Книг такого рода обыкновенно бывает немного, так что долг каждого филолога-классика требует знать их всех поименно. Хочется сразу отметить, что число работ этой тематики, вышедших за последние 15 лет, оставляет самые оптимистические надежды. В нашей стране, традиционно не отличающейся изобилием трудов по классической филологии, за это время произошли такие значительные события, как переиздание капитального сочинения И.М. Тронского [Тронский 2001] (первое за 40 лет), так и появление нового учебного пособия Н.К. Малинауспене [Малинауспене 2001; 2006]. На Западе урожай еще более богатый. В Германии появилась грамматика Г. Майзера [Meiser 1998], представляющая собой новейшую переработку классического труда Ф. Зоммера (1914), в США – сравнительная грамматика Э. Зилера [Sihler 1995] и введение в латинскую филологию Ф. Бальди [Baldi 2002]; в Великобритании за относительно небольшой период вышли в свет два специальных труда Дж.Н. Адамса [Adams 2003; 2007], небольшая книжка Туре Янсона [Janson 2004] и рецензируемая книга Дж. Клаксона и Дж. Хоррокса.

Сочинение Джеффри Хоррокса, профессора классической филологии Кембриджского университета, и его младшего коллеги доктора Джеймса Клаксона, некоторым особым образом выделяется на общем фоне. Это книга не очень большого объема (324 с.), представляющая собой вполне последовательное изложение ряда проблем истории латинского языка. Важно отметить, что выражение «история латинского языка» здесь следует понимать в самом прямом смысле слова: это не историческая грамматика, а именно труд по истории языка (с элементами исторической грамматики), в котором центральное место уделено проблеме латинской литературной нормы, ее становлению и функционированию в латинском мире с древнейших времен и до наступления раннего Средневековья.

Книга делится на восемь глав: 1) «Латинский язык как индоевропейский», 2) «Языки Италии», 3) «Предпосылки к установлению литературной нормы»¹, 4) «Древний латинский язык и его разновидности в период ок. 400–150 гг. до Р. Х.», 5) «Кодификация языка в III–II вв. до Р. Х.», 6) «Элитарный ('Elite') латинский язык в период поздней Республики и ранней

Империи», 7) «Разговорный латинский язык в эпоху империи», 8) «Латинский язык в поздней античности и далее». Как явствует из предисловия (с. vii), центральные главы (3–6) написаны проф. Хорроксом, тогда как все прочие (1, 2, 7 и 8) принадлежат перу Дж. Клаксона.

Стремясь уложить необъятный материал в трехсотстраничную книгу, авторы пошли, как кажется, по вполне разумному пути, выбирая важнейшие и наиболее показательные, на их взгляд, сюжеты и представляя читателю материал скорее в виде сцен, нежели абстрактных процессов. Тем самым в жанровом отношении книга Хоррокса и Клаксона должна была бы по-русски (с поправкой на различия в традиции) называться «Очерками по истории латинского языка» или чем-то подобным этому. Можно отметить, что в этом отношении она идеологически и композиционно (особенно в ранних своих главах) напоминает одноименную работу И.М. Тронского [1953] и в известной степени может рассматриваться как современное дополнение к ней.

Сама книга построена таким образом, что все перечисленные выше восемь глав отличаются известной автономией: каждая из них имеет собственную библиографию, а в предисловии авторы специально указывают на то, что главы могут читаться как выборочно, так и подряд. Своей целью Клаксон и Хоррокс определяют стремление «охватить латинский язык в его целостности от доисторических времен до конца своего существования как языка живых носителей» (с. VII.). При этом авторы стараются воздерживаться от подробного и системного изложения таких отделов латинского языка, как фонология или морфология, отсылая читателя к фундаментальному труду Л. Палмера [Palmer 1954] и специальной литературе (правда не всегда многочисленной), тогда как в центре их внимания постоянно находятся вполне конкретные факты и явления, трактуемые ими как значимые инновации и характерные для того или иного периода процессы.

Вполне очевидно, что такой метод изложения имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К последним будет относиться постоянно высокая вероятность потерять что-нибудь важное или допустить обобщение такого рода, что оно или окажется неправомерным, или (ввиду ограниченности изложенного материала) будет выглядеть неубедительно. С другой стороны, авторы получают редкую возможность детально рассмотреть в рамках общего курса тот материал, который им представляется наиболее значимым.

¹ Вольный перевод лаконичного английского выражения *A Background to Standardization*.

Следует сразу сказать, что рецензируемая книга в изобилии содержит и то и другое, представляя собой чрезвычайно неоднородное явление: «удачно» получившиеся главы соседствуют в ней с «не самыми удачными», а тонкие суждения и порой блистательные объяснения – с малоубедительными построениями, а порой даже и серьезными огрехами.

К бесспорным достоинствам книги, в первую очередь, следует отнести в целом достаточно гармоничное сочетание таких ее качеств, как краткости, предметности и широты охвата материала. Достигается это тем, что авторы стараются показать сущность того или иного языкового процесса на анализе конкретных памятников, многие из которых отнюдь не часто попадают на страницы таких общих пособий. Причем речь идет не о простой иллюстрации того или иного явления ссылками на фрагменты надписей или на показательные места из текстов, но о подробном разборе (в основном) целого памятника с целью выявить в нем те или иные явления. Авторы обширно используют разнообразный эпиграфический материал, большая часть разбираемых текстов имеет пословный комментарий, многие памятники, принадлежащие близкородственным латинскому языкам или относящиеся к сильно далеким от классического состояния эпохам, сопровождаются еще и условным переводом на латинский язык классической нормы. Многие тексты являются совершенно новыми. Здесь хочется особенно отметить один в высшей степени удачно подобранный пример (с. 238): это восковая табличка с долговой распиской некоего полуграмотного жителя Путеол Гая Новия, представляющая собой уникальный памятник тем, что, во-первых, он совершенно точно датирован (15 сентября 39 г. по Р. Х.), а во-вторых, тем, что текст его писан дважды – один раз рукой самого Новия, а другой – рукой профессионального писца. Тем самым этот текст, совсем недавно изданный, дает нам уникальную возможность проанализировать особенности разговорной нормы конкретного места и времени в сопоставлении с литературной нормой этой же эпохи. И хотя трактовка отдельных мест этого текста у Клаксона и Хоррокса не во всем представляется мне убедительной, сам факт использования такого материала не может не вызывать глубокого одобрения.

И это далеко не единственный пример такого рода. Точно так же богато проиллюстрированы эпиграфическими памятниками глава о языках Италии, главы о древнейшем периоде истории латинского языка. К большому сожалению, ни один из этих текстов не приведен ни фотографически, ни даже через прорисовку (как это

сделано, например, в [Baldi 2002]); между тем фотографии важнейших текстов прояснили бы многие слова авторов, разрешили некоторые сомнения у читателей и сильно украсили бы книгу. Вызывает недоумение и практически полное отсутствие содержательных географических карт, в изобилии приведенных, например, в [Adams 2007]. Это, надо сказать, порой очень затрудняет адекватное понимание многих авторских мыслей.

Другая очень похвальная черта «Истории» Клаксона и Хоррокса (особенно наблюдаемая в тех главах, которые писал именно проф. Хоррокс) – это интерес к таким аспектам языка и его истории, которые не всегда (или даже почти никогда) не выносятся для всеобщего обсуждения в пособиях такого типа. Очень приятно отметить, что проблемы синтаксиса интересуют авторов ничуть не меньше, чем морфологии², авторы проявляют редкостный интерес к проблемам ударения, просодики и метрики (хотя, как мы увидим ниже, многие суждения авторов по этим вопросам и оказываются спорным), тщательно выискивают метрические клаузулы – ритмически построенные завершения периодов – в текстах латинской прозы, пытаются в подробностях анализировать устройство сатурнова стиха и т. д.

Наконец, заслуживает большого одобрения и само стремление авторов изложить историю латинского языка и его нормы объективно и беспристрастно, без чрезмерного крена как в излишний формализм и сухую фактографию, так и в околонуточные идеологически окрашенные дискуссии, что, к сожалению, часто бывает свойственно исследованиям такого рода³. Это авторам удастся достаточно хорошо сделать, и картина латинского языка, рисуемая ими, оказывается вполне адекватной тому материалу, на какой они опираются; латинский язык развитой эпохи при всем его великом разнообразии мыслится Клаксоном и Хорроксом вполне единым организмом, им не свойствен экстремизм в подчеркивании принципиальных различий между «элитарной» и «разговорной» нормой (хотя термины эти остаются), педалирование идей ранней римской диглоссии, искусственности литературной нормы и подобных им вещей, которые, увы, слишком часто всплывали (и всплывают) в различных работах именно англоязычной традиции. С другой стороны, само понятие диглоссии и его примени-

² Тогда как во многих книгах по истории латинского языка синтаксиса порой не бывает в принципе.

³ Не избежали этого ни в 1953 г. И.М. Тронский (в своих «Очерках»), ни в 2004 г. Туре Янсон.

мость к латинской языковой ситуации рассмотрены в работе несколько менее подробно, чем хотелось бы. Тщательный разбор различных норм латинского языка, как кажется, требует более строгого их сопоставления между собой с обязательным ответом на вопрос, начиная с какого конкретного времени мы можем говорить о диглоссии в Риме. Вместо этого авторы скорее уклончиво уходят от ответа, подменяя его (в целом правильными) диалектическими рассуждениями о том, что латинский язык с древнейших времен всегда был разным (напр., см. с. 111 и сл.), но при этом он даже в «протороманскую» эпоху все равно оставался единым целым (с. 272).

Как уже было отмечено выше, в книге высказывается ряд идей и соображений, не выглядящих достоверными. Поскольку сам формат общей рецензии налагает существенные ограничения на охват материала, мы попробуем здесь воспользоваться методом изложения самих Дж. Клаксона и Дж. Хоррокса и проиллюстрировать сказанное лишь одним, но весьма показательным примером: мыслями авторов книги о просодии и ударении в латинском языке. Следует еще раз специально подчеркнуть, что тема эта занимает их весьма сильно, и на протяжении книги авторы не раз возвращаются к ней.

Клаксон и Хоррокс придерживаются динамической теории латинского ударения и, надо сказать, делают это совершенно справедливо. Более того, они даже (до некоторой степени) признают реальность морового противопоставления в латинском языке. Однако многие другие их суждения, касающиеся латинских мор и ударений, вызывают существенно меньше доверия. На с. 174 утверждается, что латинский язык имел «strong stress accent» (сильное динамическое ударение), отчего греческая стихотворная система должна была подвергнуться серьезной адаптации к новым условиям. Из текста на с. 93 следует, что ударение в эпоху Плавта могло стоять на четвертом слоге от конца. При этом на с. 135 авторы утверждают, что наиболее достоверным свидетельством о позиции ударения в латинском слове являются именно данные метрики Плавта и Теренция. Наконец, особого внимания заслуживают мысли Клаксона и Хоррокса о проблеме места латинского ударения и теории загадочного сатурнова стиха.

Здесь авторы следуют идеям американца Дж. Парсонса [Parsons 1999], восходящим к не упомянутой в книге метрической теории Р. Армина Местера [Mester 1994] о так называемых «морных трохеях». Теория эта, изначально призванная объяснить природу ямбического сокращения, предполагает, что латинское слово делится на последовательный

ряд трохеических (трехморных) стоп, создающих его естественный ритм. Однако поскольку латинское слово средней длины не всегда состоит из правильных трохесов (а точнее сказать, практически никогда), то под трохеической стопой Местер понимает как трехморную, так и двуморную последовательность, причем явно превалирует вторая: латинское слово должно члениться на последовательные группы [˘], [˘˘] или [˘˘˘], а недопустимостью ямбической стопы объясняется «ямбическое сокращение». Становится очевидным, что теория «морных трохесов» своими корнями уходит в давно известные (и отвергнутые) теории (Бурсье и др.) о склонности латинского слова к четному числу мор. Парсонс (и наши авторы) идут дальше: теория Местера, с некоторыми в меру радикальными изменениями, применяется для объяснения сразу двух явлений: переноса древнелатинского ударения с первого слога на привычную позицию 2/3 слога и, что в высшей степени интересно, параллельно предлагается новая теория ритма древнего сатурнова стиха.

Делается это так (с. 134): 1) последнему слогу латинского слова приписывается некий особый «экстрапросодический» статус, что делает его «невидимым» для определяющих ударение правил⁴; 2) далее все слово слева направо делится на двуморные и одноморные (!) «стопы»: [tem]-[pes]-[ta:]-[ti]-(bus). Далее утверждается, что 1) латинское ударение переносилось с исконной начальной позиции на последнюю двуморную «стопу», лежавшую перед последним слогом (если эта «стопа» не прилежала непосредственно к ударному слогу); 2) слова типа [faci]-[li]-(us) исконно сохраняли ударение на первом слоге, пока не перестроились в fa-[cili]-(us); 3) ритм сатурнова стиха основывался как раз на чередовании ударений, причем таким образом, что представлял собой «искусственную стилизацию» естественного ритма речи, образуемого сменой стоп, потенциально способных быть ударными. Из сказанного понятно, что сатурнов стих, по мнению всех трех авторов, должен был сохранять следы древнего начального ударения. Далее по тексту книги приводится разбор элогии Сципиона, выполненный по описанным правилам (с. 137).

Необходимо сразу сказать, что при всей заманчивости объяснения такого рода, его нельзя признать правильным; сама же теория, отличаясь небывалой эклектичностью, оказывается чрезвычайно легко уязвимой. Этому имеется несколько причин.

⁴ Надо сказать, что мысль об особом статусе последнего слога в латинском языке в целом правильна: см. об этом [Кузнецов 2006: 97–108; Белов 2009: 111 и сл.].

Во-первых, тезис о склонности латинского языка к четному числу мор, лежащий в основе подобных построений, как уже говорилось выше, попросту неверен (об этом см., например [Откупщиков 2001]).

Во-вторых, удивляет крайне нескритичное отношение авторов к самой теории Парсонса. На с. 132 говорится о ее «значительной предсказательной силе»; но если такие слова и могут быть справедливы для теории, объясняющей метрические законы текста с относительно прозрачной ритмической структурой, то это крайне сложно помыслить для такого текста, как сатурнов стих. Надо напомнить, что для многих из памятников, традиционно относимых к сатурновым, мы не можем быть уверены даже в том, представляют ли они собой в действительности стих, и как показали новейшие исследования А.Е. Кузнецова [2009], многие тексты, традиционно включаемые в «сатурнов» корпус, на самом деле не являются стихами.

Еще труднее говорить о конкретных деталях «сатурновой» просодики. Это, конечно, не означает, что их невозможно установить – но это требует от теоретика чрезвычайной осторожности. И действительно: хронология распространения сатурнова стиха не сильно расходится с хронологией стиха ранней комедии, просодика которого достаточно хорошо изучена, а это делает весьма маловероятным распространение на сатурнов метр каких-то принципиально иных просодических правил. Так, идея выделения одноморной стопы вызывает крайнее недоверие: она, во-первых, противоречит самому понятию стопы – об этом см. [Белов 2006; 2009: 97 и сл.], а кроме того, не подтверждается и эмпирическим материалом. Если бы в латинском языке III–II вв. могли встречаться одноморные стопы, то слова типа *senex* (членимые, по Парсонсу, видимо, как [se]-(nec)) могли бы иметь регулярное разбиение между стопами, например, в ямбе. Между тем, Е. Курилович еще в 1949 г. заметил, что членение этих слов на слоги в драматическом стихе чрезвычайно ограничено [Курилович 2000]. Наши недавние и еще не опубликованные исследования показывают, что разбиение этого слова между разными стопами наблюдается в менее чем 10 случаях на весь корпус Плавта: слова такого типа или подвергаются «ямбическому сокращению», или, наоборот, предпочитают становиться в такие позиции стиха, где разбиения их на стопы не требуется. Все это делает, например, членение слова [fu]-(it), легшего в схему на с. 137 точно посередине двух сатурновых «стоп», совершенно недопустимым.

Наконец, описываемая теория не выдерживает критики и в самой простейшей аргумен-

тации: если в языке действительно действуют метрические правила, строго определяющие место ударения в зависимости от структуры слога, то это означает, что ударение является вторичным феноменом по сравнению с моровым ритмом и, тем самым, не само по себе может быть определяющим фактором ритмической организации стиха. Латинское ударение «освободилось» от этой метрической зависимости лишь в начале I в. до Р. Х. Соответственно, никакие акцентные модели сатурнова ритма, – если не принимать, что «акцент» этот опирался на законы принципиально иной природы, а не на моровой вес слога, – не могут быть приняты (ср. также [Белов 2009: 110]); в противном же случае, количественная теория Т. Коула – А.Е. Кузнецова [2006; 2009] все равно остается предпочтительной. Это одновременно подводит нас и к тому выводу, что латинское ударение этого периода никак не может быть «strong stress», а поскольку правила определения фонологического веса слогов в греческом и латинском языке были одинаковы, то не требовалось и никакой (в этом смысле) специальной адаптации греческого метрического стиха к латинским реалиям. Что касается совпадения «иктов» и ударений в стихе, то это может объясняться простой случайностью: правила постановки «икта» в (гексаметрической) стопе и ударения в слове похожи, поэтому интерес представляют как раз те случаи, где этого совпадения не наблюдается [Белов 2009: 132].

На самом деле причины заблуждения авторов в этом вопросе понятны, так как их представление о латинской просодике (даже несмотря на введение в нее моры) все равно находится в плену до сих пор не пережитой в англоязычной традиции акцентно-иктовой теории стихосложения. Отсюда происходит и ложное убеждение в истинности метрического критерия для определения позиции ударения в слове, и ничем не подтвержденная мысль о начальном ударении в *fācilius*. Большую роль в этом сыграл и знаменитый предшественник Клаксона и Хоррокса в изучении латинской просодики кембриджский филолог-классик У.С. Аллен.

Следует отметить и некоторые другие неточности, обнаруженные мной в «Истории латинского языка», способные несколько испортить впечатление от книги.

На с. 10, 12 и 66 полное недоумение вызывает реконструкция $*d^h h_1(k)tó-$ > лат. *factus*, греч. *θετός*. Мы понимаем это так, что Дж. Клаксон, писавший обсуждаемый раздел, предлагает восстанавливать для этого слова индоевропейскую основу с -к-. Но появление в ней формообразующего морфа при таких

устойчивых корреляциях как *ἔθνηκα* : *θετός*, *ἔδωκα* : *δοτός* кажется очень странным, при том, что, например, для глагола *давать* на той же с. 10 ничего подобного не предлагается. В действительности основа с -к- восстанавливается только для праиталийского (и только в виде -*θак-*) [Sihler 1995: § 119]. Надо сказать, что сомнение вызывает и одно лишь сочетание -*эк-* (в транскрипции авторов -*h,k-*), невозможное в таких аористных основах с -к-. (См. также [Белов 2009: 159], где появление *ἄ* в этом корне связывается с действием ударения.) Вообще индоевропейский раздел в книге Клаксона и Хоррокса, пожалуй, получился наименее удачным из всех и композиционно не вполне оправдан. Поэтому читатель, заинтересованный в вопросах об индоевропейских истоках латинского языка, все равно будет вынужден обращаться к упомянутым трудам Э. Зилера, Ф. Бальди и им подобным.

На с. 272 высказывается весьма неожиданная мысль о том, что сочетание смысловозначительной долготы гласного и силового ударения не является «*typologically common*» и склонно к замещению. Это тем более странно слышать от человека, родной язык которого, равно как и многие другие – чешский, немецкий, венгерский, арабский и т. д. – представляет собой именно такой тип. Конечно, объяснение потери оппозиции по долготе у протороманских гласных вполне может быть связано с ударением, но тут в любом случае следует различать несколько этапов, которое латинское ударение прошло: 1) потеря зависимости ударения от моры (I в. до Р. Х.); 2) полная потеря моровой оппозиции (= просодической решетки) латинского слова, приведшая к безморному различению гласных по долготе (III в.), 3) потеря фонологической долготы гласных в конечных слогах и вслед за этим во всех прочих. Как можно понять, процесс этот существенно более сложен и едва ли просто сводим к мнимой типологической несостоятельности сочетания силового ударения и оппозиции по долготе.

Таким образом, взгляды Дж. Клаксона и Дж. Хоррокса по ряду принципиальных вопросов истории латинского языка не всегда выглядят убедительными. Но это может быть свойственно всякой обобщающей книге такого рода и никоим образом не может препятствовать рекомендации ее к прочтению. Как кажется, рецензируемая «История латинского языка» представляет собой весьма полезное сочинение, особенно в тех своих разделах, которые выше были названы «удачными». Особенно уместной она представляется на практических занятиях, связанных с разбором латинских текстов различных эпох, анализом эпиграфического материала и данных древних языков

Италии. Что касается ее общетерминологической ценности, то это уже зависит от конкретного объекта теории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Белов 2006 – А.М. Белов. Ритмические стопы латинского языка: постановка проблемы // Сборник научных трудов ΣΤΕΦΑΝΟΣ. М., 2006.
- Белов 2009 – А.М. Белов. Латинское ударение (проблемы реконструкции). М., 2009.
- Кузнецов 2006 – А.Е. Кузнецов. Латинская метрика. Тула, 2006.
- Кузнецов 2009 – А.Е. Кузнецов. Сатурнов стих как метрическая форма ранней латинской поэзии: Дис. ... докт. филол. наук. М., 2009.
- Курилович 2000 – Е. Курилович. Принципы латинской и германской метрики // Очерки по лингвистике. М., 2000.
- Малинаускене 2001 – Н.К. Малинаускене. Введение в историю латинского языка. Ч. 1. М., 2001.
- Малинаускене 2006 – Н.К. Малинаускене. Введение в историю латинского языка. Ч. 2. М., 2006.
- Откупщиков 2001 – Ю.В. Откупщиков. О склонности латинского языка к четному числу мор // Opera philologica minora. СПб., 2001.
- Тронский 1953 – И.М. Тронский. Очерки из истории латинского языка. М.: Л., 1953.
- Тронский 2001 – И.М. Тронский. Историческая грамматика латинского языка. М., 2001.
- Adams 2003 – J.N. Adams. Bilingualism and the Latin language. Cambridge, 2003.
- Adams 2007 – J.N. Adams. The regional diversification of Latin 200 BC – ad 600. Cambridge, 2007.
- Baldi 2002 – Ph. Baldi. A foundation of Latin. Berlin; New York, 2002.
- Janson 2004 – T. Janson. A natural history of the Latin language. Oxford, 2004.
- Meiser 1998 – G. Meiser. Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. Darmstadt, 1998.
- Mester 1994 – R.A. Mester. The quantitative trochee in Latin // Natural language and linguistic theory. V. 12. 1994.
- Palmer 1954 – L.R. Palmer. The Latin language. London, 1954.
- Parsons 1999 – J. Parsons. A new approach to the Saturnian verse and its relation to Latin prosody // Transactions of the American philological association. 129. 1999.
- Sihler 1995 – A. Sihler. New comparative grammar of Greek and Latin. New York; Oxford, 1995.

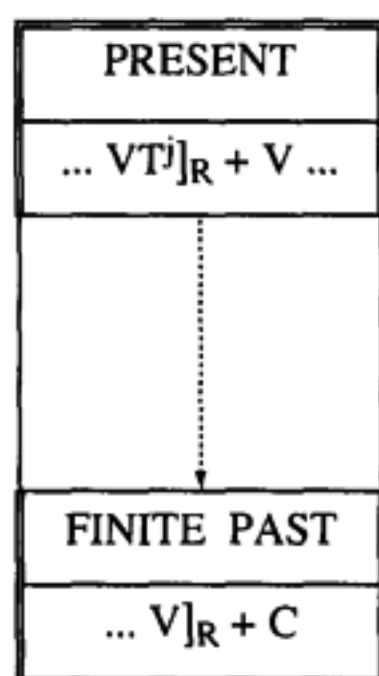
А.М. Белов

«Вторая и последняя» (как сообщает на первой же странице сам автор, имея в виду монографию [Nesset 1998]) книга известного норвежского слависта Т. Нессета о русском спряжении посвящена описанию некоторых фрагментов русской морфонологии в рамках подхода, принятого в когнитивной грамматике. В фокусе внимания автора – два чередования: усечение и смягчение.

В первой главе (To cut a long story short) автор говорит о своей приверженности когнитивному подходу, декларирует цель своей работы – испытать на конкретном примере применимость когнитивной парадигмы к анализу соотношения между морфологией и фонологией, – а также кратко очерчивает структуру книги.

Во второй главе (Cognitive grammar and the cognitive linguistics family) автор излагает разные подходы, существующие в рамках когнитивизма, и обосновывает свою принадлежность к лангакеровскому подходу. В этой же главе вводится одно из ключевых понятий книги – «схема второго порядка» (англ. second-order schema). Если на «схемах первого порядка» некоторому грамматическому значению сопоставляется то или иное фонетическое выражение, то «схема второго порядка» вовлекает в рассмотрение более широкий фрагмент грамматики: она ставит в соответствие друг другу две схемы первого порядка. Содержательно это означает, что носитель языка может ориентироваться не только на непосредственные характеристики той или иной конкретной формы, но и на ее соотношение с другими формами той же парадигмы.

Пример схемы второго порядка (со с. 151; здесь и далее ссылки на страницы рецензируемой монографии приводятся непосредственно в тексте):



Приведенная схема читается так: если в настоящем времени корень оканчивался на гласный + мягкий зубной согласный, в личных формах прошедшего времени перед показателем, начинающимся с согласного, последний согласный корня выпадает.

Говоря о русской фонетике, автор справедливо отмечает, что если какое-либо произношение эксплицитно запрещается в нормативных словарях, это является весомым свидетельством его широкой распространенности.

В третьей главе (A cognitive approach to phonology) автор показывает применимость когнитивного подхода к некоторым ключевым понятиям фонологии – таким, как фонемы и аллофоны, системы фонем и фонологические признаки, а также, например, их нейтрализации. В этой же главе вводится используемая в книге транскрипция. Надо сказать, что выбор способа передачи русских слов оказался весьма неудачным. В разных местах книги русские слова подаются либо в латинской транслитерации, либо в латинской же транскрипции, что создает некоторую путаницу.

В четвертой главе (A cognitive approach to morphology) обосновывается возможность применения когнитивного подхода к морфологии. Т. Нессет показывает, что такие морфологические понятия, как основа, окончание, корень, суффикс, словоизменительные классы, а также соотношения между отдельными частями парадигмы могут быть представлены в виде схем – либо первого, либо второго порядка. В этой же главе дается список типов русских глагольных парадигм, кроме того, автор знакомит читателей с материалом двух основных чередований, на описании которых он намерен сосредоточиться, – усечения и смягчения.

Пятая глава (Alternations in Cognitive Grammar: The truncation alternation and the one-stem/two-stem controversy) посвящена подробному рассмотрению чередования усечения. В ней автор разрабатывает когнитивную теорию чередований с учетом соотношения ступеней чередования и окружения, которым оно обуславливается. В славистике дискутируется вопрос о том, следует ли представлять русскую глагольную систему как одноосновную или двухосновную. По мнению Т. Нессета, когнитивная грамматика позволяет обеспечить синтез между этими двумя подходами, поскольку в ней разрешается учитывать как форму, так и значение. Так, для описания чередования усечения (типа *delaj-u > dela~~ʃ~~-l*) требуется учет как формальной, так и семантической стороны соответствующих словоформ.

Один из основных для автора вопросов – соотношение фонологии и морфологии. В шестой главе книги (Neutralization and phonology-morphology interaction: Exceptional infinitive) Т. Нессет обращается к этому вопросу на основе анализа чередований, происходящих в русских атематических глаголах (типа *грести, нести, вести, печь, беречь*). Поскольку когнитивная грамматика позволяет не ограничивать рассмотрение того или иного явления рамками только фонологии или только морфологии, она дает возможность проследить взаимодействие между этими двумя языковыми уровнями и представить его результаты при помощи схем. Русский инфинитив автор описывает как структуру типа «матрешки», где общая модель, применяемая по умолчанию, перекрывается моделью, применяемой по умолчанию к некоторому подмножеству глаголов, а эта последняя, в свою очередь, моделью, применяемой к некоторому еще более ограниченному классу глагольных лексем. Согласно гипотезе, принимаемой в книге, мозг сканирует входящее сообщение на маркеры исключений – если такой маркер обнаружен, цепочка обрабатывается по модели соответствующего исключения, если нет – по модели, применяемой «по умолчанию».

Материалом седьмой главы (Abstractness and alternatives to rule ordering and underlying representations: Exceptional past tense) служат непродуктивные способы образования прошедшего времени типа *мёрзнет – мёрз, несёт – нёс, крадёт – крал*. Анализ усечений, происходящих в этих формах, призван продемонстрировать превосходство когнитивного подхода над классическим способом описания с использованием глубинного уровня и правил порождения поверхностных словоформ. Автор стремится показать, что описание подобных чередований в терминах схем обладает необходимой рестриктивностью (т.е. запрещает появление невозможных форм) и объяснительной силой.

Восьмая глава (Opacity and product-oriented generalizations: Exceptional imperative) завершает рассмотрение усечений, представленных в русских глаголах, анализом форм императива с показателем *-и* (типа *махни, говори*) и нулевым показателем (типа *брось, играй*). Перекрывающие друг друга схемы позволяют автору справиться с морфологической непрозрачностью глагольных форм, не вводя глубинного уровня.

В девятой главе (Palatalization and lenition: The softening alternation) автор обращается к такому широко представленному в русском языке явлению, как смягчение. Он различает обычное (plain softening) и переходное смягчение (transitive softening), предлагает разграничивать собственно «палатализацию» (типа

с – с') и «леницию» (типа *с – ш*). Чередование смягчения автор представляет через взаимодействие схем первого и второго порядка.

Тема палатализации продолжается в десятой главе (Opacity and non-modularity: Conditioning the softening alternation). Рассматривая условия смягчения, происходящего в русских глагольных парадигмах, автор стремится прежде всего показать преимущество принятого в когнитивной лингвистике немодулярного подхода к описанию грамматики. Вместо упорядоченной системы чисто фонологических правил, ведущих от глубинного уровня к поверхностному, автор предлагает схемы, задействующие морфологию, поскольку в языке фонология и морфология не существуют раздельно. Т. Нессет заменяет условия чередования типа «вследствие наличия ненаблюдаемого на поверхностном уровне глубинного сегмента X» на условия, отсылающие к морфологическому контексту.

Соотношение между формами парадигмы позволяет предсказать не только другие формы той же парадигмы, но и распространенные ошибки (типа *стригёт* вместо *стрижёт*). Таким образом, когнитивная грамматика оказывается пригодной для объяснения не только синхронных чередований и индивидуальных ошибок, но и исторических изменений в языке.

Впрочем, пути возможных изменений схемы Т. Нессета указывают не всегда корректно: так, схема 10.2 (с. 197) в качестве ближайшего конкурента для форм типа *вижу* (с переходным смягчением) предполагает формы типа **виду* (вообще без чередования), хотя реально таких ошибок не бывает, зато встречаются формы, где переходное смягчение заменяется простым (типа *видю*). Схема 10.3 (с. 199) исходит из того, что из всех возможных неправильных форм, конкурирующих с формами типа *мажу*, наиболее хорошо согласуются с когнитивными установками формы типа **мазу*, тогда как на самом деле – формы типа *мазаю* (потому мы сейчас говорим *квакает* вместо более раннего *квачет*, *хромает* вместо *хромлет* и т. п.). Это тем более странно, что Т. Нессету принадлежит в высшей степени содержательная статья, посвященная переходу (и не переходу) различных групп глаголов на *-ать* из класса *писать* в класс *делать* [Нессет 2008].

В одиннадцатой главе (The meaning of alternations: the truncation-softening conspiracy) автор стремится доказать, что чередования усечения и смягчения несут семантическую нагрузку, противопоставляя формы со значением прошедшего и не прошедшего времени.

Заключительная, двенадцатая, глава (Conclusion: Looking back... and ahead) подводит итог всей работы.

Основная цель, которую ставит перед собой автор, – описать, как разбирается в сложных морфонологических чередованиях русского языка его рядовой носитель. Когнитивная грамматика исходит из того, что человеку, осваивающему родной язык, неизвестно, как выглядели соответствующие слова тысячу лет назад, ему не даны никакие «глубинные» формы, следовательно, должен существовать способ вывести все правила порождения существующих в языке форм, основываясь только на реально наблюдаемых произнесениях. Например, как носитель русского языка догадывается вставить *j* между основой на *-а* (типа *дела-*) и окончаниями настоящего времени (ср. *-у* в *нес-у* и т. п.)? По гипотезе Т. Нессета, он выводит на основе наблюдений правило, запрещающее стечения гласных на стыках морфем (с. 94). Точно так же, основываясь на выведенных из наблюдений правилах, говорящий по-русски определяет, что инфинитив глагола *печь* должен выглядеть не как **петь* (ср. *жить*), не как **пести* (ср. *вести*), а именно как *печь* (с. 124).

Но нередко из схем, приведенных в книге, совершенно неясно, на каком основании носитель языка осуществляет выбор между конкурирующими формами. Так, на с. 103–108 автор рассматривает чередование *-уй-* ~ *-ова-* (в транскрипции [ава]). Т. Нессет показывает, на каком основании можно отбросить формы **организовау* и **организуу* (схема 5.14 на с. 106), а также за счет чего правильная форма *организую* выигрывает у формы **организоваю*. Но для человека, усваивающего русский язык, не меньший интерес представляет вопрос о том, как, слыша форму на *-[авать]*, определить, относится ли она к типу *давать* или к типу *целовать*: в первом случае надо выбрать презенс с усечением *-ва-* (*даю*), во втором – с заменой *-[ава]-* на *-у-* (*целую*). И наоборот, слыша форму презенса на *-ую*, *-уешь* и т. д., человек должен разобраться, имеет ли он дело с глаголом, где *-у-* не чередуется (*дую*, *обую*), или с глаголом на *-овать*. Кстати, ошибки русскоязычных детей показывают, что выбор этот не так-то прост: формы типа *поцелул*, *нарисуть* встречаются в детской речи едва ли не чаще, чем формы типа *целоваю*, *нарисоваю*. Кроме того, за рамками предложенного анализа остался подкласс глаголов, где тематической морфеме *-ова-* предшествует мягкий согласный (типа *почевать*, *врачевать*, *штемпелевать*). В этом классе слов происходит такое же чередование с *-у-* (*почую* и т. д.), и его необходимо научиться не путать с классом глаголов, где *-е-* относится к корню и чередования нет (ср. *нагревать* – *нагреваю*, *застревать* – *застреваю*), но, в отличие от глаголов типа *давать*, нет и выпадения *-ва-*. Следует отметить, что избранный

автором подход к транскрипции русских слов только запутывает дело: носители русского языка прекрасно «знают», что в глаголах типа *организовать* перед *-ва-* стоит именно *о*, а не *а*: существуют причастия типа *организованный*, где это *о* попадает под ударение.

Во многих случаях автор просто отказывается от рассмотрения конкурирующих между собой моделей. Так, из его работы нельзя узнать, как происходит выбор между типами *делать* – *делает* и *писать* – *пишет*, *пить* – *пьёт* и *гнить* – *гниёт*, *жать* – *жнёт* и *играть* – *играет* (схема на с. 81 этого не указывает, а на с. 80 написано, что цель этой схемы – лишь обрисовать набор возможностей; в дальнейшем автор к этой проблеме не возвращается). Какие причины побуждают автора рассматривать или не рассматривать тот или иной фрагмент системы, сказать сложно: так, на с. 86–87 он отказывается анализировать класс *писать* – *пишу*, который, будучи непродуктивным, тем не менее насчитывает около сотни глаголов, а на с. 121–125 подробно описывает куда менее многочисленную группу глаголов типа *печь*, *стричь*.

Не вполне понятно, почему основу глаголов автор отсчитывает от инфинитива – вероятнее всего, причиной тому европейская лексикографическая традиция. Но именно с когнитивной точки зрения это представляется сомнительным: как ошибки детей (типа *возьмечь*, *зажечь*), так и заимствования из русского в другие языки (типа вепсск. *vojujda* «воевать») свидетельствуют о том, что в качестве «базовой» формы для носителей языка вполне может выступать и императив.

Поскольку русское глагольное словоизменение изучено и описано в высшей степени подробно, любому исследователю, обращаясь к этой теме, трудно претендовать на установление значимых новых фактов. Таким образом, Т. Нессет берет на себя очень ответственную задачу – показать, что предлагаемая им теория (когнитивная грамматика) объясняет соответствующие факты лучше (адекватнее и компактнее), чем все многочисленные теории, применявшиеся к тому же материалу ранее. Чтобы оценить, в какой степени автору книги удалось справиться с этой задачей, рассмотрим объяснения, предлагаемые им для трех морфонологических проблем: переходного смягчения (далее – ПС) согласных у глаголов II спряжения, выпадения *т* и *д* в формах прошедшего времени и распределения форм типа *кравищий* (с сохранением *в* и выпадением зубного) и форм типа *ведищий* (с выпадением *в* и сохранением зубного) от атематических глаголов с исходом на те же *т* и *д*. Анализ каждой из этих трех проблем служит для Т. Нессета

подтверждением какого-либо из важнейших положений предлагаемой им концепции: соответственно, о семиотической значимости морфонологических чередований, об избыточности глубинного представления словоформ и о применимости когнитивной грамматики к объяснению исторических изменений, происходящих на наших глазах.

Как известно, у русских глаголов II спряжения ПС представлено в двух формах – 1 л. ед. числа (*ношу*) и прич. страд. прош. (*ношенный*). Опираясь на примеры типа *Звери не кормлены*, Т. Нессет приходит к заключению, что семантическим компонентом, объединяющим эти две формы, служит представление о не прошедшем времени – «non-past» (с. 204). Это решение представляется неудовлетворительным со всех точек зрения. Прежде всего, значение «non-past» в огромном количестве случаев можно приписать и обычным формам прошедшего времени (ср. «А мне куклу **купили!**» = «А у меня **есть** кукла!»), что, как показывает комментарий на с. 103, прекрасно известно и самому Т. Нессету. Более того: именно в русском языке широко представлены примеры употребления *praeteritum pro futurum*, ср.: «До свидания, я **побежал**», «Еще десять минут, и мы **выиграли**» и т. п. Впрочем, наиболее существенно даже не это, а то, что, с учетом очевидной двойственности временной семантики прич. страд. прош., если бы ПС в этой форме отсутствовало, Т. Нессет мог бы с таким же успехом объяснить это обстоятельство ее принадлежностью к плану прошедшего. Иначе говоря, перед нами – не что иное, как классический порочный круг. Кроме того, все носители русского языка со школьных лет знают, что форма на *-енный* называется «страдательное причастие ПРОШЕДШЕГО времени», и это знание оказывает несравненно большее влияние на их восприятие этой формы, нежели тонкие нюансы ее значения. Непонятно также, как можно говорить о соотнесенности ПС с планом настояще-будущего времени, если оно представлено в одной-единственной презентной форме, тогда как значительное большинство других презентных форм устроено совершенно так же (непереходно смягченный согласный + гласный *и*), как формы подпарадигмы прошедшего времени, ср. *носит* – *носил*, *носим* – *носили*, *носимый* – *носивший* и т. д. (как уже было сказано выше, от рассмотрения глаголов типа *писать*, где ПС действительно имеет место во всей подпарадигме настояще-будущего времени – правда, при этом «почему-то» отсутствует в прич. страд. прош., – Т. Нессет отказывается в силу непродуктивности соответствующего класса!). Наконец, ПС наблюдается в двух примыкающих к парадигме спряжения

формах – отглагольном существительном на *-ение* (ср. *ношение*) и вторичном имперфективе (ср. *вынашивать*), индифферентных к противопоставлению настоящего и прошедшего времени. У нас нет никаких сомнений, что нынешний уровень развития семантики позволяет найти какой-либо инвариант для всех четырех форм, требующих ПС. Однако с учетом того, что йотация некогда произошла именно в этих формах по причинам, никак не связанным с их значением, и сохраняется в них и только в них уже на протяжении более чем тысячи лет, такой подход к данному чередованию не кажется нам перспективным. Конечно, автор рецензируемой книги мог бы пойти и иным путем, например, обратить внимание на то, что ПС в глаголах II спряжения абсолютно невозможно перед последующим *-и-*, ср. [Чурганова 1973: 213; Иткин 2007: 129], но, вероятно, он счел такой подход несовместимым с принципами когнитивной грамматики.

Выпадение согласных *т* и *д* в формах типа *вёл*, *прочёл* Т. Нессет связывает с тем, что результирующая модель совпадает с наиболее стандартной для прошедшего времени моделью «основа на гласный + консонантное окончание», ср. *играл*, *просил*, *пел* и т. д. (с. 142–143, раздел 7.5). Кажется вполне очевидным, что это «объяснение» не является таковым в принципе. В самом деле: оно осталось бы совершенно неизменным и в случае, если бы перед *-л* выпадали бы вообще все согласные, и в случае, если бы выпадению подвергались... все согласные, кроме *т* и *д*, т. е. наблюдалась бы картина, в точности обратная нынешней. В последующем комментарии к разделу 7.5 Т. Нессет пишет, что глубинные представления словоформ, позволяющие описать рассматриваемое чередование морфонологическим правилом типа «конечные *т* и *д* основы выпадают перед суффиксом *-л*», должны быть устранены из лингвистической теории, поскольку их использование противоречит принципу бритвы Оккама (с. 144). На наш взгляд, данный пример наглядно свидетельствует о том, что морфонологические правила обладают по крайней мере тремя преимуществами. Во-первых, никоим образом не будучи объяснением наблюдаемых в языке чередований, они и не создают иллюзии такого объяснения. Во-вторых, они позволяют обойтись одной строкой там, где в ином случае требуются две страницы и достаточно сложная для построения и восприятия когнитивная схема. Наконец, в-третьих, они во многих случаях обладают значительно большей обобщающей силой: так, выпадение смычных *т* и *д* перед *-л*-овыми суффиксами отмечается в русском языке и в других классах форм, ср. *палый*, *вялый*, *помело*, *поросль* и др. [Иткин 2007: 90].

При описании различий в образовании формы прич. действ. прош. у глаголов типа *красть* (ср. *крал* – *кра́ли* – *кравший*) и глаголов типа *вести* (ср. *вёл* – *вели́* – *ведший*) Т. Нессет, отмечая разницу в ударении, тем не менее считает основным признаком, противопоставляющим эти две группы глаголов, огубленность-неогубленность корневого гласного (с. 149). Поскольку глагол *прясть*, форма причастия от которого приводится в книге в виде *пря́дший* (с. 129), также имеет неогубленный гласный, автор предполагает, что этот глагол должен быть легко доступен для перехода в класс *красть*, и действительно обнаруживает, что в Интернете соотношение форм *пря́дший* и *пря́дший* составляет 17 : 0 (с. 150). К сожалению, в данном случае автор ломится в открытую дверь: глагол *прясть* в самом деле ничем не отличается от глаголов типа *красть*, и форма *пря́дший* давным-давно является в русском литературном языке единственно возможной. Что касается разделения глаголов по признаку огубленности гласного, то, хотя с формальной точки зрения использование этого признака корректно, как раз его объяснительная сила равна нулю. С одной стороны, опора на данный признак предполагает, что если бы глагол *блести* выглядел как **блисти*, образованное от него причастие имело бы вид **бли́вший*, а не **бли́дший*, что очевидным образом неверно. С другой стороны, как уже не раз доводилось писать одному из нас (ср. [Иткин 1994; 2007: 243–245; 2008]), появление огубленного гласного (т. е. переход [e] в [o]), скажем, в церков-

нославянизме *обрёл*, так же, как, например, в форме *сёк* (< *сѣкъ*), может объясняться только влиянием подвижного ударения – т. е. именно того фактора, который Т. Нессет считает «not essential for the argument» (с. 151).

Таким образом, несмотря на все достоинства этой, безусловно, интересной книги, остается лишь отметить, что рассматриваемая теория, на наш взгляд, не может выдержать конкуренции с самым обыкновенным формальным описанием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Иткин 1994 – И.Б. Иткин. Еще раз о чередовании *e* ~ *'o* в современном русском языке // ВЯ. 1994. № 1.
Иткин 2007 – И.Б. Иткин. Русская морфонология. М., 2007.
Иткин 2008 – И.Б. Иткин. Contra analogiam // Языковые контакты в аспекте истории (VI Международная науч. конф. по сравнительно-историческому языкознанию). М., 2008.
Нессет 2008 – Т. Нессет. Объяснение того, что не имело места: блокировка суффиксального сдвига в русских глаголах // ВЯ. 2008. № 6.
Чурганова 1973 – В.Г. Чурганова. Очерк русской морфонологии. М., 1973.
Neset 1998 – T. Neset. Russian conjugation revisited. Oslo, 1998.

С.А. Бурлак, И.Б. Иткин

O. Mladenova. Definiteness in Bulgarian: modelling the processes of language change. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2007. 472 p.

Рецензируемую книгу Ольги Младеновой (в настоящее время работающей в университете Калгари, Канада) можно назвать энциклопедическим сочинением – так много в ней поставлено научных вопросов (на значительную часть из которых даны убедительные ответы), такой большой языковой материал привлечен для исследования, такое количество научных трудов, уже написанных на данную тему, используется в процессе обсуждения сложнейшей проблемы категории определенности в болгарском языке.

В Вводной главе О. Младенова утверждает, что приобретение болгарским языком, одним из языков балканского языкового союза, категории определенности и соответственно – определенного артикля, является центральным моментом его исторической грамматики. Носители болгарского языка гордятся тем, что в их языке нет падежей, но есть артикль. Некоторые очень патристически настроенные болгаристы

даже пишут, что болгары впитывают с молоком матери «сладость» артикля, который служит особым украшением их языка. Это «самая болгарская» черта болгарского языка. После цитирования подобных патетических высказываний ясно, какую научную значимость О. Младенова придает проблеме эволюции категории определенности в болгарском языке. Ее исследование вскрывает не только механизм превращения указательных местоимений в болгарский определенный артикль, но и связывает эту эволюцию с ранними флексивными показателями определенности в прилагательных, сохранившимися как реликты в современных славянских языках. О. Младенова полагает, что вопрос не в том, как появился артикль в балканском славянском языке, а в том, почему славянские языки разделились на исключившие категорию определенности и сохранившие и перестроившие эту категорию. При решении данной проблемы, с точки зрения исследовате-

ля, необходимо учитывать материал диалектов, а также влияние неславянских языков Балкан. Трудно сказать, удалось ли автору решить эти сложнейшие вопросы полностью, но бесспорно, что рецензируемое исследование вносит немалый вклад в приближение их решения.

Как и многие другие болгаристы, О. Младенова утверждает, что в современных болгарском и македонском языках определенность – это грамматическая категория с энклитическим определенным артиклем, появившимся около XII века или ранее, а отдельно стоящий неопределенный артикль все еще находится в эмбриональном состоянии. Дiachроническое изучение определенности в болгарском языке начинается с текстов наиболее ранних памятников современного болгарского языка дамаскинов¹ XVII века. До О. Младеновой тексты дамаскинов обследовала, в частности, известная российская болгаристка Е.И. Демина, с работами которой О. Младенова хорошо знакома. Примеров из текстов дамаскинов к книге так много, что иногда создается впечатление, что перед нами исключительно исследование раннеболгарского, а не современного болгарского литературного языка; впрочем, можно согласиться с автором, что понимание первых этапов эволюции артикля является исключительно важным для описания его функционирования в современных текстах, тогда как большинство из существующих работ этому диахроническому аспекту почти или вовсе не уделяют внимания.

Во Второй главе рецензируемой книги автор рассматривает выражение и содержание категории определенности в современном болгарском языке. Обширный языковой материал, привлеченный для исследования, О. Младенова представляет почти исключительно таблично. Таблиц в книге очень много – 54 (кроме них, имеется также 7 схем). Правда, иногда избыток таблиц, на наш взгляд, не проясняет изложение, а, напротив, утяжеляет его.

О. Младенова указывает, что в лингвистике было предложено много трактовок содержания (значения) категории определенности. Среди авторов перечислены К. Чвани, Кр. Лайонз, И. Ревзин, В. Станков, В. Косеска-Тошева и мн. др. Она также предлагает собственную концепцию, которая, правда, почти полностью

¹ Дамаскинами в болгаристике принято называть сборники переводных текстов религиозного и дидактического характера (по имени автора первого сборника такого рода, греческого богослова XVI в. Дамаскина Студита); эти тексты обычно предназначались для чтения во время церковной службы и писались на языке, близком к разговорной норме того времени.

совпадает с общепризнанной. Так, О. Младенова пишет, что говорящие могут представить в речи предмет как известный или новый, ср.: *Внимавай! Дупка!* 'Осторожно! (Какая-то) яма!' или *Внимавай! Дупката!* '(Определенная) яма!'. В первом случае сообщение о яме является новой информацией, а во втором – информацией об уже известном объекте. Такие объяснения встречаются во всех учебниках болгарской грамматики, точно так же, как указания, что в подобном случае для выбора определенной или неопределенной формы существительного нужно обратиться к анафорическому уровню данного сообщения (например, к установлению того, упоминалось ли ранее о существовании этой ямы). Ольга Младенова также признает, что определенность имени может возникнуть из знания реальной ситуации – предмет мог не быть упомянут ранее, но он является частью описываемых обстоятельств. Здесь О. Младенова приводит доводы в пользу необходимости употребления определенного артикля, встречающегося практически во всех нормативных грамматиках болгарского языка, ср. пример из учебника Ю.С. Маслова «Грамматика болгарского языка». М., 1981, с. 155: *Един човек орач на една нива. Една мечка отиде при него, таму изляз воловете* 'Один человек пахал в поле. Пришел к нему медведь и съел его волов'. Существительное *воловете* употребляется в определенной форме, хотя и появляется в данном тексте впервые, так как представляется естественным, что у пахущего человека были волаы: представление о волах уже включено в картину, создаваемую у слушателя первыми словами сказки. Одновременно О. Младенова справедливо высказывает мысль, что правила употребления артикля, формулируемые в учебниках, во многом искусственны, носители болгарского языка нередко им не следуют.

Описывая определенность имени, О. Младенова приводит данные о том, какими членами предложения могут служить существительные с определенным артиклем. Эти данные помещены в таблицу 16, где немало примеров из дамаскинов. Таблица 18 иллюстрирует интересный пассаж о превращении окончания аккузатива *-а* в артикль мужского рода. Здесь мы находим много ссылок на работы М. Младенова, отца О. Младеновой, что образует некоторую династическую цепь исследований категории определенности в болгарском литературном языке, в его диалектах и в дамаскинах XVII–XVIII веков.

О. Младенова подметила одну интересную особенность болгарского языка, состоящую в том, что в нем, в отличие от многих других

артиклевых языков, могут одновременно употребляться и притяжательные прилагательные и артикль: *бунгалата ни* 'наши бунгало'.

Весьма правдоподобна предложенная О. Младеновой диахроническая модель определенности. О. Младенова считает, что языковые изменения происходят во времени следующим образом: начало изменения медленное, затем процесс ускоряется, при этом различаются две стадии (ранняя стадия быстрой экспансии и поздняя стадия быстрой экспансии) и в конце замедление, обычно без полного охвата данного явления. Различия между фазами процесса изменения не только временные, но и социолингвистические. На стадиях II и III носители языка не чувствуют значительной разницы между разными способами выражения. Затем появляется уверенность, что новая альтернатива является предпочтительной. А на стадиях I и IV носитель языка не ощущает, что происходит какое-то изменение. О. Младенова иллюстрирует указанный процесс образования определенного артикля в первую очередь указательными местоимениями в анафорическом употреблении. Естественно, основным материалом служат тексты дамаскинов. Сравнение данных дамаскинов и современного болгарского литературного языка позволяет О. Младеновой проследить путь развития болгарского определенного артикля.

Читатель, вероятно, обратит внимание на то, что О. Младенова, написав целую книгу о категории определенности, не уделяет сколько-нибудь значительного места проблеме ее противопоставления категории неопределенности. Это объясняется не столько системным, сколько диахроническим приоритетом изложения: при исследовании процессов грамматикализации обычно более принято заниматься эволюцией отдельных языковых единиц, а не их взаимодействием внутри системы. Автор упоминает фактически мельком, что в болгарском языке есть числительное или показатель неопределенности *един*, находящийся на пути к неопределенному артиклю. Серьезных попыток объяснить, почему иногда неопределенность выражается просто отсутствием определенного артикля, а иногда необходимо также употребить *един*, не предпринято; ссылки на стилистические различия не могут быть приняты как веское объяснение. Ценное в данном разделе – это доказательство того, что, как свидетельствуют дамаскины, слово *един* появилось довольно рано. Таким образом, О. Младенова опровергает утверждение ряда болгаристов о том, что *един* в роли показателя неопределенности возникло в результате плохих переводов с западноевропейских языков.

Общий подход к соотношению грамматических значений определенности и неопределенности все же представляется нам недостатком рецензируемой книги, несмотря на то, что это исследование, где во главу угла поставлена диахрония. Понятно, что главным в данном исследовании является категория определенности, но ее нельзя выделить не противопоставляя категории неопределенности. То же следует сказать об определенном артикле, который теряет свое категориальное значение без противопоставления неопределенному, даже если последний еще не сформировался полностью.

О. Младенова обсуждает роль морфологических и лексических классов слов и их синтаксических функций в формировании категории определенности. Она подсчитала количество слов мужского, женского, среднего рода единственного и множественного числа, количество одушевленных и неодушевленных существительных в определенной форме в дамаскинах. Составлено несколько таблиц, которые показывают, что мужской род только включается в категорию определенности, а женский род, средний род и множественное число уже находятся в Фазе III развития определенности. Утверждается также, что неодушевленные существительные опережают одушевленные в приобретении определенного артикля. Все это поясняется любопытным рисунком, графически изображающим развитие и распространение категории определенности (с. 134 рецензируемой книги). Далее в ходе рассуждений О. Младенова приходит к выводу, что развитие определенности происходит как бы обратно процессу разрушения надежды; впрочем, подобная зависимость известна для многих языков мира (хотя и не является универсальной).

В книге имеется довольно большой раздел, посвященный местоимениям, где, в частности, обсуждается известная проблема редупликации местоименных клитик (с большим количеством статистических данных).

В заключении третьей главы О. Младенова предлагает трехмерную диахроническую схему, репрезентирующую определенный артикль в болгарском языке. Это параллелепипед, на сторонах которого буквами обозначены функции артикля, а стрелками – пути развития от одной функции к другой. Первичной функцией является анафора. О. Младенова считает, что эта трехмерная диахроническая схема может послужить отправной точкой для исследований определенных артиклей в лингвистической типологии.

Четвертая глава рецензируемой монографии посвящена текстологии. Здесь автор повсемест-

но прибегает к своему излюбленному приему подавать материал таблично, например, целых четыре страницы книги заняты таблицами, в которых перечислены архаизмы и инновации в области определенности, отмеченные в текстах нескольких дамаскинов. При этом рассмотрен огромный по объему материал. О. Младенова заметила, что процесс формирования неопределенного артикля, который идет в настоящее время, начался уже в XVII–XVIII вв. Ценно также ее наблюдение, что положение с локативными и экзистенциальными конструкциями, характерное для современного языка, отмечается уже в дамаскинах. Представляется интересным наблюдение О. Младеновой о том, что в современном болгарском языке в локативных и экзистенциальных конструкциях с «иметь» и «быть» только *има* сочетается с существительным в неопределенном значении: *Вчера имаше облаци* 'Вчера были облака'. Автор называет эти конструкции периферией функционирования категорий определенности / неопределенности.

Текстологический анализ дамаскинов XVII, XVIII и XIX вв. позволил О. Младеновой подтвердить некоторые из ее выводов о развитии определенного артикля, упомянутые выше.

Последняя глава книги посвящена рассмотрению категории определенности в диалектах. Здесь О. Младенова в значительной степени опирается на труды Г. Цыхуна и М. Младенова. Эти лингвисты показали, что диалекты проявляют больше консерватизма, чем современный литературный язык, поэтому в диалектах определенный артикль употребляется реже.

Описывая артикль в болгарских диалектах, О. Младенова остановилась на таком экзотическом явлении, как трехчленная система артикля. Эта система прижилась в македонском языке и в некоторых диалектах других балканских языков. О. Младенова справедливо указывает, что система тройной ориентации связана с проблемой соотношения категорий определенности и лица. Существование трех определенных артиклей в противоположность одному объясняется тем, что значение определенности объекта может выражаться либо 1) без указания на его расположенность по отношению к говорящему и слушающему во времени и пространстве (*гривната* 'браслет'); 2) либо с указанием на расположенность определенного объекта близко к говорящему (*гривнаса*); 3) либо с указанием на расположенность определенного объекта далеко от го-

ворящего (*гривната*). Наличие трехчленного определенного артикля не является открытием О. Младеновой, но ценно, что она произвела сопоставление одночленной и трехчленной систем этого артикля (как обычно, таблично: см. таблицу 50, с. 324).

В шестой главе О. Младенова рассуждает о болгарской категории определенности в ее сопоставлении с определенностью в других балканских языках — в греческом, румынском, турецком. Так, она указывает, что болгарско-греческое двуязычие способствовало развитию определенного артикля, что имена родства в турецком оказались благодатной почвой для появления артикля; сильным было также влияние румынского языка с его постпозитивным определенным артиклем. В этом разделе книги О. Младенова часто ссылается на работы М. Младенова и на свои многочисленные статьи по отдельным аспектам определенности.

Заключительные замечания, приведенные в седьмой главе (что нередко наблюдается и в других исследованиях) выглядят несколько неожиданными и не полностью вытекающими из общего содержания книги. Например, утверждение, что центральным моментом в данной работе является сопоставление грамматических и неграмматических фактов, едва ли ощущается как таковое. Скорее наоборот, автора можно упрекнуть в недостаточно четком разграничении лексики и грамматики. В противоположность этому представляется очень ценным то обстоятельство, что автор рецензируемой книги обратила внимание не только на именную структуру (центр функционального поля определенности), но и на различные периферийные приемы выражения определенности, работающие вместе с именной структурой в качестве показателей определенности. Кроме того, в книге О. Младеновой прослеживается развитие падежной системы, категорий рода, числа, одушевленности, лица, посессивности в их связях с категорией определенности. Данное исследование определило преобладающую роль показателей определенности в современном болгарском и в древнеболгарском языках. Вполне правдоподобным следует признать заключительное утверждение автора, что подход к анализу определенности, принятый в данной книге, открывает перспективы для новых исследований по истории и диалектологии в болгарском, славянском и балканском языкознании.

Т.Н. Молошная

Двухтомное издание «Избранных работ по русскому языку» отражает основные направления научных исследований Е.И. Дибровой – специалиста в области лексической и фразеологической семасиологии, синтаксиса, лингвистики текста, диалектной и авторской лексикографии, текстологии М.А. Шолохова. В рецензируемом научном труде представлены теоретические исследования, выполненные автором с начала 1950-х гг. по настоящее время. «Избранные работы» отражают цельность лингвистического мировоззрения Е.И. Дибровой, методологической доминантой которого является стратификация языковых единиц и текстовых структур как отражение прагматически пристрастных речевых действий человека – писателя и читателя.

Первый том «Избранных работ» посвящен психофилологической параметризации текста и языку художественной прозы М.А. Шолохова. Во втором томе представлены наблюдения над системно-семасиологической структурой и динамикой русской лексики и фразеологии, а также семантико-синтаксический анализ фрагментов связного текста. Перейдем к более подробному рассмотрению разделов рецензируемого двухтомного научного труда.

В первом томе, имеющем самостоятельное название «Художественный текст: Структура. Содержание. Смысл», рассматриваются фундаментальные проблемы лингвистического анализа художественного текста, в частности коммуникативно-когнитивная модель текстопорождения, природа категорий художественного текста и их систематика, пространство текста и его композитное членение, жанровая специфика текста на примере почтовой, эпистолярной и дневниковой прозы.

Признавая художественный текст объектом междисциплинарного исследования, Е.И. Диброва выдвигает интегративную парадигму лингвистического постижения текста – культурфилологическую. «Культурфилология – наука о тексте, отражающем в себе стоящую за ним действительность, наука о понятийности понимания текста (...), наука о языковом репродуктивном истолковании текста, которое способствует адекватному осмыслению фрагмента картины мира, представленной в личностном, авторском видении, которое отражает мир своего времени, свои устои» (с. 16). В качестве базового способа расшифровки авторской мысли предлагается «психофилологический анализ смыслообразования», опирающийся на понимание чтения как сотворчества, с одной стороны, и на

дифференциацию «глубины» семантических трансформаций в диалоге автора и читателя, с другой. Согласно Е.И. Дибровой, «смысл может иметь различную глубину истолкования: это может быть первичный смысл (комбинаторика значений), смысл смысла (интерпретация комбинаторики) и даже сверхсмысл (глубинная степень истолкования)» (с. 21). Из этого вытекает множественность смысловых проекций текста, выражающаяся, в частности, в лексоцентрическом и текстоцентрическом состояниях семантики слова.

Особый интерес представляет построенная по дедуктивному принципу коммуникативно-когнитивная модель текстопорождения, ориентированная на специфику создания художественного текста. При моделировании Е.И. Диброва учитывает три измерения – личность как социокультурный и эпистемически-прагматический фактор; содержание как информацию о внешнем мире в личностном отражении; способ выражения содержания как представление информации в характеристиках организации знания. В первом измерении текстопорождающего акта выделяются 7 параметров: социокультурный (общество), эпистемический (сознание), социопсихический (эмоции), когнитивно-концептуальный (знание), аксиолого-концепционный (мировоззрение), прагматико-поведенческий (мотивация) и самоактуализационный (деятельность); во втором измерении – 6 параметров: экзистенциальный (событие), денотативно-когнитивный (модель события), прагматико-коммуникативный (коммуникативная стратегия текста), когнитивно-динамический (сюжетность), ассоциативно-семантический (смыслопорождение) и субъективно-объективный (диктумная модусность); наконец, в третьем измерении – также 6 параметров: коммуникативный (общение), информативно-передающий (речевые акты), организационно-филологический (тип текста), поэтико-структурный (жанровость), семантико-структурный (композиция), стиливо-стилистический (идиостиль). В результате Е.И. Диброва приходит к тому, что коммуникативно-когнитивная модель текстопорождения обладает 252 (т.е. $7 \times 6 \times 6$) аспектными характеристиками и что «в конечном итоге текст предстает (...) как огромное, многомерное пространство, где отражаются жизнь и деятельность личности и волны ее интерпретаций» (с. 39). Модель текстопорождения в сфере художественного творчества в ее схематическом изображении можно сравнить с тем «магическим кристаллом», сквозь который

филолог призван смотреть на имплицитные слои семантики текста. С этой же моделью связаны юмористические «постулаты текстуальности» (с. 40–41), сформулированные Е.И. Дибровой, ср. лишь один из так называемых постулатов художественности: «Художественный мир – поистине безбрежный, так не заблудись в нем».

Значительное внимание в первом томе уделено проблеме категорий художественного текста, решаемой на широком фоне философских и лингвогносеологических обобщений. По мнению Е.И. Дибровой, «обладая собственной отражательной устроенностью, диктуемой законами художественного познания и художественного представления действительности» (с. 65), текст характеризуется сложной категориальной структурой. В системе категорий художественного текста различаются онтологическая категория со-бытийности; атрибутивные категории со-бытийности: категории движения, пространства и времени; релятивные парные категории со-бытийности: категория автора и категория читателя; категория структуры (формы) и категория содержания; категория системы и категория компонента и т. д. Более подробно в книге рассмотрены категории связности и амбивалентности. В частности, новизна в подходе к категории связности состоит в том, что Е.И. Диброва трактует текстовую связность как «глобальную непрерывность повествования» (с. 85), преодолевающую квантовость речевого мышления писателя не только за счет специализированных лексических и грамматических маркеров текстообразования, но и за счет отработанных в практике текстопорождения способов композитного членения речевых произведений. Категория амбивалентности обоснована на материале антонимических блоков-композигов в дневниковой прозе М. Пришвина, в которых раскрывается особая духовно-практическая эпистемология автора, основанная на отображении единства противоположностей в сфере его предметно-эстетических и этических представлений о мире. Антонимический композит, равно как и композит вообще, рассматривается как минимальная структурно-семантическая единица текста, обладающая относительной автономностью, законченностью содержания и рамочным строением. Безусловно, заслуживают внимания и такие вводимые Е.И. Дибровой в научный оборот термины-понятия лингвистики текста, как «колюр» – пространство лексико-семантического кольцевого охвата главы произведения, его интродукции и эпилога (с дифференциацией полного и малого колюров), и «конвой» – интертекстуальные «вкрапления» в художественном тексте.

Ценной представляется развиваемая Е.И. Дибровой идея категоризации пространства художественного текста. Особо отметим такие «квазипространственные» категории, как «подтекст» и «надтекст». Если подтекст как наименование имплицитных выводимых из «открытого» текста смыслов уже получил права гражданства в понятийно-терминологической сфере лингвистики, то надтекст впервые обосновывается именно в трудах Е.И. Дибровой. «Надтекст – смысловое “пространство” читателя, предоставляемое ему произведением – открытым текстом и подтекстом, с одной стороны, и с другой, – собственными когнитивно-эмотивными возможностями, его рефлексией, общим культурным уровнем познания. Вживаясь в текст, читатель вносит в него свои смыслы, нередко сугубо личностные и не вытекающие непосредственно из содержания прочитанного, но обусловленные его собственным взглядом на жизнь» (с. 127).

Особый раздел в первом томе посвящен шолоховедению, в частности исследованиям языка М.А. Шолохова. Несколько статей в данном разделе написаны Е.И. Дибровой в соавторстве с ее учениками – молодыми кандидатами наук. В этих статьях раскрывается мастерство создания речевого портрета персонажей, импрессионизм пейзажей, лингвоэстетические механизмы одорической поэтики М.А. Шолохова. Для лингвистики безусловный интерес представляют разделы, посвященные общей характеристике понятия *текстема* и конкретному описанию текстом *Шлях и Степь* в свете этнической картины мира донского казачества, запечатленной в творчестве М.А. Шолохова. Введенное в научный оборот с целью упорядочивания лексикографического представления концептуально-смысловых доминант художественного мира писателя в «Словаре языка Михаила Шолохова» (М.: Азбуковник, 2005), понятие «текстема» получило у Е.И. Дибровой статус лексемы (в том числе и аналитического лексического комплекса) в ее особом текстовом воплощении. «Текстема – это слово или сочетание слов, встречающиеся в произведениях писателя в совокупности своих значений: в общеупотребительном прямом и переносном значениях и в собственно авторских, текстовых смыслах» (с. 303). Согласно Е.И. Дибровой, текстема конвенциональна, ибо она есть продукт коллективного бессознательного: «коллективное бессознательное – это своего рода природа и общественные формации, используемые и переработанные художественным образом в народном сознании» (с. 323). Безусловно, описание текстом по лексикографической методике, предложенной Е.И. Дибровой и реализованной в «Словаре языка Михаила Шолохова»,

служит развитию методологии семантического анализа концептосферы русского языка.

Во втором томе, имеющем отдельное название «Лексикология. Фразеология. Синтаксис текста», содержатся исследования лексической и фразеологической семасиологии русского языка, синтаксической организации текста на уровне двучленных соединений самостоятельных предложений с союзами *а* и *но*, типологии лексикографического описания в русской словарной традиции.

Слово рассматривается Е.И. Дибровой как базовая номинативная единица языка, определяемая тремя системно-семантическими измерениями: парадигматическим, синтагматическим и эпидигматическим. Конститутивными признаками слова в русском языке признаются номинативность, информативность, индивидуальность лексического значения, материальность, воспроизводимость и структурная цельнооформленность, хотя говорится и о том, что «не все слова в равной степени обладают указанными конститутивными признаками» (с. 18). Подробно описаны в книге делимитации формальной и семантической сторон лексических и фразеологических единиц. В небольшом по своему объему разделе «Лексикография» представлены типология словарей, описание структуры словарной статьи в словаре общефилологического типа, характеристика трех основных разновидностей лексикографических дефиниций (описательной, синонимической, деривационной), дифференциация стилевых и стилистических помет.

Значительный теоретический интерес вызывает раздел «Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке». Дело в том, что в русистике вариантность фразеологизмов долгое время считалась процессом, определяемым случайными факторами, и таким свойством, которое отличает лишь отдельные фразеологические единицы. Е.И. Диброва доказательно опровергает эту точку зрения, показывая, что истоки вариантности лежат в генезисе фразеологических знаков, в том, каковы были семиолого-семантические механизмы, определившие эволюцию свободного синтаксического генотипа во фразеологизм. Определив смысл как психолингвистическую категорию, обуславливающую релятивность семантики слова и отражающую мотивацию косвенно-номинативного использования свободного словосочетания, автор показывает, что варианты фразеологизмов могли появиться в языке совершенно по разным причинам: в результате семиотической «компрессии» генетически разнородных сочетаний слов (ср. *носом не ведет, ухом не ведет, бровью не ведет* и т. п.), субституции компонента «гото-

вого» фразеологизма (ср. *стреляный воробей* и генетически первичное выражение – *старый воробей*), «снятия» парадокса именования (ср. *всасывать (впитывать) с молоком матери*). Более детально в книге рассмотрена лексическая вариантность фразеологических единиц, причем показано, что семантический механизм последней состоит в «давлении» на косвенно-номинативную составную единицу системно-парадигматических связей ее компонентов как лексических единиц. Поэтому Е.И. Диброва считает возможным разграничить лексические субституции на основе синонимического, тематического, гиперо-гипонимического и антонимического рядов. Особым вкладом в общую и русскую фразеологию является то, что Е.И. Диброва показывает, как путем семантического анализа вариантности фразеологических единиц можно обнаружить семантический механизм фразеологизации вообще. «Вариантность фразеологических единиц раскрыла внутреннюю “технология” образования устойчивой единицы: влияние постоянства ситуации, формирующего смысл и значение фразеологизма, внутренние семантические процессы, регулирующие отрыв устойчивости от свободной сочетаемости, протекают на семном уровне в процессах нейтрализации, деривации и стабилизации структуры и семантики фразеологических единиц» (с. 469–470).

У истоков становления синтаксиса текста в отечественной русистике стоял труд Е.И. Дибровой «Самостоятельные предложения, объединенные союзами *а* и *но* в современном русском языке» (1954), переработанный и значительно дополненный для рецензируемого издания. В 1955 году названная работа была отмечена академиком В.В. Виноградовым на Международном совещании славяноведов в Белграде как перспективное исследование. Опираясь на богатый речевой материал, автор показывает, что текстовые соединения самостоятельных предложений с союзами *а* и *но* далеко не во всем аналогичны сложносочиненным предложениям с теми же союзными маркерами. Текстовые структуры выражают более широкий круг смысловых отношений между предложениями, в частности в большей степени, чем сложносочиненные предложения, способствуют выражению присоединительной семантики, и в целом лучше интегрированы в структуру связного текста и с интонационно-просодической, и с коммуникативно-организационной, и с логико-делимитативной точки зрения. Е.И. Диброва обнаружила полный и частичный параллелизм строения сочиненных предложений в тексте, определяющийся лексико-грамматическими по своей природе «центрами сопоставления» в составе объединяемых

структур. В то же время текстовые конструкции с союзами *а* и *но* и сложносочиненные предложения с аналогичными средствами связи могут быть осмыслены как имеющие единый структурно-семантический инвариант, так как и те, и другие характеризуются бинарным набором предикативных конструкций, единой системой синтаксических дифференциаторов (или конкретизаторов) значения, общей таксисной и видо-временной парадигматикой, сходными субъектно-модальными коннотациями и др. Текстовые конструкции с союзами *а* и *но* относятся Е.И. Дибровой к минимально допустимой реализации композита в тексте.

В «Избранных работах по русскому языку» Е.И. Дибровой высказано и обосновано столько теоретически значимых для современной лингвистики идей, что, безусловно, возникает желание, с одной стороны, отметить хотя бы некоторые возможности их развития и обогащения в будущем, а с другой стороны, высказать отдельные критические соображения.

Прежде всего скажем о понятии «надтекста». Категоризация смысловой семиосферы читателя в термине-понятии «надтекст» заслуживает всяческой поддержки. Тем не менее трудно говорить о том, что методы исследования надтекста очевидны современному лингвисту, особенно работающему в рамках структурно-семантической парадигмы. Думается, что здесь не обойтись без психолингвистических экспериментальных методик исследования смыслового восприятия, интерпретации и понимания текста, поскольку без них лингвист вынужден оставаться только в рамках интроспекции, обедняющей его методологический аппарат.

Особого замечания металингвистического порядка заслуживает вводимый Е.И. Дибровой в научный оборот термин-понятие «текстема». По своей терминологической модели на *-ема* он призван отражать одну из так называемых эмических единиц, характеризующихся высшим уровнем абстракции. Однако, судя по употреблению этого термина в рецензируемом издании, он используется с целью обобщения

концептуально-лексических доминант творчества писателя, т.е. конкретных единиц реализации, наблюдаемых и непосредственно воспринимаемых в речи. Поэтому с точки зрения металингвистической абстракции текстема и, например, фонема или морфема – это далеко не однопорядковые сущности. Интересно отметить, что в лингвистике текста уже предпринимались попытки использовать термин «текстема» для обозначения абстрактных моделей сверхфразовых организаций связного текста или с целью обобщенного наименования типичных случаев структурного преобразования предложений для нужд текстообразования. Однако и в таком понятийном истолковании термин «текстема» не получил широкого признания. По-видимому, любое абстрагирование в сфере текста, каких бы единиц его строения оно ни касалось (лексических, как у Е.И. Дибровой, или синтаксических), не может быть отождествлено с абстракцией эмических единиц, а следовательно, и применение терминологической модели на *-ема* к единицам лингвистики текста представляется небесспорным.

Всячески приветствуя разработку такого элемента синтаксической формы текстового сочинения, как «центр сопоставления», незаслуженно забытого в русской синтаксической науке последних десятилетий, считаем необходимым отметить, что отдельные способы вербализации центров сопоставления, в частности антонимия, не могут считаться специализированными именно для выражения сопоставительных отношений. По-видимому, в организации центров сопоставления так же, как и на других участках текстообразования, представлено ядерно-периферийное распределение языковых маркеров.

Нет сомнений в том, что двухтомное издание «Избранных работ по русскому языку» Е.И. Дибровой найдет широкого читателя и будет полезно не только лингвистам, но и всем тем, кто любит и ценит русский язык.

В.А. Виноградов, К.Я. Сигал

A. Falileyev. Welsh Walter of Henley. Dublin: Dublin institute for advanced studies, 2006. – xci, 225 p.

A.I. Falileyev. Le Vieux-Gallois / En collaboration avec Hildegard L.C. Tristram pour la rédaction et Yves Le Berre pour la traduction française. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2008. 152 p.

Последние пять лет оказались чрезвычайно продуктивными для Александра Игоревича Фалилеева (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, и университет Аберистута, Уэльс, Великобритания). Исследователю удалось внести существенный вклад в изучение сразу двух различных областей кельтологии: с одной стороны, валлийского

языка древнего и среднего периодов, с другой стороны, данных материковых кельтских языков (в особенности на территории Восточной Европы). Результатом первых исследований явились такие публикации, как [Falileyev, Owen 2005] и две рецензируемые ниже книги. Вторая область отражена в таких крупных публикациях, как [Фалилеев 2006; Falileyev 2007].

В данной рецензии мы хотели бы подробнее остановиться на двух работах автора, исследующих валлийский материал.

Первая из рассматриваемых работ – публикация валлийской версии сельскохозяйственного трактата Уолтера из Хенли (подробнее об этом памятнике см. ниже). Она пополнила серию средневаллийских изданий Дублинского института фундаментальных исследований (Dublin institute for advanced studies). Многие самые авторитетные и влиятельные издания средневаллийских текстов входят именно в эту серию: это и английская версия издания И. Уильямса поэзии Талиесина [The poems of Taliesin 1968], две первые ветви текста Мабиноги, образцового оригинального произведения средневаллийской прозы [Pwyll 1957; Branwen 1961] и несколько образцов переводной прозы; входят в нее и две важнейшие работы по грамматике этого кельтского языка: [Evans 1964] и [Zimmer 2000].

Издание валлийского перевода трактата Уолтера из Хенли значительно превышает по объему другие издания текстов этой серии (прежде всего, благодаря подробному справочному аппарату). Оно состоит из обширного введения, двух версий валлийского текста (из так называемой Красной книги Хергеста, одной из четырех важнейших для филологии средневековой рукописи Уэльса, написанной, по последним данным, вскоре после 1382 года, и из рукописи Hafod 8, датируемой не позднее, чем 1561 г.); перевода на английский язык, англо-нормандского оригинала и комментариев к тексту.

Во введении детально рассматривается история текста и такие важные для средневекового Уэльса вопросы, как техника перевода, исторические и культурно-языковые отношения между валлийцами и норманнами. Большое место в предисловии посвящено лингвистическому анализу текста. Основным методом автора становится здесь сравнение средневаллийской и ранненововаллийской версии памятника. А.И. Фалилеев отмечает, что второй текст «практически свободен от особенностей орфографии и других уровней языка, специфических для средневаллийского периода» (с. lviii). Рассматриваются все уровни языка: фонетика и орфография, морфонология (отражение мутаций), синтаксис, а также различия в лексике памятников. Автор фиксирует многочисленные расхождения между текстами на всех уровнях языка. Вообще, параллельное издание полных двух версий, средневаллийской и ранненововаллийской, делает книгу чрезвычайно полезным источником для специалистов, интересующихся историей валлийского языка. Как оказывается, подроб-

ный анализ текста помогает не только увидеть изменения, позволяющие отделить средневаллийский период от ранненововаллийского, но также сделать выводы о стилистике перевода в разные периоды валлийской литературы. Особое внимание в предисловии автор уделяет такой теме, как диалектная атрибуция особенностей фонетики и лексики в анализируемых текстах, что является актуальным вопросом в современной валлистике.

Основная часть состоит из двух версий валлийского перевода со старофранцузского трактата Уолтера из Хенли. Трактат является сводом советов по ведению сельского хозяйства, которые дает «мудрый человек», лишь в одной из двух версий валлийского текста называемый по имени. Советы охватывают множество аспектов искусства земледелия: от подтвержденных расчетами аргументов в пользу пахоты на быках до необходимости присмотра за сеятелями во время сева в целях пресечения воровства. Кодекс поведения рачительного хозяина небезынтересен и современному читателю: автор настойчиво рекомендует не влезать в долги, знать настоящую цену своему имению, раздавать вовремя дары разумной ценности и быть великодушным со своими подчиненными.

Следующий за текстом перевод значительно облегчает работу с текстом, делая его доступным и неспециалистам по валлийскому языку. Хотя в заголовок вынесено «Версия Красной книги Хергеста» (с. 9), перевод не только следует за Красной книгой, но включает и переводы тех фрагментов, которые встречаются только в рукописи Hafod 8.

Подробные комментарии посвящены филологическим, лингвистическим и историческим вопросам. Библиография книги содержит как всю классику кельтологической и медиэвистской мысли, важной при анализе данного текста, так и множество новейших изданий и сама по себе является увлекательным источником информации для читателя. Рецензент, однако, заметил в ней один пробел: упоминающаяся на с. lxxxiii работа диалектолога Алана Томаса [Thomas 2000] в библиографии отсутствует.

Как и во всех изданиях этой серии, завершает книгу словарь, содержащий все встретившиеся в тексте словоформы с их грамматическими характеристиками. Представляется не очень удачным решение автора не следовать практике издания [Pwyll 1957], где в словаре в имени лексемы различались графически фонемы /d/ и /ð/, не различающиеся на письме в средневаллийский период. В ранненововаллийский период вторая из фонем уже передается графемой <dd>, но не все слова встречаются в

обеих версиях, поэтому в дидактических целях было бы удобнее, если бы в словаре был указан фонемный состав слова. Заметим также, что приписанная одной словоформе грамматическая характеристика ошибочна: R91 - *edrychet* помечена как *imperf. subj. impers.* [204], в то время как синтаксический анализ заставляет считать эту форму императивом 3Sg. Одна словоформа, встречающаяся в тексте, в словаре не отражена (*vstyrieit* 232).

Несмотря на эти незначительные недочеты, очевидно, что в целом перед нами прекрасный образец комментированного издания текста, представляющего большой интерес как для лингвистов, так и для филологов и историков.

Вторая из книг, о которой мы хотели бы рассказать здесь, является исправленным и дополненным персводом на французский язык ранес вышедшей в петербургском издательстве «Наука» книги «Древневаллийский язык» [Фалилсев 2002]. Для второго издания книга была значительно переработана с учетом множества появившихся с 2002 г. публикаций и посвящена памяти покойных старших коллег автора, А.А. Королева и В.П. Калыгина. Чрезвычайно отраден тот факт, что работа доступна и в электронном виде на сервере Потсдамского университета (<http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/1976/>). Книга состоит из предисловия автора к двум изданиям, предисловия переводчика, Ива Ле Берра (Брест, Бретань), трудами которого увидела свет на французском языке также замечательная книга В.П. Калыгина «Язык древнейшей ирландской поэзии» [Kalyguine 1993], и предисловия редактора, профессора Хильдегарды Тристрам (Фрайбург, Германия). Сыгравшая большую роль в выходе книги выдающаяся немецкая исследовательница отмечает в своем предисловии важность данного труда не только для кельтологии, но и для истории английского языка – роль бриттских языков в становлении морфологической и синтаксической структуры английского языка неоднократно подчеркивалась этим ученым, и именно свидетельства самых ранних зафиксированных памятников валлийского языка позволяют, по ее мнению, лучше понять конвергентные процессы, происходившие в обоих контактировавших языках.

Как и первое русское издание, книга состоит из трех частей. Первая, вводная, часть состоит из четырех важных глав. Первая посвящена определению терминологии и датировок в периодизации кельтских языков и места древневаллийского языка среди других кельтских языков. Приводится изложение множества существующих точек зрения на такой спорный вопрос, как классификация кельтских языков.

Вторая глава является для данной части ключевой: в ней рассказывается о рукописной традиции в раннесредневековом Уэльсе и о памятниках древневаллийского языка. Подробно рассматривается совокупность рукописей, созданных в Уэльсе в донорманнский период, их палеографические особенности, далее дается детальное описание памятников по векам. Здесь следует отметить уникальную особенность рассматриваемого исследования: в ходе работы над этой книгой (ср. также [Falileyev 2000]) автор лично изучил все описываемые памятники по рукописям, что позволило ему провести тщательнейший анализ всего материала. До этих работ ссылки на древневаллийский материал часто носили ненадежный характер, ср. публикацию [Фалилеев 2000], где отмечены случаи реально не существующих словоформ, становящихся основаниями для реконструкций в классическом словаре IEW [IEW 1957]. Корпус памятников древневаллийского языка относительно невелик, но такой фундаментальный анализ позволяет теперь использовать этот материал с несопоставимо большей уверенностью в его надежности. Третья глава называется «Три сложных древневаллийских текста» и посвящена трем текстам, представления о которых настолько значительно изменились со времен классической работы К. Джексона, составившего список памятников древневаллийского языка [Jackson 1953: 43–59], что их описание требует отдельного рассмотрения. Последняя глава части называется «Древневаллийские вкрапления в памятниках других языков». Это название требует отдельного комментария. В двух предыдущих главах речь шла также о достаточно фрагментированном материале, стоящем внутри латинского текста. Поэтому под «другими языками» в названии 4 главы следует понимать только бретонский, корнский, ирландский и английский. Эти тексты также часто содержат и латинский материал, однако принципиально важным оказывается наличие элементов одного из четырех перечисленных языков. Особенно интересной является проблема различения древневаллийского, древнекорнского и древнебретонского материала. Эта проблема встает очень остро, с одной стороны, по причине исторической ситуации в скрипториях монастырей кельтских стран, где рядом трудились монахи из разных стран, с другой стороны, из-за большой близости между бриттскими языками в тот период, поскольку, как следует из схемы, приведенной в книге на с. 15, об отдельных языках можно говорить только с IX века, до этого постулируется существование общего языка, называемого в работе «общим архаическим новобриттским». О близости этих язы-

ков позволяет судить тот факт, что в Книге из Лландава, одном из рассматриваемых в 3 главе памятников, в латинском тексте говорится о поездке валлийского принцессы Гуйднерты в Бретань, где он говорил на своем языке и был понят, «так как Гуйднерт сам, и бретонцы... были одного языка и одного народа, хотя и были разделены пространством» (цит. по [Калыгин, Королев 1989: 221]). Указанная близость вовсе не делает невозможным различие между валлийским, корнским и бретонским материалом, однако делает его чрезвычайно сложным. При всей скудости материала, поскольку речь идет о глоссах, главным инструментом становится здесь историческая фонетика и морфология, и автор убедительно демонстрирует в главе 4 применение всех накопленных в этой области кельтологии знаний. В результате большинство форм удается с достаточной уверенностью отнести к разным языкам, а для некоторых приходится указывать на возможность нескольких интерпретаций.

Вторая часть («Основы древневаллийской грамматики») состоит из двух глав. Первая посвящена фонетике и орфографии. На с. 53 даются три таблицы соответствий фонематическая графема. Нам представляется, что таблица, посвященная согласным и сонантам, стала бы значительно информативнее, если бы было указано, какие графемы отражают соответствующую фонему в аилауте, иилауте и ауслауте, поскольку этот вопрос очень важен не только для собственно валлийской, но для ранней ирландской орфографии. В главе даются индоевропейские соответствия в системе вокализма и консонантизма. Этот материал изложен чрезвычайно кратко и не по единой схеме: в разделе «Вокализм» в таблице (с. 57) указываются соответствия индоевропейских и древневаллийских фонем, а в разделе «Консонантизм» в аналогичной таблице указываются соответствия индоевропейских и общескандинавских фонем. В разделе «Консонантизм» также рассматриваются начальные мутации – этот феномен занимает огромное место в теоретическом и практическом описании всех островных кельтских языков. И здесь опять же хотелось бы видеть более подробное изложение материала. Так, в отношении лениции сначала перечисляются возможные синтаксические позиции ее появления, известные по средневаллийскому материалу, на грамматику которого [Evans 1964: 23] и ссылается автор, а затем указывается, что обычно в древневаллийском языке ленированность согласных не отражается. Возникает вопрос об источнике наших знаний о правилах мутаций, поскольку сам древневаллийский материал дает нам чрезвычайно мало доказа-

тельств. Ответ на этот вопрос, как мы знаем, дает историческая морфонология кельтских языков, однако автор вовсе не касается здесь этой темы.

Вторая глава («Морфология и элементы синтаксиса») также является кратким очерком обозначенных в названии вопросов. Раздел «Элементы синтаксиса» в самом деле ограничен доступным материалом, в большей части состоящим из глосс, что не позволяет подробно говорить о синтаксисе – хотя и здесь при обсуждении такого важного, как отмечает сам исследователь (с. 76), для валлийской лингвистики вопроса, как порядок слов, хотелось бы видеть конкретную статистику предложений с разным порядком слов. Однако в отношении морфологии именно ограниченный характер корпуса древневаллийских памятников дает возможность полного списочного представления каждого морфологического явления. Кажется, именно это и сделано в разделе глагольной морфологии, однако этот принцип эксплицитно не выражен. Как и в первой части, изложение отличает огромная библиографическая осведомленность автора, но порой читателю хотелось бы чуть более подробного изложения точки зрения исследователей, работы которых упоминает автор.

Третья часть называется «Древневаллийские тексты». В ней приводится тот корпус текстов, на котором основывается грамматическое описание, приведенное во второй части книги. Она состоит из 8 разделов, построенных по одинаковому композиционному принципу: сам текст, затем словарь-глоссарий с указанием грамматической формы слова и его значения, затем (везде, кроме 1 раздела) подробный комментарий. В первый раздел включены 29 кратких глосс. Возможно, сводный словарь для всех них – не лучшее дидактическое решение, более наглядным был бы вариант с комментариями к каждой отдельной глоссе. Раздел 2 также посвящен глоссам большего объема, встречающимся в трактате «О мерах и весах». В разделах 3–8 рассматриваются связанные тексты. Как уже было указано, они снабжены полными глоссариями и подробнейшими комментариями. Читателю очень хотелось бы видеть при каждом из них также перевод, однако неясность множества мест анализируемых текстов делает понятным решение автора отказаться от такой сложной и, безусловно, нерешаемой однозначно задачи.

Завершает книгу библиография, расширявшаяся со 113 позиций в русском издании до 202 позиций в новой переводной версии.

К сожалению, в конце книги отсутствует аппарат, который очень помог бы при се

чтении. В идеале хотелось бы увидеть в ней указатель упомянутых исследователей, а также словник, отсылающий как к соответствующим местам в грамматике, где обсуждается данное слово, так и к тексту, где оно употребляется. Автор подчеркивает в предисловии (с. 4), что это издание целесообразно использовать вместе с его работой [Falileyev 2000]. При таком условии отсутствие полного глоссария в конце книги, в самом деле, становится не столь большим неудобством, однако это условие сложно выполнимо, а потому такой глоссарий, как нам представляется, значительно облегчил бы работу с книгой. Следует, правда, отметить, что формат электронной книги, в котором данная работа также представлена, во многом снимает обе эти проблемы, поскольку дает читателю возможность самостоятельно выполнить поиск по любому интересующему слову.

Приведенные выше замечания носят в основном частный характер; как представляется, книга А.И. Фалилеева заслуживает высокой оценки. Выход расширенного перевода этой книги является событием в кельтологии и делает доступным не читающим по-русски специалистам уникальный труд по такому важному для кельтологии материалу, как древневаллийский, который до работ А.И. Фалилеева оставался, по его собственному выражению «Золушкой» кельтской филологии (с. 1). На необходимость изучения этого материала исследователя, по его собственным словам [Falileyev 2000: VII], подтолкнул замечательный российский кельтолог В.П. Калыгин. Другой выдающийся российский кельтолог, А.А. Королев, многократно, как в своих научных работах, так и в общении с учениками, указывал на важность издания текстов на современном уровне филологической и лингвистической науки. Две работы, о которых здесь шла речь, показывают преемственность российской кельтологии и высокую степень вовлеченности российских исследователей в мировую кельтологическую традицию.

- Калыгин, Королев 1989 – В.П. Калыгин, А.А. Королев. Введение в кельтскую филологию. М., 1989.
- Фалилеев 2000 – А.И. Фалилеев. Древневаллийский материал в «Индоевропейском этимологическом словаре» Ю. Покорного // ИАН СЛЯ. Т. 59. 2000. № 6.
- Фалилеев 2002 – А.И. Фалилеев. Древневаллийский язык. СПб., 2002.
- Фалилеев 2006 – А.И. Фалилеев. Восточные Балканы на карте Птолемея. Мюнхен, 2006.
- Branwen 1961 – Branwen Ferch Lyr / Ed. by D.S. Thomson. Dublin, 1961.
- Evans 1964 – D.S. Evans. A grammar of middle Welsh. Dublin, 1964.
- Falileyev 2000 – A. Falileyev. Etymological glossary of old Welsh. Tübingen, 2000.
- Falileyev, Owen 2005 – A. Falileyev; M. Owen. The Leyden leechbook. A study of the earliest Neo-Brittonic medical compilation. Innsbruck, 2005.
- Falileyev 2007 – A. Falileyev. Celtic Dacia: Personal names, place-names and ethnic names of Celtic origin in Dacia and Scythia Minor. Aberystwyth, 2007.
- IEW – J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1957.
- Jackson 1953 – K. Jackson. Language and history in early Britain. Edinburgh, 1953.
- Kalyguine 1993 – V.P. Kalyguine. La langue de la poésie irlandaise archaïque / H.L.C. Tristram (ed.), Y. Le Berre (trans.). Hamburg, 1993.
- Pwyll 1957 – Pwyll Penddeuic Dyuet / Ed. R.L. Thomson. Dublin, 1957.
- The poems of Taliesin 1968 – The poems of Taliesin / Sir I. Williams (ed.), J.E. Caerwyn Williams (English version). Dublin, 1968.
- Thomas 2000 – A. Thomas. Welsh dialect survey. Caerdydd, 2000.
- Zimmer 2000 – St. Zimmer. Studies in Welsh word-formation. Dublin, 2000.

Е.А. Парина

G. Aygen. Kurmanjî Kurdish. München: LINCOM Europa, 2007. 94 p. (Languages of the World / Materials; 468).

Рецензируемая работа* представляет собой краткий очерк грамматики диалекта курманджи курдского языка. Ее автор, Гюльшат

Айген, – сотрудница Университета Северного Иллинойса, защитившая в 2002 году в Гарварде диссертацию по синтаксису тюркских языков [Aygen 2002].

Очерк вышел в серии «Языки мира. Материалы», публикующей краткие очерки (обычно экзотических) языков. Публикации в этой серии часто являются первыми сколь бы то ни было систематическими описаниями соответствующих идиомов.

* Я признателен С.Ф. Шамои и Р. Барчину, носителям курманджи, за суждения о грамматичности, а также В.С. Волку и П.Б. Лурье, любезно прочитавшим предварительные варианты рецензии и сделавшим свои замечания.

По словам автора, «эта грамматика опирается на то очень немногое, что напечатано про курдский, в особенности на работы братьев Бадыр-Ханов, и на данные, полученные от шести носителей курманджи, пятерых из Диярбакыра (Турция) и одного из Коньи (Турция)¹». Судя по ссылкам в тексте, основными источниками послужили [Bedir Khan, Lescot 2000] (расширенный турецкий перевод влиятельной французской грамматики [Bedir Khan, Lescot 1970]) и учебный курс [Rizgar 2005]. Кроме того, некоторые примеры взяты из работы [MacCarus² 1958], написанной на материале говора иракского города Сулеймания диалекта сорани, т. е. фактически описывающей другой язык.

«Курдский язык» – это название огромного диалектного континуума, к которому, к тому же, некоторые относят языки горани и заки (димили). В современной литературе термин «курманджи» применяют обычно к северо-западным диалектам курдского, на которых говорят в Сирии, Турции и части Северо-Западного Ирака (а также выходцы из Турции, переселившиеся на Кавказ и в Туркмению), однако существует заметный разнобой в терминологии.

Мне трудно согласиться с тем, что по курдскому напечатано очень немногое (см. библиографию в [Мусаэлян 1996] и [Haig, Matras 2002]). Относительно подробные поговорные описания диалектов сорани и курманджи Ирака содержатся в [MacKenzie 1961; 1962]. Однако диалекты курманджи, на которых говорят в Турции, действительно описаны плохо, и достаточно подробное описание любого конкретного из них (например, говора Диярбакыра, откуда происходят большинство информантов Г. Айген) было бы весьма интересным. Однако данные в основном взяты из нормативной грамматики Бадыр-Хана и Леско, и диалектные различия из-за этого не отражаются.

Я смог обнаружить ровно два примера, в которых, быть может, сказались какие-то междиалектные различия. Первый из них, пример (49) на с. 19, источник которого не указан³, огlossирован как

¹ Конья находится на расстоянии около 500 км от Диярбакыра. Поэтому неочевидно, что у выходцев из этих городов будут совпадать говоры. Автор, впрочем, не упоминает никаких разногласий между информантами.

² Этот исследователь назван *McCallum* на с. 32 и *McCalum* на с. 82. (На с. 83 и в списке литературы на с. 91 он все же упоминается как *MacCarus*.)

³ Носителей, которые бы подтвердили этот пример, мне найти не удалось, но это, возможно, обусловлено разницей диалектов между моими консультантами и консультантами Г. Айген.

(1) *hesp-ên-0* *çun*
horse-pl-abs come.pst
‘Horses went’ (Лошади ушли).

Однако до этого, на с. 14 в разделе 2.1.1, «Число», отмечается, что множественное число в курманджи не маркируется на существительных в абсолютиве. Согласно написанному на с. 27, *-ên* – это показатель изафета множественного числа⁴, неожиданный в сочетании существительного и глагола. В принципе, легко можно себе представить, что в каких-то диалектах курманджи *-ên* оказался переосмыслен как просто показатель множественного числа. Это представляло бы отдельное интересное явление, но оно требует систематического изучения, а пример – комментарий, в работе Г. Айген отсутствующих.

Второй пример, (231) на с. 81, приведенный со ссылкой на [Bedir Khan, Lescot 2000: 309], содержит показатель отрицания *me-*. До этого в очерке упоминались лишь показатели *na-* и *ne-*, и в данном примере следовало бы ожидать *ne-*. Возможно, впрочем, что это всего лишь одна из (многочисленных) опечаток очерка. Не располагая доступом к [Bedir Khan, Lescot 2000], я не берусь прокомментировать это обстоятельство.

Очерк использует в основном стандартную курдскую латинскую орфографию.

Краткое содержание

В главе 1, «Фонология», (с. 4–13), перечисляется фонемный инвентарь, приводятся соответствия между орфографией и знаками IPA, описываются наиболее распространенные фонологические процессы, структура слога и типы ударения.

Глава 2, «Морфология», (с. 14–79) 2.1. Именная морфология. Описываются грамматические категории, присущие в курманджи существительным (число, род, определенность, падеж, изафет), и способы их маркирования. В этом же разделе описываются местоимения. 2.2. Прилагательные. 2.3. Наречия. 2.4. Глагольная морфология. 2.5. Время, аспект, модальность. 2.6. Отрицание. 2.7. Глагольные категории (пассивы, косвенная / передаваемая речь). 2.8. Глагольные модификаторы (причастия, конвербы, масдары, герундии, ...).

Глава 3, «Синтаксис», (с. 79–87). 3.1. Типы предложения (клаузы со связкой, глагольные клаузы). 3.2. Простое предложение. 3.3. Слож-

⁴ Показатели изафета в курманджи согласуются по роду и числу с обладаемым. Еще одна возможность – этот суффикс представляет собой неправильно записанный показатель OBL. PL *-an*.

ные предложения. Кроме того, в эту главу включен раздел 3.4. Восклицания. Он состоит из списка «восклицаний» (*malava* ‘браво’, *wey* ‘увы’, и т. п.) и приветствий, занимающих целую страницу.

На с. 87–90 приведены четыре коротких текста, два из них с пословным, а два с литературным переводом.

Библиография, с. 91–92, включает 17 названий, хронологически последнее издание из списка вышло в 2005 г. Надо заметить, что в (не вошедшем в библиографию) обзоре [Haig, Matras 2002], опубликованном в целиком посвященном курдскому выпуске журнала *Sprachtypologie und Universalienforschung*, список литературы (до 2000 г.) насчитывает 91 название. В библиографию очерка Г. Айген не включены не только довольно многочисленные и пользующиеся известностью у западных иранистов работы по курманджи на русском языке (например [Бакаев 1962; 1965; Курдоев 1957]), но и самая полная до сих пор публикация по курманджи на английском – фундаментальный обзор говоров бахдинани, самого южного из диалектов курманджи [MacKenzie 1962].

Замечания

Книга, к сожалению, обладает заметным количеством недостатков, которые были бы понятны, хоть и огорчительны, в первой публикации по какому-нибудь языку из джунглей Амазонии или Папуа-Новой Гвинеи, однако менее уместны в пересказывающем стандартную грамматику очерке курдского. Ниже перечислены лишь немногие из замеченных мной пропусков и явно неверных утверждений. Их количество таково, что обсуждать способ изложения, детали анализа или опечатки в английском кажется мне в данном случае нецелесообразным.

В главе 1, «Фонетика», не упомянуты некоторые явления, которые не нашли отражения в стандартной орфографии. Так, не говорится, что буква *g* обозначает фонематически противопоставленные многоударное /*g*/ и одноударное /*g*/, а также, что у /*p*/, /*t*/, /*k*/ и /*ç*/ есть аспирированные корреляты (и это противопоставление тоже фонематическое)⁵. Кроме того, не упоми-

⁵ Наличие подобных противопоставлений упоминается в описаниях самых разных диалектов курманджи: например, в говоре курдов Туркмении [Соколова 1953: 93 и далее], а также в курдских говорах Армении и Азербайджана [Бакаев 1973: 41]. Безусловно, нельзя исключать, что в диалектах информантов Айген этих противопоставлений не было (так, В.С. Соколова [Соколова 1953: 96] и Ч.Х. Бакаев [Бакаев 1973: 54] отмечают, что в говоре курдов Туркмении исчезает противопоставление двух *g*),

нается о существовании гортанной смычки (с фонематический статус в незаимствованных словах неочевиден, но она заведомо возникает для избежания гласного в анлауте).

В главе 2, «Морфология», отсутствуют разделы, посвященные предлогам и послелогам, ничего не говорится и о неопределенных местоимениях.

На с. 16 для слова *çêlek* ‘корова’ вместо английского дан турецкий перевод *inek*. На с. 17 говорится, что слово «небо» мужского рода, однако вместо курдского слова *ezman* приведено турецкое *gök*.

На с. 25, в пункте 2.1.4.3. «Эргатив в курманджи», говорится что «падежное маркирование исчезает в изафетной конструкции». Это, однако, неверно. Падеж в таком случае маркируется на правой границе именной группы, т. е. на посессоре. В том случае, когда посессор выражен местоимением, оно уже с необходимостью стоит в косвенном падеже, и падежное маркирование именной группы в целом действительно оказывается ненаблюдаемым. Если же посессор – существительное, обычный суффикс обликвуса присоединяется к нему⁶.

На с. 36 говорится “когда на существительном присутствует показатель числа или неопределенности, то порядок слов в посессивных сочетаниях совпадает с имеющимся в английских “of-possessives”» и дается пример со следующими глоссами:

- (2) *seve-ke min*
apple-indef⁷ mine
‘моё яблоко’

Далее говорится «Если число или неопределенность не маркируются, то порядок слов меняется на противоположный» и даются несколько примеров, все с тем же порядком слов, что и раньше (в тексте они даны без глосс):

- (3) *pênus⁸-e wan*
ручка-EZF.M 3PL.OBL
‘их ручка’

В тексте на с. 49 (3-я строчка снизу), вместо «разница между императивом и настоящим»
однако это опять требовало бы дополнительных пояснений.

⁶ И в книге немало примеров изолированных именных групп с обликвусом на посессоре:

- (i) с. 27. пример (65), глоссы мои.
av-ên Kurdistan-ê
вода-EZF.PL Курдистан-OBL
‘воды Курдистана’

Впрочем, то, что на посессоре стоит падежный показатель, не отражается ни в глоссах, ни в авторском тексте.

⁷ Должно быть *sêv-ek-e* яблоко-INDEF-EZF.M

⁸ На с. 14 это слово написано *pênûs*.

длительным заключается в префиксе» должно стоять «разница между *оптативом* и настоящим длительным заключается в префиксе». Хотя в разделе 2.6. «Отрицание» на с. 75 говорится, что «отрицательные формы глагола» во всех временах и видах обсуждаются в соответствующих разделах выше», нигде не описывается образование отрицательной формы от глаголов в будущем, прошедшем совершенном, прошедшем совершенном оптатива и контрафактическом будущем.

На с. 78 говорится, что «прямые дополнения инфинитивов ставятся в аккузативе, как и дополнения любого другого глагола». Помимо того, что ранее при обсуждении падежей автор не употребляла слово «аккузатив», а оперировала терминами «абсолютив» и «обликус», а также того, что в прошедшем времени в курдском используется эргативная конструкция, приводимый пример (216) показывает, что сочетание инфинитива с «прямым дополнением» оформляется как посессивная конструкция: инфинитив маркируется показателем изафета, а местоимение-посессор ставится в обликусе [глоссы мои. – Д.Э.]:

(4) *veşart-in-a wi zehmet bû*
прятать- 3SG.OBL трудный быть.PST.3SG
INF-EZF.F

‘Его было трудно спрятать’ (букв.: ‘его прятанье было трудным’).

В книге приводится большое количество примеров, иногда снабженных глоссами или пословным переводом. «Грамматические глоссы отражают анализ автора, а не исходных источников», курсив автора, с. 3. Сопоставление этих примеров друг с другом (и с авторским текстом) и обращение к грамматикам позволяют, к сожалению, обнаружить, что пословный перевод не слишком последователен, а глоссы зачастую неверны. К уже упомянутым ошибкам можно добавить следующие: на с. 81 в примере (229) *welat-ê xwe* ‘своя страна’ показатель изафета *-ê* прогlossирован как обликус. Предлог¹⁰ *ji* прогlossирован как ‘than’ на с. 40, ‘dat’ и ‘from’ на с. 87 и ‘abl’ на с. 88. На с. 67 в примере (192) *bi-* прогlossировано *pst* вместо *opt*. На с. 79 пример (221) *xwendekar e* с перс-

⁹ В курманджи показатели отрицания нестриктивным образом взаимодействуют с показателями вида-времени-наклонения, например, под отрицанием исчезает морфологическое различие между формами настоящего и будущего времени.

¹⁰ О том, что это предлог, а не послелог, ни из примеров, ни из текста очерка догадаться нельзя, однако, это сказано, например в [Курдосв 1957].

водом ‘Ученик усерден’ фактически означает лишь ‘ученик ссть», слово *jîr* ‘усердный’ там отсутствует.

Заключение

Очерком можно пользоваться для справок лишь с большой осторожностью, и российская аудитория, вероятно, по-прежнему предпочтет упоминавшиеся работы Бакаева, Курдосва и др. Автор пишет (с. 3): «The goal of this book is not to provide a comprehensive grammar of Kurmanji, but to make the basic grammatical features of Kurmanji Kurdish accessible in English, and encourage linguists to work on this intriguing yet little studied Indo-European language». Я полностью согласен с тем, что курманджи чрезвычайно интересен и заслуживает большего внимания лингвистов. Я не столь уверен, что поставленная автором задача оказалась в результате решена наилучшим возможным способом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бакаев 1962 – Ч.Х. Бакаев. Говор курдов Туркмении. М., 1962.
Бакаев 1965 – Ч.Х. Бакаев. Язык азербайджанских курдов. М., 1965.
Бакаев 1973 – Ч.Х. Бакаев. Язык курдов СССР. М., 1973.
Курдосв 1957 – К.К. Курдосв. Грамматика курдского языка (курманджи). Фонетика. Морфология. М., 1957.
Соколова 1953 – В.С. Соколова. Очерки по фонетике иранских языков. Ч. 1. М.; Л., 1953.
Мусаэлян 1996 – Ж.С. Мусаэлян. Библиография по курдоведению. Ч. I, II. СПб., 1996.
Aygen 2002 – G. Aygen. Finiteness, case and clausal architecture. Harvard, 2002.
Bedir Khan 1970 – E.D. Bedir Khan, R. Lescot. Grammaire kurde. Paris, 1970.
Bedir Khan, Lescot 2000 – E.D. Bedir Khan, R. Lescot. Kürtçe dilbigisi (Kurmanji). 3rd ed. Istanbul, 2000.
Haig, Matras 2002 – G. Haig, Y. Matras. Kurdish linguistics: a brief overview // Sprachtypologie und Universalienforschung. V. 55. Issue 1. 3–14. 2002.
MacCarus 1958 – E.N. MacCarus. A Kurdish grammar. Descriptive analysis of the Kurdish of Sulaimaniya, Iraq. New York, 1958.
MacKenzie 1961 – D.N. MacKenzie. Kurdish dialect studies. I. London, 1961.
MacKenzie 1962 – D.N. MacKenzie. Kurdish dialect studies. II. London, 1962.
Rizgar 2005 – B. Rizgar. Uygulamalı Kürtçe dersleri. Dersên Kurdî. Istanbul, 2005.

Д.А. Эршлер

отмечавшееся обоими учеными отсутствие прямых кельто-славянских сходжений, позволявших бы признать существование какой-либо специфической генетической общности для этих двух групп индоевропейской семьи языков или говорить об их интенсивном контакте, данная тема продолжает привлекать интерес исследователей.

Второй подход – сравнение кельтского и славянского языкового материала в синхронном освещении, без стремления найти генетическое или контактное объяснение наблюдаемым сходжениям, был представлен в работах польских ученых из Католического университета Люблина. Все они при разнообразии рассматриваемых уровней языка были объединены общей теоретической базой – генеративной лингвистикой. В докладе Е. Сирана и Б. Шиманека «Фонологические и морфологические функции палатализации в ирландском и польском языках» рассматривалась тема палатализации. Доклад А. Блох-Розмей, работающей в рамках фонологии управления (*government phonology*), был посвящен фонологическим особенностям аффрикат в ирландском и украинском языках. М. Блох-Тройнар рассказала о сравнении синтаксиса и семантики номинализаций в польском и ирландском языках, а сообщение А. Бондарук – предложениям с копулой в тех же языках. Обе последние исследовательницы работают в минималистской модели синтаксиса.

Сопоставительными можно назвать многочисленные доклады, посвященные параллелям в кельтском и славянском фольклоре. Американский исследователь Д. Миллер (Чикаго) выступил с докладом «Цвета славы, цвета предательства – герой и его антагонист в ирландском и сербско-хорватском нарративе», М. Фомин (Колрейн, Северная Ирландия) сравнил мотив доместикации пространства в русских и ирландских сказках, Г. Бондаренко (Колрейн, Северная Ирландия) рассказал об автохтонном населении и ином мире в кельтской (ирландской и валлийской) и русской традиции, а А. Мурадова (Москва) рассказала о мифических существах в поздних фольклорных текстах, сравнив бретонские бытовые сказки и русские былички.

Еще один подход к кельто-славянским связям – анализ реально зафиксированных следов присутствия кельтов на ставшей позднее славянской территории, так и не был реализован. Заявленным названием конференции в Дубровнике было «Кельты и славяне в Центральной и Юго-Восточной Европе». Однако следует сказать, что данная тема так и не была развита в ходе этой встречи, главным образом, из-за

отсутствия ключевого специалиста в этой области – А. Фалилеева (Санкт-Петербург, Аберистунт), чей доклад был объявлен в первоначальной программе. Доклад именно этого ученого мог бы осветить реально существовавшие связи между кельтами и славянами, поскольку последнее время он много занимался кельтскими именами собственными в Восточной Европе³.

Другие доклады конференции не касались специально вопросов кельто-славянских параллелей. Синтаксису и семантике глагольных форм был посвящен также доклад российского кельтолога Т. Михайловой (Москва). Она выступила с сообщением на тему «Чередование презентных и претеритных форм в ранней ирландской прозе». Анализируя это явление, зачастую встречающееся даже внутри одного предложения, исследователь предлагает считать его особой нарративной техникой, позволяющей визуализировать происходящее действие и вводит особую функцию *præsens scenicum*. Древнеирландский материал рассмотрела в своем сообщении «Три – еще не толпа: типология перечисления в древнеирландском, валлийском и древнегреческом языке» и А. Галянич (Загреб). Используя тексты валлийских триад, ирландских поучений, Вед и сочинений Гесиода, А. Галянич, являющаяся ученицей знаменитого исследователя индоевропейской поэтики К. Уоткинса, реконструирует общие законы структуры перечислений. Д. Ившич (Загреб) в докладе «Итало-кельтские соответствия в глагольном словообразовании» рассказала о результатах анализа глагольных форм, представленных в LIV⁴. Она наглядно продемонстрировала, что в данной области сходжения между этими ветвями индоевропейских языков не могут являться доказательством совместных инноваций, которые ожидалось бы в случае существования итало-кельтской области. Эта тема является одной из самых дискутируемых на всех этапах развития кельтологии, не теряя своей актуальности и в последние годы, и исследование Д. Ившич является убедительным аргументом в пользу противников гипотезы итало-кельтского единства.

Тема лексических сходжений, объясняемых не генетическими связями, а контактами, была рассмотрена в двух докладах. Как неоднократно отмечала в своих работах присутствовавшая

³ См., в частности, A. Falileyev. Celtic Dacia: Personal names, place-names and ethnic names of Celtic origin in Dacia and Scythia Minor. Aberystwyth, 2007.

⁴ Lexikon der indogermanischen Verben / Hrsg. H. Rix et al. Wiesbaden, 1998.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

III Международный коллоквиум общества Celto-Slavica

В сентябре 2008 года в Дубровнике, Хорватия, состоялся III Международный коллоквиум общества Celto-Slavica. Конференции этого научного сообщества, первая из которых прошла в 2005 году в Колрейне, Северная Ирландия¹, а вторая, организованная Институтом языкознания РАН и Филологическим факультетом МГУ в Москве в 2006 году², уже стали постоянным местом встречи коллег из Западной и Восточной Европы, что позволяет ученым расширить рамки своих исследований и получить интересные и авторитетные отзывы о своей работе.

В третьем коллоквиуме общества Celto-Slavica принимали участие ведущие специалисты из Ирландии, Великобритании, Германии, Польши, Чехии, Болгарии, Хорватии и России. Как следует из названия, общество объединяет ученых, исследующих кельтский материал и каким-то образом связанных со славянским миром. Очевидно, что на такой конференции очень широк и разброс теоретических подходов, и изучаемых областей культуры, которую можно назвать кельтской. Тематика докладов охватывала широкий спектр лингвистических, исторических, филологических, исторических и культурологических вопросов. Особое внимание на конференции в соответствии с уже сложившимися за две встречи традициями уделялось связям и параллелям между кельтскими и славянскими культурами. Можно выделить несколько подходов к поиску таких связей. Во-первых, исследователи, работающие в рамках сравнительно-исторического языкознания, ищут доказательства особой генетической общности между этими двумя группами индоевропейских языков или следы их контактов в древности. Во-вторых, сравнения между

отдельными языками или литературами этих групп проводятся в рамках типологических или контрастивных исследований (основным представителем последнего направления в СССР была первый русский кельтолог-лингвист В.Н. Ярцева). Эти исследования стремятся путем сопоставления данных различных языков выявить некие общие черты рассматриваемого явления и выделить различия в имеющемся материале.

Вначале расскажем о докладах, принадлежащих к первому направлению. В открывшем конференцию выступлении ее главный организатор профессор Загребского университета Р. Матазович продолжил тему кельто-славянских изоглосс, подробно разрабатывавшуюся известным российским кельтологом В.П. Калыгиным. Этот доклад — один из результатов масштабной работы, проводимой Р. Матазовичем, завершающим составление этимологического словаря кельтских языков. Такого общего этимологического словаря для кельтских языков в отличие от многих других групп индоевропейских языков до сих пор не существует, поэтому завершение этой работы, интереснейшие результаты которой показал и прочитанный доклад, внесет огромный вклад в кельтологию и индоевропеистику в целом (предварительная версия словаря доступна на сайте проекта «Индоевропейский этимологический словарь» Лейденского университета — <http://www.indo-european.nl>). Докладчик убедительно показал, что существующие лексические кельто-славянские изоглоссы носят случайный характер и не дают никаких оснований постулировать наличие тесных контактов между рассматриваемыми ветвями индоевропейских языков. Вопрос кельто-славянских параллелей рассмотрел в своем сообщении «О сравнении славянских и кельтских теонимов» и профессор Боннского университета Ш. Циммер. Таким образом, несмотря на

¹ См. Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2006. № 1.

² См. ВЯ. 2007. № 4.

на конференции немецкий кельтолог Х. Тристам. проблема заимствований, в особенности из английского языка, в островных кельтских языках до сих пор не получила достаточного освещения, будучи до недавнего времени политически некорректным вопросом на Британских островах. Большинство из немногих работ, посвященных влиянию английского языка, были написаны на континенте, и эта идеологически-географическая тенденция получила новое подтверждение в Дубровнике. О. Каркищенко (Москва) выступила с сообщением на тему «Норманские заимствования в ирландском языке». Особым вопросом является определение языка-донора, поскольку очевидно, что многие норманские слова попали в ирланд-

ский из английского, а не непосредственно из старофранцузского языка. Е. Парина (Москва) рассказала о частотности заимствований в современном валлийском языке на материале Бангорского электронного корпуса.

Таким образом, как отметили на закрытии конференции ее организатор Р. Матазович и президент общества Celto-Slavica III. Махуна, ученые из Западной и Восточной Европы снова смогли обменяться опытом, наметить новый материал или теоретические подходы для дальнейших исследований и поддерживать важные контакты, столь необходимые в научной деятельности.

Е.А. Парина
(Москва)

Международная конференция «Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры»

25–30 сентября 2008 г. в Алушке–Херсонесе (Крым) РАН, НАНУ, ИРЯ РАН, Фонд академика О.Н. Трубачева и Фонд «Русский мир» провели в Алупкинском государственном дворцово-парковом музее-заповеднике Международную конференцию «Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры. V Чтения памяти академика О.Н. Трубачева». Тематика докладов и сообщений определялась широким кругом научных интересов академика О.Н. Трубачева.

Заседание было открыто докладом Г.А. Богатовой (Москва) «Юбилейные даты славистов».

В докладе В.К. Щербина (Минск) «Вопросы словарной типологии в трудах О.Н. Трубачева» проанализированы 6 словарных антиномий совокупных типов этимологических словарей, выявленных в трудах О.Н. Трубачева. Представлены также лаконичные и образные типологические характеристики отдельных словарей разных типов (энциклопедии, толкового словаря, специальных словарей и др.), найденные автором доклада в работах Олега Николаевича.

К.П. Смолина (Москва) в докладе «Историческая лексикология и ее место в сфере инновационных образовательных программ» остановилась на важнейших проблемах современного образования – это внедрение новейших технологий в образовательный процесс в сфере преподавания исторической лексикологии.

Н.В. Колгушкина (Рязань) в докладе «Слависты И.И. Срезневский и О.Н. Трубачев. Культурная преемственность» рассказала об О.Н. Трубачеве, председателе Национального комитета славистов, общественном деятеле, его вкладе в славистическое движение в России и поделилась личными воспоминаниями о встре-

чах с ним, его участии в организации первого в России музея академика И.И. Срезневского.

Доклад А.В. Иваненко (Киев) «Реализация исл. **sed-* : **sod-* в апеллятивной и проприальной лексике» посвящен судьбе и.-с. **sed-* : **sod-* в славянских языках. Как показал автор, исл. **heseda* сохраняется двойственная семантика и.-с. **sed-/sod-* исходной 'сидеть' и инновационной 'идти, двигаться'.

Л.В. Табаченко (Ростов-на-Дону) в докладе «Слова с корнями *нур/нур* в истории русского языка» рассматривает первоначальное значение глаголов с корнями **nur/*nur/*nor* 'опускать(ся); рыть', связывая их, с одной стороны, с подземным локусом и в конкретном, и в мифологическом планах, с другой – с возможностью семантического развития 'опускать(ся); рыть → 'искать' → 'следить', 'выведывать' → 'извлекать, добывать (выгоду)'.

Доклад С.А. Вербича (Киев) «Карпатські топоніми з основою Желемян-, Зелемєн-/Зелем'я- у давньосередньовічному онімному контексті» посвящен этимологической интерпретации гидронимов *Желеменів, Желем'янка, Зелем'янка*, оронимов *Желем'янка, Зелем'янка, Желем'я, Зелемон* в карпатском регионе. Приведенные топонимы автор классифицирует как дериваты от базовой основы *Желемен-/Зелемен-*, которая имеет параллели в литовском и фракийском ономастике. На основании исторически подтвержденной фиксации дославянского фракийского населения Карпат делается вывод о возможной связи исл. **želmę / *zelme: želmen- / zelmen* как производящих для украинских *Желемен-/Зелемен-* с фракийскими топонимами на *Zelm-/Zilm-*.

Н.К. Оніпенко (Москва) в докладе «Эгоцентрические слова в синхронии и диахронии» проанализировала тексты XVI–XVIII вв. с точки зрения современной теории

эгоцентрических слов и показала, что уже в этот период слова типа *очевидно, конечно* могли не только занимать прилагольную позицию (что словари квалифицируют как наречие), но и организовывать сложные предложения с придаточным изъяснительным. В зависимости от того, в какой личной форме представлено сказуемое, наречные предикативы читаются либо как члены предложения, либо как компоненты, организующие модусную рамку, что впоследствии даст вводное слово.

Доклад Л.Ю. Астахиной (Москва) «Лексика царских грамот начала XVII в. фондов РГАДА (подарки крымским послам)» посвящен анализу грамот из фонда Оружейной палаты РГАДА. В грамотах представлена предметная лексика, отсутствующая в Картотеке ДРС: *наструга, супорос, супоросый* (1614 г.).

В докладе Р.М. Козловой (Гомель) «К проблеме генезиса античных ономастических реликтов (Cytæ, Opanos, Σκαρτανος)» представлен славянский ономастический и апеллятивный материал, с которым правомерно соотнести античные Cytæ (название города), (имя двух надписей первой половины II в. н.э.) в регионе Таврики, Opanos (название племени, обитавшего вокруг Меотиды / Азова).

В.Л. Васильев (Новгород) в докладе «О проблеме раннеславянского заселения Русского Северо-Запада (по материалам ономастики и диалектной лексики)» изложил состояние двух основных традиционно представленных в науке взглядов на проблему славянского заселения Русского Северо-Запада. Первый – о приходе сюда славян с берегов южной Балтики и басс. Вислы, второй – со среднего Поднепровья и Волыни. Сегодня, благодаря комплексному изучению топонимической архаики новгородско-псковских земель, появляется все больше конкретных лингвистических доказательств для подкрепления и развития второй точки зрения. Можно говорить о полосе повышенной концентрации ранневосточнославянских топонимов и апеллятивов, уходящей от озер Ильмен и Чудско-Псковского на юг, далее на запад к украинской Волыни и Галиции, о многочисленных сев.русс.-зап.-укр. схождениях, часто уходящих далее на славянский Юго-Запад (Словения, Хорватия). В целом же межславянские связи топонимической архаики Русского Северо-Запада предполагают не только «южный» путь прихода славян в данный регион, но и отсылают к широкому центру позднеславянских миграций, сложившемуся к сер. I тыс. н.э. и археологически представленному Пражско-Корчакской культурой.

Доклад О.А. Черепановой (С.-Петербург) «Древняя культура Северного Причерноморья и исторические корни славянского

образа *бабы-яги*» суммирует и дополняет материалы, подтверждающие гипотезу, высказанную еще в XIX в. А.Н. Афанасьевым и поддержанную рядом исследователей, о глубоких мифологических корнях образа *бабы-яги* и о ее связи с мифологией *змеи / змея*. Элемент *яга* этимологически может быть надежно соотнесен с санскритским *ahi* (при наличии значительного числа соответствующих образований в ряде языков, в том числе славянских), но отсутствие фиксированной содержательной связи элемента *яга* с именованисм *змеи* делает эту связь предположительной. Автору удалось подтвердить эту связь, приведя отрывок заговора в записи XVIII в., где змея непосредственно именуется «*яга буга*». Можно предположить, что слово *яга* – это одно из ранних именовании, предшествующих табуистическому *змея*. В докладе высказано мнение, подкрепленное фактами археологии, палеофольклористики, мифологии, что территорией, на которой мог сформироваться образ *яги* – это Северное Причерноморье, где сталкивались культурные течения античности, древнего балкано-фракийского ареала, Византии, Скифии и Востока.

Доклад М.С. Миловановой (Москва) «К вопросу о происхождении союза *но*» рассматривает предложенный В.Н. Топоровым синтагматический подход к этимологизации слов (так называемая транс-семантика, или за-семантика), позволяющий выдвинуть гипотезу о происхождении противительного союза *но*. Если семантика противительности связана, с одной стороны, с семантикой отрицания, а с другой – с семантикой уступительности (последовательность их исторического развития: отрицание → противительность → уступительность), то союз *но* как выразитель не только противопоставления, но и выражения, и уступления может быть соотнесен с отрицательной частицей *не*, имеющей аналогии в западноевропейских языках.

И.Н. Рассоха (Харьков) в докладе «Древнейшая индоевропейская гидронимия ареала среднестоговской культуры и решение проблемы индоевропейской прародины» на анализе индоевропейской этимологии свыше ста гидронимов в районе среднестоговской культуры на основе фонетической реконструкции автор выдвигает гипотезу о том, что наличие уникальной системы древнейших индоевропейских гидронимов, особенно густой в районе лесостепи между Днепром и Доном, является решающим аргументом в пользу локализации индоевропейской прародины именно здесь.

В докладе А.К. Шапошникова (Коктебель–Москва) «Этимология языковых реликтов фракийского вида в Северном Причерноморье» сообщается об обнаружении им более

300 единиц языковых реликтов и.-е. диалектного фракийского и раннего балто-славянского вида. Собранный материал, по мнению автора, свидетельствует, во-первых, о том, что языковые реликты фракийского вида оставлены в Северном Причерноморье и Закавказье скифами, и, во-вторых, о том, что данные языковые реликты проявляют черты генетического и ареального сходства с балтийскими и славянскими языками в их древнем состоянии.

В докладе Л.П. Михайловой (Петрозаводск) «Поиск этимологии с опорой на экстенциальные признаки диалектного слова» обращено внимание на русскую лексику северных и северо-западных говоров, отличающуюся некоторыми необычными признаками, которые возникли под воздействием фонетической системы прибалтийско-финских языков; на лексикализацию лексико-фонетических вариантов, их отрыв от исконного корневого гнезда (*vāparitsya* - *porēt* 'набираться сил, здоровья'), на возникновение собственно префиксальных диалектизм (*va-* < *o*, *pá-* < *po-*), семантических префиксальных диалектизм.

Е.В. Сердюкова (Ростов-на-Дону) в докладе «Ономастиологический аспект праславянских фитонимов» на материале праславянских названий *ивы* приводятся доводы в пользу объективности тех или иных предложенных в разных источниках этимологий. Об объективности и правильности этимологии для слова *ива*, предложенной в ЭССЯ, свидетельствует преобладающий мотив номинации, связанный с гибкостью ветвей растения, который преобладает на протяжении длительного периода и характеризует очень многие фитонимы, обозначающие *иву*.

Доклад «Праславянская гидрографическая терминология в славянской ойконимии» Н.А. Бойко (Киев) посвящен анализу гидрографических терминов с семантикой «поворот реки», формирующих класс славянских легоидронимических названий населенных пунктов. Наиболее продуктивны среди них лексемы

лука, колена. Диалектные материалы дополняют корпус исследуемых лексических единиц (*колонец, локоть, прилук, случ*). Фиксация рассмотренных терминов и топонимических апеллятивов в памятниках письменности подтверждает факт их древности.

В докладе «Микротопонимия г. Киева: историко-лингвистический аспект» Е.Л. Смалья (Киев) рассматриваются микротопонимы г. Киева, которые имеют непрозрачную внутреннюю форму или этимология которых толкуется нетрадиционно (*Дарница, Золоча, Труханов* и др.). Этимологии этих названий остаются дискуссионными и сегодня. Автор анализирует разные версии толкования данных микротопонимов, которые были представлены в лексикографических источниках и в народной этимологии, а также репрезентирует свои мотивации этих наименований.

В докладе О.С. Ильченко (Новороссийск) «К вопросу о развитии категории одушевленности в русском языке (на материале рукописи XV в. Книга нарицаема Козьма Индикоплов)» впервые представлена попытка выявить закономерности варьирования аккумулятивных форм семантически одушевленных существительных в переводе «Христианской топографии».

Незначительное количество архаических номинативно-аккумулятивных форм имен существительных *masculina singularia* (при преобладании Р. В.), как правило, семантически мотивировано. Выделены контекстуальные значения, детализирующие семантику пассивного объекта, а также отмечено переосмысление значения существительных (от конкретного к абстрактному) в предложно-падежных конструкциях.

Тезисы докладов опубликованы. Сборник докладов предполагается выпустить в электронной версии.

В.С. Степанова
(Москва)

XI Международная научная конференция «Ономастика Поволжья»

С 16 по 18 сентября 2008 г. в г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) состоялась XI Международная научная конференция «Ономастика Поволжья».

Конференция была организована Институтом финно-угроведения Марийского государственного университета совместно с Волгоградским государственным педагогическим университетом, Информационно-исследовательским центром «История фамилии», Институтом этнологии и антропологии

им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук и Волгоградским государственным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования.

На ее пленарном заседании, шести секциях и одном круглом столе было заслушано более 60 докладов сообщений.

Доклад М.В. Горбаневского (Москва) «О проекте Межрегионального ономастического общества имени В.А. Никонова», открывший пленарное заседание, был посвящен характеристике новой научно-общественной

ономастической организации, ставящей перед собой следующие цели:

1) упрочение и расширение связей, консолидация и объединение усилий ученых-ономатологов; 2) эффективная помощь научно-практическому изучению онимов многонационального сообщества народов России как важнейшего историко-культурного звена, связывающего поколения россиян; 3) использование для этого современных компьютерных технологий; 4) содействие сохранению, развитию и защите русского языка и языков народов России.

Им поставлены конкретные задачи Межрегионального ономастического общества имени В.А. Никонова (МООН).

М.З. Закиев (Казань) в докладе «Этноним *ас/яс* и этноязыковая сущность алан» высказал мысль, что слово *ас* со всеми фонетическими вариантами параллельно со словом *эр* (*ир* ~ *ар*) очень широко применялось для обозначения тюркоязычных племен.

В.И. Супрун (Волгоград) выступил с докладом «Русские антропонимы в языке и речи». В нем шла речь о функционировании современных русских антропонимов, отличающихся значительным разнообразием. Эмоционально-семантические приращения при образовании форм личных имен зависят от семейных, индивидуальных предпочтений, этимологических, ассоциативных связей слова. Антропонимические гипокористические, уменьшительно-ласкательные и увеличительно-уничижительные формы имен свидетельствуют о богатстве деривационных возможностей русского языка. Х.Л. Ханмагомедов (Махачкала) прочитал доклад «Топонимия Северного Кавказа и Поволжья: вопросы взаимосвязи, сходства, различия изучения топонимии соседних геокультурных пространств Российской Федерации».

Эволюция древнерусской антропонимии была проанализирована в докладе В.О. Максимова (Москва) «Берестяные грамоты как источник сведений о причинах и этапах изменения древнерусского именника».

В докладе «Коммуникативно-прагматический аспект изучения микротопонимии (на материале Закамья Республики Татарстан)» микротопонимы рассматриваются Р.Ш. Шагеевым как текст малого объема, где существование топонимов раскрывается в единой информационной базе человека как носителя языкового сознания, как свернутый текст, в котором в сжатом виде изложен посыл номинатора.

Г.Р. Галиуллина (Казань), анализируя тюрко-татарские имена, подчеркнула, что антропонимы, будучи семантическими знаками национальной культуры, являются транслято-

рами традиций народа. Сегодня мифологический опыт древних тюрков отражается в виде новых семиотических знаков.

В докладах и сообщениях, прочитанных на заседании секции № 1, рассматривались различные аспекты теории и методологии ономастических исследований.

Так, И.С. Карабулатовой (Кокшетау) анализировались традиционные и постмодернистские тенденции современного ономаобразования. И.В. Крюкова (Волгоград) в своем докладе показала лингвокультурную специфику апеллятивации. В докладе З.Р. Загировой (Уфа) рассматривались общие черты и различия имен собственных и имен нарицательных. А.Г. Мусанов (Сыктывкар) выступил с докладом «Оронимия бассейна р. Язьва: к вопросу о языковой принадлежности».

Доклады и сообщения, прочитанные на заседаниях секции № 2, были посвящены проблемам топонимики, микротопонимики и урбанонимики.

В докладе Г.Р. Абдуллиной (Стерлитамак) рассмотрены формообразующие и словоизменяющие элементы в башкирских топонимах. Доклад Л.Ш. Арсланова и Р.Т. Галимуллиной (Елабуга) посвящен названиям татарских населенных пунктов финно-угорского происхождения Балтасинского р-на Республики Татарстан. Темой сообщения Л.П. Васиковой (Йошкар-Ола) были сложные слова и словосочетания в «Горномарийско-русском словаре географических названий».

П.В. Корольский (Ижевск) основное внимание уделил анализу топонимии бассейна Лопы. Р.В. Разумов (Ярославль) охарактеризовал постсоветский этап развития систем урбанонимов русских городов.

На секции № 3 обсуждались вопросы этнонимики и антропамики. М.А. Диярова (Атырау) ознакомила с современной системой именования казахов. К интерпретации наименования ранних булгар, содержащегося в «Истории Армении» Моисея Хоренского, посвятил свой доклад В.В. Приходько (Ульяновск). О взаимосвязях личного имени и судьбы в тюркских народах говорилось в докладе Г.С. Хазиева (Казань). А.А. Леонтьева (Чебоксары) показала образование антропонимов при помощи чувашского аффикса *-ç*. Л.Ф. Осипова (Альметьевск) в своем сообщении обратила внимание на фоносемантическое восприятие личных имен в татарском языке.

На заседании секции № 4 обсуждались проблемы периферийных разделов ономастики. Сообщение Е.А. Бурмистровой (Волгоград) посвящено структурным особенностям артионимов. Проявление образной

номинации в продуктах питания Республики Башкортостан было затронуто в докладе И.И. Исангузиной (Уфа). Т.П. Романова (Самара) анализировала отражение образа потребителя в российской прагматонимии. В докладе Н.А. Кичиковой (Элиста) речь шла о катойконимах (названиях жителей) Республики Калмыкия.

Доклады и сообщения, сделанные на секции № 5, затрагивали конкретные вопросы литературной и фольклорной ономастики. Так, В.В. Бардакова (Волгоград) обратила внимание на номинацию персонажей в природоведческих сказках. А.Р. Биктимирова (Казань) анализировала топонимику в песенных текстах. О.В. Гордесва (Пермь) ознакомила с топонимами Поволжья в русском фольклоре Пермского края. Этнолингвистический аспект топонимии в художественном мире Н. Игнатьева был освещен А.Н. Куклиным (Йошкар-Ола). В докладе Д.А. Салимовой (Елабуга) «Елабужские топонимы как поэтонимы в рассказах Станислава Романовского» отмечается, что школьникам и студентам была предложена анкета, в которой указывалось название 30 топонимов (названия рек, озер, островов, рош), использованных Станиславом Романовским. Всего четыре из них (реки *Кама*, *Тойма*, *Кривуша*, *Большое озеро*) знакомы сегодняшним молодым жителям Елабуги, другие имена дети и студенты никогда не слышали. Т.А. Сироткина (Пермь) посвятила свой доклад анализу этнонимикона романа Е. Туровой «Слезы лиственницы».

На секции № 6 обсуждались проблемы перевода и передачи имен собственных. Так, в докладе Л.Г. Гулиевой (Баку) освещался вопрос о статусе русской топонимии Азербайджана на стыке веков. Темой сообщения О.С. Смирновой (Красноярск) было «свое» и «чужое» в эргонимии г. Красноярска. Про-

блемы перевода и функционирования онимов в переводных художественных текстах для детей рассматривались Е.П. Пановой (Волгоград) на материале литературной английской сказки А.А. Милна «Винни-Пух и все, все, все...». Проблемам передачи русских фамилий в условиях функционирования украинского языка посвятила свой доклад О.В. Цехмистренко (Черкассы).

На всех заседаниях конференции проходили обсуждения, дискуссии, которые способствовали освещению на новом, более глубоком уровне проблемы топониматики.

В завершение конференции был проведен круглый стол под председательством В.И. Супруна «Волга в языках и культуре народов Урало-Поволжья», на котором обсуждался доклад Г.В. Киселевой и С.В. Полубоярина (Борисоглебск) «Культурный концепт *Волга* по экспериментальным данным».

В заключение работы круглого стола М.В. Горбаневским сделано сообщение на тему «Наименования чудотворных и местночтимых икон Богородицы». Оно вызвало большой интерес, поскольку на секционных заседаниях не анализировались ни теонимы (названия божеств), ни агонимы (названия святых).

Высказанные участниками конференции предложения и пожелания по дальнейшему изучению проблем ономастики нашли отражение и закрепление в принятой на заключительном заседании резолюции, см. сайт www.familii.ru; www.onomastika.ru. Материалы XI международной конференции опубликованы отдельным сборником: «Ономастика Поволжья» (Йошкар-Ола, 2008).

XII международную конференцию по ономастике Поволжья намечено провести в 2010 г. в Казани.

А.Н. Ку克林
(Йошкар-Ола)

Международная научная конференция «Кавказские языки: генетические, типологические и ареальные связи»

14–16 октября 2008 г. в Институте языка, литературы и искусства Дагестанского научного центра РАН в Махачкале прошла Международная научная конференция «Кавказские языки: генетические, типологические и ареальные связи».

В конференции, организованной при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ №08-06-06081-г), приняли участие исследователи из Германии, Франции, Азербайджана, а также из национальных республик Абхазии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии – всего около ста специалистов.

Открыл конференцию директор Института языка, литературы и искусства имени Гамзата Цадасы ДНЦ РАН Магомедов Магомед Ибрагимович со словами: «В нынешний сложный период для Кавказа встречи ученых имеют большое значение для сохранения мира на Кавказе». Именно сложная обстановка и не позволила большой группе грузинских ученых, заявивших о своем участии в конференции, приехать в Махачкалу. Тему грузинской лингвистической школы затронула профессор Кабардино-Балкарского государственного университета З. Габуниа (Нальчик) в докладе «Вновь об ареальном взаимодействии на Кавказе», составленном совмест-

но с доктором филологии из Испании Р.Г. Тирадо.

В докладе отмечено, что осуществлявшиеся в кавказоведении исследования по взаимоотношению языков кавказского региона не только не прояснили общую ареальную картину, а несколько осложнили ее. Это особенно касается генсалоогической классификации кавказских языков. Изучение процесса языковых контактов требует не только многостороннего анализа соответствующих фактов, определяющих принцип развития языка, но и учета того значения, которое имеет их изучение для научной истории языка, для выявления исторических взаимоотношений между народами, населяющими Кавказ, а выявленные параллели дают основание говорить о взаимовлиянии языков, об аллогенетическом родстве, приобретенном в результате давних и длительных контактов.

Поэтому для современной ареальной лингвистики кавказских языков характерна глоттогоническая конвергенция, причем оба вида конвергенции могут совмещаться, т. е. древние взаимодействия кавказских и некавказских (осетинского, карачаево-балкарского, армянского и др.) языков носят как субстратно-адстратный, так и адстратно-инстратный характер.

С точки зрения авторов, для раскрытия некоторых аспектов ареальных взаимоотношений языков Кавказа, нужны разноплановые комплексные исследования на основе современных научных методов – языковые явления, ведущие к возникновению отношений родства и квазиродства, т. е. языкового союза; генетические явления, подтверждающие происхождение тех или иных языков из одного языка-источника; типологические явления, предполагающие отнесение к определенным языковым типам, а также происхождения изменений в структуре языка, тяготеющие к другому типу; материальная и духовная общность определенного ряда элементов языка (древнейшая терминология материальной и духовной культуры); структурные и материальные общности дивергенционного и конвергенционного характера на всех языковых уровнях.

Генетическим проблемам аварского языка в системе андо-цезских языков был посвящен коллективный доклад М.Е. Алексеева (Москва) и Б.М. Атаева (Махачкала), отличавшийся мотивировкой предлагаемых положений.

Доклады, прочитанные на конференции, способствовали актуализации изучения как внутренних проблем кавказских языков, так и языковых процессов, происходящих в современном Дагестане и на Северном Кавказе, глубокого изучения особенностей функциони-

рования национальных языков как в историческом прошлом, так и сегодня. Актуальным, на наш взгляд, оказалась проблема корпусной лингвистики, затронутая в своем докладе Р.О. Муталовым (Махачкала) «От электронных библиотек к корпусам языков». Автор отметил роль теории и практики в прикладной лингвистике, а именно корпусных приложений в лингвистике. Возникло новое направление в лингвистике – компьютерная лингвистика, которая занимается исследованием языковых явлений посредством компьютерных технологий. Создание данной дисциплины ознаменовалось качественным скачком в исследовании лингвистики, который отражается в лексикографии, лексикологии, грамматике. Одной из основных и наиболее развивающихся в последнее время составляющих компьютерной лингвистики и является корпусная лингвистика. В докладе прозвучала мысль о создании национальных корпусов дагестанских языков. Автор отметил, что уже идет работа по созданию электронных грамматик и электронных словарей дагестанских языков.

Ряд докладов, представленных на конференции, был посвящен истории отдельных лингвистических поддисциплин семиотики, ономастики, психолингвистики. С докладом «О цахурско-грузинских лексических параллелях» выступил Г.Х. Ибрагимов (Махачкала). В нескольких докладах говорилось о языковой политике и языковых проблемах в средствах массовой информации (М.М. Султыгова, г. Магас).

Исследователи из Германии и Франции (Б. Комри, Д. Форкер), выступавшие на конференции, избрали темой своих докладов анализ синтаксических теорий, разработанных в западноевропейской лингвистике. Европейские исследователи воспринимают грамматику кавказских языков как разделение на предложение и суждение. Развитие лингвистической науки сегодня требует переосмысления подхода синтаксического анализа к функции языка. Поэтому говорить о смене исследовательской модели не всегда легко. Для изучения синтаксиса языка необходим анализ и сопоставление в особом ракурсе (в симбиозе европейских традиций Запада и Востока). Ученый из Лионского университета Д. Крейсселс представил доклад о специализированных деепричастиях ахвахского языка в сравнении с годоберинским и агвалинским языками. Доклады американских лингвистов были озвучены коллегами из ИЯЛИ ДНЦ РАН. На конференции рассматривались три аспекта науки: «генетические связи» устанавливают пути происхождения и развития языков, «типологические связи» характеризуют языки по строению составных

и структурных единиц и «арсальные связи» показывают распространение языка и вышеназванных его составных частей на определенной территории. Однако круг затронутых проблем на конференции оказался достаточно широк, конкретен и актуален. Разумеется, этими тремя аспектами не ограничивается наука о языке. Одним из распространенных ее аспектов является само описание языков и языковых единиц такими, какими они представлены на данном этапе их функционирования.

Сложной и дискуссионной была работа секции «Генетические связи кавказских языков», где выступил ученый С.М. Джанмирзаев (Грозный) с темой «Еще раз о родстве иберийско-кавказских языков».

На пленарном заседании с радикальными предложениями выступил В. Тимаев (Грозный) – об исключении из чеченского алфавита некоторых букв и перехода чеченского алфавита на латиницу.

По итогам конференции прошел круглый стол «Кавказские или иберийско-кавказские языки». Как справедливо заметил М.Е. Алексеев, «само название конференции говорит за себя: кавказские языки – генетические, типологические и арсальные контакты».

В ходе дискуссии на конференции были даны оценки, выработаны пожелания и рекомендации. Важнейший итог конферен-

ции заключается в единодушном признании принципиальной важности и перспективности проблематики, обсуждаемой на конференции.

Таковы в общих чертах исходные положения и позиции, с помощью которых могут быть определены методологические подходы при изучении, осмыслении и освещении проблем кавказских языков. Много внимания было уделено рассмотрению вопросов, касающихся трансформации исторического наследия в условиях XX в., в роли его новых лингвистических осмыслений.

Участники конференции подчеркнули современность, актуальность и перспективность созыва настоящей конференции и пришли к мнению о целесообразности дальнейшего объединения усилий научных коллективов в рамках регионов, в частности Северного Кавказа и Дагестана, в свете изучения кавказских языков. Взаимный обмен исследовательским опытом, дискуссии и обсуждения могут способствовать расширению творческих контактов в условиях Северного Кавказа. В этом аспекте участники конференции особо подчеркнули ведущую роль Дагестана, его интеллектуальных резервов.

С.Х. Шихалиева
(Махачкала)

Сидоровские чтения

23 октября 2008 г. в Институте русского языка имени В.В. Виноградова РАН состоялись чтения, посвященные памяти выдающегося русиста и теоретика языкознания доктора филологических наук Владимира Николаевича Сидорова (1903–1968). Участники чтений говорили о вкладе В.Н. Сидорова в науку о языке, развивали идеи и подходы, предлагавшиеся ученым. По сложившейся традиции чтения проводились на заседании Ученого совета Института. Организатором первых чтений была И.С. Ильинская. Когда ее не стало, начатое ею дело продолжила С.Н. Борунова. В чтениях неоднократно принимали участие известные лингвисты: А.А. Зализняк, В.А. Дыбо, М.Л. Гаспаров, В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, А.Б. Пенъковский, В.А. Плотникова-Робинсон, Л.П. Крысин, В.З. Санников и др. В 2004 г. вышел сборник «Отцы и дети Московской лингвистической школы. Памяти Владимира Николаевича Сидорова», в котором были использованы материалы проведенных чтений. В настоящее время готовится новый научно-мемориальный сборник о Московской лингвистической школе. Авторы прочитанных

докладов — это авторы статей будущего сборника.

В.М. Алпатов (Москва) в докладе «Московская фонологическая школа и лингвистика XX в.» представил становление и развитие Московской фонологической школы (МФШ) с позиций историка науки. В докладе были рассмотрены основные этапы развития МФШ, постепенно из кружка единомышленников превратившейся в школу, выделены непосредственные учителя представителей МФШ (первые поколения ученых школы Ф.Ф. Fortunatova) и лингвисты, повлиявшие на становление школы своими идеями (И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр, Н.Ф. Яковлев). Также обозначено место МФШ в развитии мировой и советской науки о языке: названы языковеды, близкие по своим идеям к МФШ, хотя и отличавшиеся от них решением ряда вопросов («пражцы», А. Мартине), лингвисты, предлагавшие иные подходы к фонологии, но с концепциями которых у МФШ могла быть содержательная полемика (Л.В. Щерба и его последователи, дескриптивисты), а также представители иных научных парадигм, с которыми не могло быть общности взглядов (языко-

веды старой, младограмматической традиции, марристы, позже генеративная фонология). Отмечено, что МФШ стала одним из влиятельных направлений в отечественном языкознании, но не получила широкой известности в странах Запада, при этом некоторые идеи ее представителей повлияли на ученых азиатских стран.

Е.М. Верецагин (Москва) сделал доклад на тему «*Clamor desolationis* Христа по свидетельству Остромирова Евангелия», посвященный недавнему юбилею источника – 950-летию со дня написания этой первой точно датированной славяно-русской книги (1057 г.). Докладчик показал, что в поисках расширения евангельского смыслопространства (на греч. языке) слав. рукописи могут сыграть свою роль. Так, обычно считается, что «возглас оставленности» был сказан Христом на кресте по-арамейски; например, по версии Марииинского евангелия: *ελωι ελωι λεμα ιαβαχтани* (так регулярно и по-греч.: *Ἠλί, Ἠλί, λεμά σαβαχθάνι*). Между тем в версии Остр. дважды читается текст, позволяющий полагать, что Иисус процитировал Псалтырь на (библейском) иврите: *ελι ελι λεμα ιαζавтани*. Подобная версия в других слав. и греч. источниках не встречается. Между тем, с учетом контекста 21/22-го псалма, свидетельство Остр. позволяет дать более точную богословскую интерпретацию «возгласа» и, может быть, уточнить обычные догадки о кеносисе и (бого)оставленности. Аналогичным образом – т. е. с теологическими импликациями – был проанализирован и уникальный (хотя и опять-таки двукратный) текст Остр. о количестве разодранных завес в Иерусалимском храме (Мф. 27:51): согласно археологически и богословски точному свидетельству источника, – не одна.

И.А. Букринская и О.Е. Кармакова (Москва) выступили с докладом «Из истории изучения русских говоров центра». Центральная диалектная зона на материале русского языка впервые была выявлена К.Ф. Захаровой и В.Г. Орловой, которые противопоставили ее периферийным говорам, это было сделано на материале фонетических и морфологических признаков. Огромный вклад в изучение центра и периферии внесла С.В. Бромлей, именно она сделала вывод о том, что основным противопоставлением центральных и периферийных говоров является оппозиция «консонантность – вокальность». Ядро зоны центра составляют говоры Волго-Клязьминского междуречья, которые, по мнению многих ученых (Р.И. Аванесова, К.В. Горшковой, Г.А. Хабургаева), являются наследниками Ростово-Суздальского диалекта, легшего в основу литературного языка. И хотя многие исследователи зани-

мались изучением происхождения этих говоров, однако вопрос об их генезисе остается открытым. В них сохраняются некоторые акцентологические архаизмы праславянского периода (С.Л. Николаев). Авторы показали, что территория центральных говоров выделяется и на основе целого ряда репрезентативных лексических черт, многие из которых являются достаточно архаическими и имеют соответствия в южнославянской языковой области.

В докладе Е.М. Сморгуновой (Москва) «Ранние работы академика В.В. Виноградова о старообрядчестве» слушателям была представлена первая печатная статья В.В. Виноградова, опубликованная в Рязанском «Миссионерском сборнике» в 1917 г. и с тех пор более не издававшаяся и не упоминавшаяся в библиографиях работ акад. В.В. Виноградова. Статья называлась «О самосожжении у раскольников-старообрядцев (XVII–XX вв.)», она получила высокую положительную оценку редактора журнала Н.И. Остроумова как «солидный научный труд», хотя В.В. Виноградов тогда только закончил семинарию. Проблема была очень актуальна и полемична, автор использует «тот научный арсенал, который был тогда в распоряжении филолога», поэтому доклад потребовал обширного современного комментария по проблемам старообрядчества и указания на многочисленные работы, вышедшие за последующие годы. Интерес В.В. Виноградова к проблеме старообрядчества, к истории раскола, к полемической литературе и проповедникам староверия, первым «расколоучителям», в особенности к протопопу Аввакуму, оказался устойчивым и имел продолжение в его научных занятиях.

В докладе В.А. Дыбо (Москва) «Проблема реконструкции распределения акцентных типов в праславянском у -нж-глаголов» отражен тот факт, что два типа -нж-глаголов имели в праславянском различия в выборе акцентных типов. Глаголы с и.-е. суффиксом *-nā- (инхативы) получали неподвижное накоренное ударение, независимо от акцентировки производящих; глаголы с суффиксом *-nei- имели тот же акцентный тип, что и производящие. Ранее это было показано автором для глаголов с корнями на нешумные. Строгое доказательство этого же правила для глаголов с корнями на шумные имеет значение, выходящее за пределы славянского языкознания, так как, по-видимому, позволяет подтвердить правило Ф. Клуге об ассимиляционном происхождении геминат в германских глаголах.

В докладе С.Н. Боруновой (Москва) рассматривается «Проблема достоверности лексикографического материала на примере

слова *можжевеловый*». Известно, что слово *можжевеловый* варьируется в произношении. Например, в словаре В.И. Даля под редакцией И.А. Бодуэна де Куртене (1903–1909 гг.) отмечен вариант *можжевёловый* (возникший по аналогии с *можжевельник*), а в Толковом словаре Д.Н. Ушакова (1938 г.) – *можжевёловый* (исторически объясняющийся переходом *е* в *о*). Словари разного типа последовали за Ушаковым. Современными орфоэпическими словарями вариант *можжевёловый* признается предпочтительным. Произношение *можжевёловый* оценивается в основном как ненормативное. Некоторыми лексикографами оно отвергается вообще (! не *можжевёловый*), другими запрет выражен мягче (например, ! не *рек. можжевёловый*); самая высокая нормативная оценка этого варианта – допуст. *можжевёловый*. Произносительная норма до сих пор не пересматривалась. Однако большой материал,

которым располагает автор, показывает, что рекомендации словарей абсолютно не соответствуют современному узусу, в котором преобладает произношение *можжевёловый*. Эти наблюдения подтверждаются диалектологами, которые почти не встречают произношения с *ё* в говорах, возможно, из-за редкости слова, наличия для него синонима, отсутствия самого растения в обследуемой местности. В орфографическом словаре вариант *можжевёловый* стал отражаться только в 1991 г. с 29-го его издания. Появление в некоторых толковых словарях (например, под ред. Н.Ю. Шведовой с участием Л.В. Куркиной, Л.П. Крысина) равноправных вариантов *можжевёловый* и *можжевёловый* можно рассматривать как шаг к постепенному отказу от варианта *можжевёловый*.

С.И. Борунова, О.Е. Кармакова
(Москва)

Международная конференция по формальному описанию славянских языков

6–8 декабря 2008 г. в Независимом Московском Университете прошла очередная европейская конференция по формальному описанию славянских языков (Formal description of Slavic languages – FDSL-7.5). С 1995 по 2005 г. конференции цикла FDSL проходили с двухлетним перерывом попеременно в Лейпциге и в Потсдаме; в 2006 г. FDSL с номером 6.5 прошла в г. Нова Горица (Словения). FDSL-7.5 в Москве – первая международная конференция по современной формальной славистике, проходящая в России. Ее организаторами выступили молодые ученые из МГУ им. Ломоносова (Ф.И. Дудчук, С.А. Минор, Е.А. Пшехотская), Независимого Московского Университета (Д.А. Эршлер) и выпускники МГУ, ныне обучающиеся в аспирантуре Массачусетского технологического института (MIT) (И.В. Ивлиева, А.В. Подобряев). Конференция прошла при поддержке компании Авиакomp Сервисез. Рабочим языком был английский. В качестве приглашенных докладчиков выступили Х. Филип (H. Filip, Университет штата Флорида, США), О. Матушанская (O. Matushansky, Университет Утрехта, Нидерланды) и Дж. Бейлин (J.F. Bailyn, Университет штата Нью-Йорк, г. Стоуни Брук, США).

В конференции приняли участие более двадцати ученых из России, Восточной и Западной Европы и США, сообщения которых были в основном посвящены проблемам синтаксиса и семантики; рассматривались также вопросы морфологии и усвоения языка. В докладах был представлен довольно широкий спектр теоретических направлений: разные варианты поро-

дающей грамматики в ее «минималистской» версии, грамматика конструкций, формальная (теоретико-модельная) семантика, семантическая теория Московской семантической школы. Более всего в докладах были представлены данные русского языка (исключительно или в сопоставительном плане), но в ряде исследований рассматривался также материал чешского, болгарского, словенского, сербохорватского и польского языков.

Х. Филип в докладе «Individuation, quantification and aspect» («Индивидуация, квантификация и аспект») рассматривала различные проблемы описания семантики видовых категорий и способов действия в славянских языках в свете формально-семантического подхода. В частности, она указала на то, что такие часто используемые в аспектологических исследованиях понятия, как «квантованность» и «кумулятивность» лишь в весьма ограниченной степени применимы при описании семантики глагольных приставок в славянских языках, для исследования которых более адекватным оказывается разрабатываемый Филип аппарат функций меры.

О. Матушанская в докладе «Some cases of Russian» («О некоторых русских падежах») предложила во многом новаторский и интересный подход к описанию морфосинтаксиса падежей в русском языке, основная идея которого заключается в том, что падеж (точнее, более абстрактные признаки, комбинации которых морфологически реализуются при помощи падежных показателей) приписывается составляющей всеми синтаксическими вершинами (как лексическими, так и функциональными),

от которых она зависит. Такая теория падежа способна описать существенно более широкое множество фактов, нежели традиционно принятые в порождающей грамматике концепции «абстрактного падежа», и может изящно объяснить различные случаи вариативности падежного маркирования.

Дж. Бейлин в лекции «Out of control and in a bind: Weak vs. strong derivationality» («Слабая vs. сильная деривационность») рассмотрел на материале славянских языков ряд актуальных теоретических проблем «минималистской программы», в частности, вопросы описания грамматической анафоры и свободного порядка слов.

Дж. Макдональд (J.E. MacDonald) и А. Маркова (A. Markova, Автономный университет Барселона, Испания) в докладе «Variation and Bulgarian inner aspect» («Вариативность болгарского внутреннего аспекта») рассмотрели поведение болгарских двувидовых глаголов в сравнении с глаголами, вступающими в маркированные аспектуальные оппозиции, а также с глаголами английского языка, и предложили возможные пути описания обнаруженных ими сходств и различий. Ю.Л. Кузнецова (Университет Тромсё, Норвегия) и Е.В. Рахилина (ИРЯ РАН, Москва) в докладе «Russian depictives and attributes: The role of the verb» («Депиктивные и атрибутивные конструкции в русском языке: роль глагола») рассмотрели семантику русских конструкций типа *Он вернулся пьяным* vs. *Он вернулся пьяный* и показали, что для конструкций с творительным падежом важно значение противопоставления утверждаемого признака какому-либо другому; особое внимание авторы уделили свойствам глаголов, употребляющихся в данных конструкциях.

Ф. Дамонте (F. Damonte) и Дж. Гарзонио (J. Garzonio, Университет Падуи, Италия) в докладе «Чтобы и модальность в русском языке» («Союз *чтобы* и модальность в русском языке») рассмотрели возможность синхронно анализировать русский подчинительный союз *чтобы* как сочетание союза *что* и частицы согласительного наклонения *бы*. Авторы уделили внимание таким проблемам, как удвоение *бы* в разговорной речи, сочетаемость союзов и *бы* с глагольными формами, существование сочетаний *бы* с другими союзами. Е.Г. Былингина (Москва) в докладе «Depreciative indefinites: Evidence from Russian» («Уничижительное употребление неопределенных местоимений: данные русского языка») рассматривала «уничижительные» употребления неопределенных местоимений *то*-серии (например *Подумать только, какая-то мышь* - *млекопитающее*) и предположила, что оценочное значение может

возникать как импликатура на основе другого нетривиального употребления *то*-местоимений, когда говорящий не знает об объекте ничего, кроме его названия (ср. *Она теперь какая-то отжигальница*). Н.А. Слюсарь (N. Slioussar, Университетский колледж, Лондон, Великобритания, и СПбГУ) в докладе «Russian data call for relational information structure notions» («Русские данные требуют относительных понятий информационной структуры») высказала гипотезу, что для адекватного описания порядка слов и интонации в русском языке необходимо оперировать не «абсолютными» понятиями вроде «тема», «фокус» и т.д., а «относительными», т.е. «большая / меньшая доступность референта» и «большая / меньшая коммуникативная выделенность».

В.Ю. Апресян (ИРЯ РАН, Москва) в докладе «Truth in Russian: Good or bad?» («Правда в русском языке: хорошо или плохо?») проанализировала семантику русских слов *правда* и *истина* и предположила, что употребление слова *правда* в функции уступительного союза объясняется негативными коннотациями основного значения данной лексемы. Ю. Родина (Университет Тромсё, Норвегия) в докладе «A cue-based approach to the acquisition of grammatical gender in Russian» («Признаки, влияющие на усвоение грамматического рода в русском языке») продемонстрировал результаты исследования усвоения детьми грамматического рода у трех групп русских одушевленных существительных, морфологический род которых не совпадает с семантическим / грамматическим. Оказывается, что дети до 4 лет, как правило, приписывают род на основании морфологической формы слова и лишь в более старшем возрасте усваивают семантическое согласование вроде *наша врач пришла*. Синтаксическому моделированию различных стратегий присвоения рода в русском и ряде других языков был также посвящен доклад О. Стериополо (O. Steriopolo) и М. Вильчко (M. Wiltchko, Университет штата Британская Колумбия, Канада) «Distributed gender hypothesis» («Гипотеза о распределенном роде»).

П.В. Гращенков (ИБ РАН, Москва) и Е.А. Лютикова (МГУ) в докладе «Comparative and adjectival phrases: What is richer, heavier and more sound» («Синтаксическая структура положительной и сравнительной степени прилагательных») рассмотрели целый ряд синтаксических и морфологических свойств различных форм сравнительной степени прилагательных в русском языке и выдвинули гипотезу о возможной синтаксической структуре сравнительных конструкций. Сходной проблеме, но на материале эллипси-

са, был посвящен и доклад Е. Романовой (Институт международных отношений, Екатеринбург) в докладе «Subdeletion structures as additional evidence for different analysis of synthetic and analytic comparatives in Russian» («О свидетельствах эллипсиса в пользу различной структуры синтетической и аналитической сравнительной степени в русском языке»).

А.Б. Летучий (РГГУ и ИРЯ РАН, Москва) в докладе «Russian double reciprocals: what do they really mean and why» («Двойные реципроки в русском языке: что они значат и почему») рассмотрел семантику и прагматику русских конструкций с «дублированием» реципрокального показателя (ср. *Совершенно незнакомые люди целовались друг с другом*, где представлено как взаимное употребление возвратного глагола, так и взаимное местоимение) и выдвинул гипотезу о том, что местоимение *друг друга* обозначает не собственно взаимность, а скорее смену участников ситуации.

П. Бискуп (P. Biskup, Университет Лейпцига, Германия) в докладе «Prepositional projections» («Проекции предлогов») рассматривал морфологическую структуру и свойства падежного управления пространственных показателей (предлогов и наречий) в русском и чешском и выдвинул гипотезу о скрытой синтаксической структуре предложных групп в этих языках. Ф. Марушич (F. Marušić) и Р. Зауцер (R. Žaucer, Университет г. Нова Горица, Словения) в докладе «Clitic doubling in a determinerless language with second position clitics» («Местоименная реприза в безартиклевом языке с вакернагелевскими клитиками») рассмотрели синтаксические и морфологические особенности местоименных клитик в ряде словенских диалектов и отметили, что эти данные представляют собою контрпример к обобщению З. Бошковица о том, что дублирование именных групп клитиками возможно лишь в языках с артиклями.

П. Яблоньская (P. Jabłońska, Университет Вроцлава, Польша) в докладе «On the source of parochialism in case transmission» («Об истоках неуниверсальности в падежном согласовании») предложила технически чрезвычайно виртуозную теорию, призванную объяснить сходства и различия в падежном оформлении плавающих определителей (*сам, один*) и предикатных имен в конструкциях с зависимым инфинитивом в польском и ряде других языков.

К.И. Казенин (МГУ) в докладе «Russian gapping: Evidence for deletion» («Геппинг в русском языке: свидетельства в пользу стирания») представил ряд интересных аргументов в пользу того, что русские конструкции с эллипсисом сказуемого (*Священники были лишены сана и сосланы в дальние монастыри, а протопоп Аввакум был сослан в Сибирь*) представляют собой результат стирания элемента структуры, а не синтаксического передвижения.

А. Ируцун (A. Irurtzun) и Н. Мадариага (N. Madariaga, Университет Страны басков, Испания) в докладе «A minimalist approach to DP-internal scrambling in Russian» («Минималистский подход к передвижениям внутри именной группы в русском языке») предложили синтаксический анализ нескольких конструкций с выносом составляющей именной группы в русском языке, в частности, препозиции вершинного имени (*Я постирал носки красные, Мужу её был тридцать один год*) и аппроксимативной инверсии групп с числительным (*Человек пять пришло*). Е. Тругман (H. Trugman, Холонский технологический институт, Израиль) в докладе «Number-less modifiers of bare nouns in Russian» («Неоформленные по числу определения имен в русском языке») проанализировала ряд случаев употребления единственного числа имени для обозначения потенциально множественных референтов (генерические, родовые, предикатные и экспрессивные) и предложила объяснение допустимой в таких случаях постпозиции прилагательных (вроде *ветчина рубленая* или *пьянь подзаборная*). О.В. Митренина (СПбГУ) в докладе «The syntax of correlatives in Russian» («Синтаксис русских коррелятивов») рассмотрела интересные синтаксические свойства коррелятивов в русском языке (*Которые не работают, те пусть и не едят*) и выдвинула ряд гипотез об их возможном синтаксическом анализе.

Конференция FDSL-7.5 вызвала немалый интерес со стороны московских и петербургских лингвистов. Почти все доклады вызвали активные дискуссии. По результатам конференции планируется издать сборник трудов в издательстве Peter Lang (Франкфурт).

И.М. Аркадьев
(Москва)

15 января 2009 г. в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва) состоялись ежегодные Виноградовские чтения. Юбилейные Сороковые Виноградовские чтения были посвящены проблемам литературного языка (заявленная тема чтений – «Литературный язык как лингвистическая проблема»). По традиции открыл заседание директор Института чл.-корр. РАН А.М. Молдован. По его словам, настало время более углубленного рассмотрения судьбы литературного языка, исходя из новых условий развития общества и культуры. В свое время многое в данной области сделал акад. В. В. Виноградов. Литературный язык сейчас часто бывает противопоставлен не столько территориальным диалектам, сколько социальным. Изменилось отношение носителей литературного языка к норме; вопрос о том, насколько нормы должны быть строгими, стал обсуждаться чаще. В ходе Чтений различные проблемы в этой области были рассмотрены на материале не только русского языка, но и на материале других языков.

В центре внимания М.В. Ляпон (Москва), выступившей с докладом «Из опыта изучения литературной нормы в Западной Руси XVI века», историзм научного мышления В.В. Виноградова и обусловленная этой чертой концептуальная целостность его теории литературного языка. В осмыслении проблемы нормы (как и в самом ее становлении) объединены усилия филологов разных поколений, начиная от древних книжников. В иллюстративной части доклада подчеркивается тезис об информативности для историков языка текстов А. Курбского периода эмиграции: «История...» Курбского об Иване IV, его полемика с царем в письмах, а также переводческая деятельность – ценный источник для изучения языковых вкусов эпохи и материал, помогающий воссоздать образ авторитетного кодификатора литературной нормы своего времени.

А.Д. Шмелёв (Москва) в докладе «Русский литературный язык постсоветского периода: действительные и мнимые изменения» рассмотрел основные изменения, произошедшие в русской речи за последние двадцать лет. По мнению докладчика, многие примеры, воспринимаемые как порча языка, следует относить к мнимым изменениям, т. к. часто имеет место перемена не языковых норм, а социальных (изменение языковой ситуации связано с изменением социальной ситуации, разговоры о расшатывании нормы часто оказываются преждевременными). Как отметил докладчик,

не следует говорить о перемене нормы в публичной речи политиков (т. к. отсутствует материал для сравнения: в СМИ нельзя было услышать спонтанную речь советских вождей) или языке плаката (рекламные объявления – другой жанр). Кратко охарактеризовав нормы русского речевого этикета, А.Д. Шмелёв заметил, что исчезновение отчеств также является мнимым изменением (отчества и прежде не употреблялись системно, за исключением наименований классиков литературы, советских вождей и коллег в академических дискуссиях). Подлинные изменения норм литературного языка связаны с перестройкой языковой картины мира. Если прежде иноязычное слово адаптировалось к русской языковой картине мира, то последнее время картина мира языкодонора оказывает влияние на русскую (ср. новое значение *карьерный* от *карьера*, появление сочетаний *успешный карьерист*, *эффективный менеджер* и положительной оценки у *амбициозный*). Следовательно, как порча языка и разрушение нормы часто воспринимаются изменения языковой картины мира, происходящие параллельно с изменениями типов речевой культуры, системы речевых жанров и манеры общения современных носителей русского языка.

В докладе М.А. Кронгауза (Москва) «Вариативность и норма: вариативность без нормы» рассматривалось понятие орфографической вариативности. В первую очередь речь шла об именах собственных и заимствованиях. Докладчик проанализировал традиционные и случайные расхождения в передаче иностранных антропонимов и топонимов: *Таллинн* и *Таллин*, *Лиссабон* и *Лисабон*, *Тальбот* и *Толбот*, *Гексли* и *Хаксли* и другие. Далее обсуждалось распространение орфографической вариативности в современных текстах, возникающее в связи с конкуренцией различных правил оформления заимствований, например, *релейшенс*, *релейшинз*, *рилейшинс* и др. или *шопинг* и *шоппинг*. Во второй части доклада орфографическая вариативность рассматривалась с точки зрения узуса и нормы. По данным словарей и других лингвистических источников автор описал нормативные орфографические варианты или нормативные системы правил практической транскрипции. С помощью поисковых систем (Яндекс, Google) определил статистику употреблений нормативного и прочих вариантов в текстах Интернета. Сравнительный анализ нормы и узуса показывает отсутствие связи между ними (ненормативное употребление может иметь на порядок большую частоту). Таким образом, механизм установления нормы

оказывается оторван от реального употребления орфографических вариантов.

В.Я. Порхомовский (Москва) в своем докладе «Проблемы формирования и функционирования литературных языков» рассмотрел языки младописьменных обществ, т. е. тех, которые пребывают в условиях перехода от устного к письменному способу фиксации и передачи информации. Была предложена типология ситуаций возникновения и развития письменных традиций, а также рассмотрены факторы, определяющие эти ситуации. Специальное внимание было уделено различиям в социокультурных парадигмах письменных обществ и обществ с преобладанием устных традиций. Переход от устных традиций к письменным означает кардинальное изменение базовых социальных и культурных параметров в результате взаимодействия внешних и автохтонных культурных парадигм. Именно это явилось основным стимулом для создания в новую и новейшую эпохи оригинальных систем письма, например, для языков бамум, ваи, менде в Западной Африке. Но подобные попытки не имели сколько-нибудь значимых практических последствий и представляют интерес лишь для специалистов по истории и теории письма. Далее были рассмотрены особенности письменной традиции в языке хауса. В настоящее время можно говорить об относительно стабильной ситуации параллельного сосуществования двух письменных традиций хауса в арабской и латинской графике с преобладанием латиницы, функционально-жанровым распределением текстов между обеими письменными традициями, а также довольно заметными различиями в языковой норме. Недавно была сделана попытка предложить третью, оригинальную, письменность на основе арабской и латинской графики, во многом опирающуюся на берберское традиционное письмо тифинаг.

В.М. Алпатов (Москва) в докладе «Стандартный язык и общий язык на примере Японии» рассмотрел значение термина «литературный язык» в русском, французском и японском языках, где его значения не совпадают: термином, буквально означающим «литературный язык», во французском языке именуется значительно отдаленный от разговорных форм языка язык художественной литературы. В ряде западных языков данному русскому термину более всего соответствует термин, буквально означающий «стандартный язык». В японском языке этому термину соответствуют два термина, один из которых буквально можно перевести либо как «стандартный язык», либо как «образцовый язык», другой – как «общий язык». Стандартный (образцовый) язык – тот

язык, который описывается в нормативных грамматиках и словарях, это идеал, реально не достигаемый в текстах. Общий язык, в отличие от стандартного, допускает варьирование, в том числе региональное, и те или иные, не превышающие определенного предела отклонения от норм стандартного языка. На этом языке реально говорят образованные носители. Если в русской традиции образцами литературного языка считаются тексты художественной литературы (что повлияло на выбор термина), то в Японии такая литература считалась не особенно серьезной, зато издавна престижными являются деловые документы, а в наши дни образец нормы часто видят и в средствах массовой информации.

Доклад Н.С. Бабенко и Н.Н. Семенюк (Москва) «Теория литературного языка: опыт отечественной германистики» был посвящен основным этапам развития германского языкознания в русле теории литературных языков начиная с 50-х годов XX века, когда был основан сектор германских языков в Институте языкознания АН СССР. Изучение истории германских литературных языков базировалось на традициях русской филологической школы и идеях В.М. Жирмунского о социолингвистических закономерностях развития национального языка как сложной системы форм существования. На материале германских языков получили уточнение многие компоненты общей теории литературных языков и, прежде всего, представление о литературном языке как высшей форме коммуникации (о его наддиалектности, обработанности и полифункциональности), о норме как специфическом признаке поздних этапов существования литературного языка. На материале истории германских языков были разработаны многие аспекты социологии и типологии литературных языков. Историография развития этой дисциплины дает представление о формировании в этой области целостного научного знания о закономерностях образования и развития германских языков в литературной форме. Итогом многолетних исследований стала разработка модели построения и систематического описания истории немецкого, английского и нидерландского языка. Данная модель, будучи одной из возможных схем построения целостной истории языка, выдвигала на первый план функциональное единство, внутреннюю зависимость отдельных этапов развития функциональной системы языка и его высшего страта.

И.И. Челышева (Москва) в докладе «Типология формирования литературных языков на материале романского ареала» рассмотрела пути формирования нормы в романских языках. В основных романских языках, где

давно существуют кодифицированные нормы, этот процесс шел или с ориентацией на язык столицы, культурного и политического центра (во Франции, Португалии), или с ориентацией на литературный текст, считающийся образцовым (в Италии). В настоящее время проблема формирования нормы актуальна для миноритарных языков, где возможен выбор разных путей нормирования: ориентация на язык авторитетных писателей («мистралевская» норма в окситанском), утверждение в качестве нормы наиболее консервативного или наилучшим образом сохранившегося говора (арагонский); создание искусственной нормы-артефакта путем синтеза особенностей различных вариантов (ретороманский, сардинский, ладинский).

С.Е. Никитина (Москва) в докладе «О динамике языка духовного стиха» показала, как менялся стиль и язык духовных стихов на протяжении нескольких веков, начиная с конца XV века. Важной особенностью данных произведений является сочетание книжной и фольклорной традиции. Докладчик уточнила определение жанра: духовные стихи – совокупность устно-письменных, стилистически разнород-

ных текстов, которые объединены системой религиозно-нравственных ценностей, которые, в свою очередь, определяют тематические рамки этих текстов; важное функциональное свойство – духовные стихи должны использоваться только во внеслужебной ситуации. Большинство текстов духовных стихов по происхождению связано с разными периодами русского литературного языка (язык раннего духовного стиха «Плач Адама» близок к богослужебному тексту, т. е. церковнославянскому языку), а по функционированию – с традиционными фольклорными текстами. Язык поздних духовных стихов является современным русским литературным языком, смешанным с просторечием. Если жестокий романс, замесивший во второй половине XIX века традиционную любовную лирику, принес в фольклор не только смесь литературного языка с просторечием, как и у духовного стиха последнего времени, но и полную перемену картины мира, то поздний духовный стих сохранил старую картину мира, хотя существенным образом изменился язык.

Н.Н. Занегина, Ю.С. Капитанова
(Москва)

Конференция «История когнитивной лингвистики»

30–31 января 2009 г. в Парижском университете проходила VII конференция «История когнитивной лингвистики», организованная Обществом истории и эпистемологии наук о языке (Société d'Histoire et d'Epistémologie des Sciences du Langage – SHESL) при поддержке Национального центра научных исследований (Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS) и Лаборатории «История лингвистических теорий» (Laboratoire Histoire des Théories Linguistiques).

Конференция ставила своей целью проанализировать развитие когнитивной лингвистики, ее место в эволюции лингвистической мысли и связи с другими теориями языка. Детальному рассмотрению и критической оценке были подвергнуты теоретические и методологические основания когнитивной лингвистики, ее фундаментальные понятия и исследовательские процедуры. При этом к когнитивной лингвистике причислялись те современные теории, которые строят анализ и описание языкового материала исходя из значения (отождествляемого с ментальными представлениями и операциями) и с учетом общекогнитивных механизмов человека. Иными словами, выражение «когнитивная лингвистика» понималось как имя нарицательное – в противоположность «Когнитивной лингвистике» как

имени собственному, нередко используемому для обозначения специфического и достаточно закрытого сообщества североамериканских лингвистов.

Конференцию открывал обзорный доклад видного представителя когнитивного направления в языкознании Д. Герарта (Бельгия) «Тридцать лет когнитивной лингвистики». Автор предложил свою периодизацию данного течения, выделив в его истории начальный этап, связанный с зарождением когнитивных исследований языка и публикацией первых значительных работ (1977–1987), этап расширения, во время которого когнитивная лингвистика вышла на международную арену и произошло ее организационное оформление (1987–1997), и этап укрепления, ознаменовавшийся ее дальнейшей институционализацией и выходом в свет ряда учебных пособий (1997–2007). Соотнеся свои наблюдения с известными суждениями Т. Куна о ходе развития научного знания, Герарт резонно задается вопросом, суждено ли когнитивной лингвистике в ближайшем будущем вступить в четвертый этап – этап внутреннего конфликта и кризиса. Как говорится, проживем – увидим.

Особую роль когнитивной лингвистики на современном этапе развития языкознания Герарт видит в ее мощном и осознанном стремлении к реконтекстуализации грамматики – на

фоне обратной тенденции Н. Хомского и его последователей ее деконтекстуализировать, «очистить» от всего того, что выходит за рамки языковой компетенции некоего усредненного, идеального носителя языка. Основным пафос когнитивной лингвистики, как утверждает Герартс, заключается в восстановлении связей грамматики с лексикой и семантикой, употреблением языка, социальным и культурным контекстом. Разумеется, когнитивная лингвистика – не единственное современное направление, «реабилитирующее» понятие контекста (ср. лингвистическую прагматику, социолингвистику, функциональные грамматики, анализ дискурса), но, по мнению ученого, именно она занимает наиболее радикальную позицию по этому вопросу.

Необходимость учета разнообразных контекстуальных факторов при анализе языкового материала ставит под сомнение опору исключительно на интроспекцию, что традиционно практиковалось в когнитивной лингвистике (и за что ее нередко упрескали). Будущее когнитивной лингвистики Герартс уверенно связывает с развитием корпусных исследований и растущим применением количественных методик для проверки исходных гипотез. Эта мысль бельгийского ученого нашла подтверждение в выступлении Т. Эгана (Норвегия) «Корпусы и когнитивная лингвистика», содержавшем конкретные примеры расхождений между интуитивными представлениями носителей языка об употреблении некоторых языковых единиц и конструкций, с одной стороны, и корпусными данными – с другой.

Все выступления на конференции так или иначе затрагивали вопрос о связях когнитивной лингвистики с предшествующими или современными направлениями в языкознании, причем в центре внимания были переклички с европейским структурализмом, а имя его основоположника Ф. де Соссюра звучало практически в каждом докладе. Сопоставлению этих двух лингвистических школ были специально посвящены доклады К. Виллемса (Бельгия) «Когнитивная лингвистика и структурная лингвистика: сходства и различия» и Э. Эльферс (Нидерланды) «Лингвистическая относительность в структурализме и когнитивной лингвистике». Признавая несомненное влияние структуральных идей на весь ход развития языкознания в XX в., в том числе и на когнитивную лингвистику, ряд авторов, однако, обращали внимание и на другие источники данного направления. Так, Д. Герартс уже не в первый раз указал на преемственность когнитивной лингвистики по отношению к предшественнику структурализма – сравнительно-историческому языкознанию, а упомянутая выше

Э. Эльферс, а также французы Г. Ашар-Бейль и М.-А. Паво (доклад «Действительность и познание: О месте контекста в истории когнитивной лингвистики») проанализировали влияние идей релятивизма, воспринятое как непосредственно из трудов В. фон Гумбольдта, так и из более поздних интерпретаций европейских и американских неогумбольдтианцев.

Были отмечены и более неожиданные параллели. Ф. Албано Леони (Италия) в своем докладе «Когнитивная фонология: история и актуальные задачи» провозгласил основоположником данной дисциплины И.А. Бодуэна де Куртенэ. В выступлении Т.Г. Скребцовой (Россия) «Понятия центра и периферии в истории языкознания: от Трира до Рош» было показано, что сформулированный Э. Рош и активно продвигаемый приверженцами когнитивной лингвистики (прежде всего, Дж. Лакоффом) «прототипический» подход к категориям не является чем-то принципиально новым для языкознания. Так, деятели Пражского лингвистического кружка констатировали неравенство единиц, составляющих тот или иной класс языковых явлений, задолго до исследований Рош. Более того, их формулировки середины 1960-х гг. фактически предвосхищают некоторые отрывки из книги Лакоффа «Женщины, огонь и опасные вещи» (1987 г.). В полемическом выступлении, озаглавленном «Ловушка Микки-Мауса: Бог и язык в XVIII в.», П. Зойрсе (Нидерланды) увидел сходство между некоторыми современными заявлениями когнитивистов и суждениями философов XVIII в. о происхождении языка: это сходство, по его мнению, заключается в упрощенном взгляде на язык. Немецкий ученый предостерег приверженцев когнитивной лингвистики от огульного отрицания всего того, что было сделано в рамках формальных грамматик. По его словам, вместо попытки продуктивного синтеза идей когнитивисты нередко предлагают столь упрощенное представление о сложных феноменах, коими являются человеческий язык и мышление, что оно оказывается близким к карикатурному изображению.

Сопоставлению двух тесно связанных парадигм современной лингвистики был посвящен доклад Ж. Франсуа (Франция) «Когнитивная лингвистика и функциональные теории языка». С одной стороны, близость установок когнитивной и функциональной лингвистики несомненна, что позволяет отдельным авторам объединять их в рамках более широкого понятия «функционально ориентированного языкознания». С другой стороны, эта же близость, вкупе с внутренней неоднородностью каждого из данных направлений, серьезно затрудняет

выявление их отличительных особенностей. Особенно значительный разброс наблюдается среди функциональных теорий, некоторые из которых оказываются созвучными когнитивной лингвистике (Дж. Байби, Т. Гивон, П. Хоппер, С. Томпсон), другие тяготеют к структурализму (С. Дик, Р. Ван Валин, М. Хэллiday). Когнитивная лингвистика тоже внутренне неоднородна, особенно если к ней причислять концепции Ч. Филлмора, Р. Джекендоффа, грамматику конструкций У. Крофта и А. Гольдберг. В итоге, по мнению Франсуа, образуется некий континуум, шкала, вдоль которой автор располагает перечисленные подходы.

В отличие от Ж. Франсуа, Б. Петерс (Австралия) в своем докладе «Семантические примитивы и универсальная грамматика в ЕСМ: успехи и перспективы» не проводил сравнения между «собственно» когнитивной лингвистикой и теорией А. Вежбицкой, а сосредоточился на последних достижениях в разработке естественного семантического метаязыка. Одно из них – это совсем новое, введенное Вежбицкой в 2009 г., понятие «семантической молекулы», призванное разгрузить толкования слов с выраженным денотативным значением. Семантические молекулы – это заранее созданные толкования некоторых слов (например, *рука*, *рот*), не являющихся примитивами, но полезных для толкования других слов (например, *есть*, *пить*). Чтобы сделать толкования последних более компактными и удобочитаемыми,

ми, в них, наряду с примитивами, включаются семантические молекулы в виде неких готовых блоков. Семантические молекулы разрабатываются для таких групп лексики, как части тела, физические свойства, физические действия, природные объекты, материалы и др. Другое направление, на котором сейчас сосредоточены усилия разработчиков ЕСМ, заключается в создании «этнолингвистического» описания различных культур, включающего такие аспекты, как этнопрагматика, этнофразеология, этносемантика, этносинтаксис, этноаксиология.

Ряд участников конференции посвятили свои выступления французским традициям изучения языка и мышления. Особый интерес представлял обстоятельный доклад М. Валетта (Франция) «Французская когнитивная лингвистика: вклад Гюстава Гийома». Автор подверг скрупулезному анализу корпус научных текстов Гийома, включающий все его труды, отдельные наброски и даже пометки к лекциям. По мнению Валетта, психомеханическая концепция языка Гийома во многом предвосхитила идеи современной когнитивной лингвистики.

Завершил работу конференции круглый стол под председательством французского лингвиста Б. Потье и с участием Д. Герарта, Ж.-М. Фортиса, С. Ору, Д. Дюбуа и др.

Т.Г. Скребцова
(С.-Петербург)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 2009 г.

СТАТЬИ

Агранат Т.Б. Дискурсивные маркеры в водском языке	6
Анищенко О.А. Эволюция обозначения молодежной речи: от технического языка до жаргона	2
Бабасев К.В. О происхождении личных местоимений в языках мира	4
Багана Ж., Хапилина Е.В. Основные черты языковой политики стран франкофонной «черной» Африки в постколониальный период	2
Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Принципы семантического описания фразеологии	6
Бурмистрович Ю.Я. Позиционные смягчения заднеязычных согласных в праславянском языке	5
Вострикова Н.В. Экспериментальные предложения: грамматикализация дискурсивных функций	3
Всеволодова М.В. Поля, категории и концы в грамматической системе языка	3
Выдрин В.Ф. Преверб в языке дан-гуэа	2
Гадилля К.Т. Категория определенности и неопределенности в контексте предикатно-аргументной структуры предложения в некоторых западноиранских языках	1
Горбова Е.В. Акциональная характеристика испанских глаголов, частотно реализуемых в перфективно-имперфективных формах	3
Григорьян Е.Л. Каузальные значения и синтаксические структуры	1
Добродомов И.Г. Историко-этимологические каламбуры и филологическая достоверность лексико-фразеологического материала	4
Добрушина Н.Р. Семантическая зона оптатива в нахско-дагестанских языках	5
Заика Н.М. Валентностная и персональная вариативность баскского глагола с дативным актантом, связанная с морфологическими запретами и редкими формами	2
Зализняк А.А., Янин В.Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2008 г.	4
Золян С.Т. О стиле лингвистической теории: Р.О. Якобсон и В.В. Виноградов о поэтической функции языка	1
Идиатов Д.И. Частичная антиморфологизация: пример из глагольной морфологии языка тура	2
Кабинина Н.В. Топонимические реликты нижнего Подвинья (Людма, Оногра, Соломбала)	1
Касаткин Л.Л. О природе фонемы	2
Касаткин Л.Л. Особенности восприятия звуков речи, выступающих в разных фонетических позициях	4
Кибрик А.А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов	2
Кузнецов А.Е. Отпадение -s# в архаической латыни и метрическая структура ранних латинских текстов	1
Кузнецова Н.В. Супraseгментная фонология сойкинского диалекта ижорского языка в типологическом аспекте	5
Летучий А.Б. Типология лабильных глаголов	4
Лившиц В.А. Несколько иранизмов в русской и древнерусской лексике	3
Лю Юнхун. Сопоставление языков: концепция, подходы и методы	2
Никинорев-Такигава Г. Язык русской диаспоры в Японии	1
Николаева Т.М. О «единстве ономастики» и/или о новой ветви «антропонимики»	3
Норманская Ю.В. Развитие вокализма в мордовском языке и реконструкция прамордовского ударения	1
Падучева Е.В. Лексическая аспектuality и классификация предикатов по Маслову – Вендлеру	6
Панфилов В.С. Конъюнкты и предлоги в китайском языке	5
Перцов Н.В. О точности в филологии	3
Поздняков К.И. О природе и функциях неморфемных знаков	6
Попова-Боттино Т.Л. Проблема размещения частицы <i>было</i> с точки зрения коммуникативного анализа	4

Ратмайр Р. «Новая русская вежливость» – мода делового этикета или коренное прагматическое изменение?	1
Рахилина Е.В., Ли Сун-Хён. Семантика лексической множественности в русском языке	4
Ростовцев-Попель А.А. Типология демонстративов: средние дейктики	2
Самигуллина А.С. «Скрытая память» слова (на примере метафорических номинаций)	4
Федюнева Г.В. О рефлексах прауральских дейктических частиц *e «этот, тот» ~ *o ~ *и «тот» в пермских языках	1
Черниговская Т.В., Гор К., Свистунова Т.И., Петрова Т.Е., Храковская М.Г. Ментальный лексикон при распаде языковой системы у больных с афазией: экспериментальное исследование глагольной морфологии	5
Шелякин М.А. О происхождении и употреблении безличной формы русского глагола ..	1
Шилов А.Л. Субстратная топонимия Русского Севера в свете работ А.К. Матвеева	6
Шлуинский А.Б. Рефлексивные маркеры в языках с сериальными конструкциями (на материале эве и акан)	2
Эршлер Д.А. К типологии испацентричных значений аккузатива	3

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Алпатов В.М. Лингвистические идеи Г.А. Климова	3
Алпатов В.М. Розалия Осиповна Шор	5
Исасев М.И. Крупнейший представитель русской филологической науки конца XIX в. и начала XX в. академик Вс.Ф. Миллер (к 160-летию со дня рождения ученого)	2
Кузнецов В.Г. Луи Ельмслев: раннее научное творчество	1

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Дудчук Ф.И. Полевые исследования двух тюркских языков: границы описания и объяснения	1
Завьялова О.И. Китайские диалекты и современное языкознание в КНР	6

Рецензии

Агранат Т.Б. <i>A. Holvoet. Mood and modality in Baltic</i>	1
Аникин А.Е. <i>W. Smoczyński. Słownik etymologiczny języka litewskiego</i>	4
Аркадьев П.М. <i>M. Baerman, G.G. Corbett, D. Brown, A. Hippisley (eds.). Deponency and morphological mismatches</i>	3
Белов А.М. <i>J. Clackson, G. Horrocks. The Blackwell history of the Latin language</i>	6
Бурлак С.А., Иткин И.Б. <i>T. Nessel. Abstract phonology in a concrete model</i>	6
Виноградов В.А., Сигал К.Я. <i>Е.И. Диброва. Избранные работы по русскому языку</i> ..	6
Добрушина Н.Р. Эвиденциальность в языках Европы и Азии. Сборник статей памяти Н.А. Козинцевой / Отв. ред. В.С. Храковский	3
Иосад П.В. <i>А.А. Зализняк. Древнерусские энклитики</i>	5
Клейн Л.С. <i>Н.Л. Сухачев. Перспектива истории в индоевропеистике: к проблеме «индоевропейских древностей»</i>	4
Красухин К.Г. <i>Proceedings of the 18th annual UCLA Indo-European conference. Los Angeles, November 3-4, 2006</i>	4
Красухин К.Г. <i>A. Erhart. Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft</i>	4
Круглякова В.А. Шеманаева О.Ю. <i>A. Stefanowitsch, St.Th. Gries (eds.). Corpus-based approaches to metaphor and metonymy</i>	1
Кузнецов А.Е. <i>А.Л. Верлинский. Античные учения о возникновении языка</i>	2
Ландер Ю.А. <i>T. Stolz, S. Kettler, C. Stroh, A. Urdze. Split possession</i>	4
Маковский М.М. <i>Г.И. Берестнев. Слово, язык и за их пределами</i>	1
Минор С.А. <i>E. Stark, E. Leiss, W. Abraham (eds.). Nominal determination: Typology, context constraints, and historical emergence</i>	2

Мокиенко В.М. Словарь вологодских говоров. Вып. 1–12; Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. Т. 1–8; Словарь смоленских говоров. Вып. 1–11	1
Молошная Т.Н. <i>O. Mladenova. Definiteness in Bulgarian: modelling the processes of language change</i>	6
Муллонен И.И. <i>С.А. Мызников. Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада</i>	3
Парина Е.А. <i>A. Falileyev. Welsh Walter of Henley; Le Vieux-Gallois</i>	6
Плунгян В.А. <i>Reciprocal constructions</i>	6
Сичинава Д.В. <i>The Munda languages / G.D.S. Anderson (ed.); G.D.S. Anderson. The Munda verb: Typological perspectives</i>	2
Толстая С.М. <i>И.Б. Иткин. Русская морфонология</i>	3
Усикова Р.П. <i>Л.Э. Калнынь, Т.В. Попова. Фонетика двух болгарских говоров, функционирующих в условиях разной языковой ситуации</i>	4
Черниговская Е.А. <i>В.М. Алпатов, П.М. Аркадьев, В.И. Подлесская. Теоретическая грамматика японского языка</i>	5
Шаповал В.В. <i>И.Г. Добродомов, И.А. Пильщиков. Лексика и фразеология «Евгения Онегина»: Герменевтические очерки</i>	5
Шестакова Л.Л. <i>Словарь ключевых слов поэзии Георгия Иванова</i>	4
Эршлер Д.А. <i>G. Augen. Kurmanjî Kurdish</i>	6
Якушкина Е.И. <i>Е.Л. Березович. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования</i>	2

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Аркадьев П.М. Международная конференция по формальному описанию славянских языков	6
Аркадьев П.М., Эршлер Д.А. Международные конференции, посвященные современным направлениям теоретической лингвистики	3
Борунова С.Н., Кармакова О.Е. Сидоровские чтения	6
Вельмезова Е.В. Тридцатилетний юбилей Международной конференции по истории наук о языке (ICHOLS)	4
Занегина Н.Н., Капитанова Ю.С. Виноградовские чтения 2009 г.	6
Иомдин Б.Л. Международная конференция «Диалог-2008»	2
Куклин А.Н. XI Международная научная конференция «Ономастика Поволжья»	6
Макарцев М.М. XVI конференция по балканистике и югославистике	2
Парина Е.А. III Международный colloquium общества Celto-Slavica	6
Скребцова Т.Г. Конференция «История когнитивной лингвистики»	6
Степанова В.С. Международная конференция «Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры»	6
Урюпина О.М., Шеманаева О.Ю. Шестая международная конференция по языковым ресурсам и их оценке (Language Resources and Evaluation Conferenc – LREC)	2
Шихалиева С.Х. Международная научная конференция «Кавказские языки: генетические, типологические и ареальные связи»	6